

# ДРУЗЬЯ И ТРУДНОСТИ

**У** Карасихи развалились старые полусапожки. В Мытищи итти далеко; деревенские сапожники запросили за обсоюзку полусапожек столько, что в Москве за такую цену новые хоть на выбор покупай.

— Пойду к Савину, авось, уважит ботинки за московскую цену, — решила она.

«Купить-продать» за прилавком считал деньги.

— Здравствуй! Как торговля? — поласковее сказала Карасиха.

— Ничего, расторговался, за новым товаром вот посылаю.

— Может, для меня осталась парочка...

— Для дорогой кумы у меня всегда припасено. Гляди, как раз на твою ногу, — сказал «Купить-продать», показывая пару новых ботинок.

— Мне не к спеху, — схитрила Карасиха, любуясь товаром.

— Твоя забота, Настасья, а ботинки важные.

— Цена сходная ли?

Лавочник загнул такую цену, что верхняя губа у Карасихи приподнялась, зуб-резец сердито выступил наружу.

— Живота у тебя нет, кум, — закричала она. — В Москве ботинки на выбор вдвое дешевле.

— За морем телушка — полушка.

Карасиха, положив руки на бедра, браво прошлась перед прилавком:

— Без башмаков буду, а у тебя не куплю. Ты себя за деньги купишь-продашь, проклятый.

На улице она долго ругала Савина.

— Пойди, Настенька, в коммуны, хотя бы вон к разореновскому зятю. Починят хорошо и дешево, — убедительно посоветовал ей Грызлов. — На квартиру-то не носи — там не возьмет, — добавил он.

Со времени женитьбы Гуляев жил у жены в Костине.

— Какие они сапожники? Ихнее дело насчет карманов, — проворчала Карасиха, но все же собралась и понесла ботинки в коммуны.

Молотки в сапожной постукивали, как цепи на току. Карасиха, низко поклонившись всем, оглядывалась — где он тут, танькин-то муж?

— Что, старая?

— Мне бы нашего костинского Гуляева. Обувку принесла! — сказала она.

Молодой мастер с веснущатым лицом взял ботинки, поковырял и сказал:

— Гуляев нынче в городе... Починить тебе? Обладим. Приноси завтра семь гривен.

Карасиху тут же взяло сомнение — не смеются ли над ней, — уж больно что-то дешево. Она мялась у двери и вопросительно глядела на мастера.

— Чтой-то ты, старая, на молодых заглядываешься?

Карасиха улыбнулась, высморкалась в передник и осторожно сказала:

— Носки не забудь прикинуть, озорник.

— Сделаем — мое почтение!

— Подметки смени, набойки тоже не забудь, — уже более смело сказала Карасиха.

— Крепче твоей головы ботинки будут, носи и вспоминай коммунских мастеров.

Карасиха низко поклонилась. От радости она готова была побежать, но направилась к выходу степенно. Веснущатый мастер сказал вслед ей:

— Ты бы зашла в кооператив, помолодилась, купила бы чего для праздника, много товару привезли.

Карасиха давно знала, что в коммуне открылся свой кооператив. Еще зимой потешались мужики — вот-де, мол, будет дело: и председатель вор и лавочник вор — допустили kota до сала, укараулит — и горшочка не найдешь. Она не больно теперь верила этим разговорам. Хоть и правильно, что коммунские — воры, а не видно, чтоб воровали где-нибудь. Все собиралась сходить посмотреть новую лавку, да что попусту смотреть? Карасихе копейка трудно достается.

«А что, — решила старуха, — и вправду посмотреть?» Она пошла прямо из мастерской в кооператив. Остановилась у порога. Верно, товару много — и мануфактура, и ботинки, и калоши. А народу — того больше. Коммунские девки, мужики и бабы из Костина, из Мытищ и других деревень. «Что-то как набежали — или дешево? Неужто одна я, старая дура, не знала до сих пор, где дешево покупать?..»

Карасиха настойчиво протолкалась к прилавку и долго приглядывалась к паре ботинок, стоящей на виду. Наконец робко приценилась — как, мол, дороги ли?..

— Пять пятьдесят.



Карасиха дрожащими руками развязала узелок, достала две салатного цвета трешницы, подала продавцу, получила ботинки, сдачу и выбежала из кооператива. Жалела, что не спросила — по чем ситец и нет ли стекла для лампы. Сколько же она переносила лишнего Савину за зиму... — прикинула Карасиха, и сердце у нее заняло от огорченья. Занятая своими мыслями, она не заметила шедшего навстречу Разоренова.

— Откуда? — спросил он.

— Из коммуны, батюшка. Обувку в починку носила, к празднику обнову купила и все за шесть рублей двадцать копеек.

— Может, краденое? — хмуро спросил Разоренов.

— Не ведаю, батюшка, не ведаю, ботинки без паспорта. Коммунский кооператив ботинки за пять рублей пятьдесят копеек продает по красной цене, а «Купить-продать» — двадцать для кумы запросил.

— Дура ты, — сказал Разоренов, — купила, обрадовалась... Да они у тебя через три дня развалятся...

Вчера Разоренов узнал наверняка про единственную свою дочку Настю: сошлась с коммунистом. Он закричал на нее, затопал ногами. Но Настя, опустив глаза, твердо сказала:

— Люблю Горбатова и буду с ним жить, — хлопнула дверью перед носом отца и ушла.

«Прокляну! — думал Разоренов. — Родного отца, мать бросает. Прокляну!» И всюду — не только дома — не глядели бы ни на что глаза: жизнь пошла так, хуже не бывает. Несколько дней назад райземотдел зачислил за коммуной строительный участок со сносом костинских домов, и сельсовет согласился. Понадобится другой строительный участок, и тогда могут снести дом Разоренова.

Тусклые глаза его обратились к церкви, крест которой красновато блестел, отражая зарю. Неужели бог допустит, чтобы около церкви вырос четырехэтажный дом и песни коммунаров слились со святым звоном?

«Изничтожить, взорвать бы это проклятое гнездо!» Разоренов готов был заплакать. В эту минуту он хорошо понимал, что пройдут годы, истлеют его кости, но ненавистная, враждебная ему жизнь будет течь своим чередом.

Коммуна окрепла. Не только Разоренов чувствовал это. Отходило время шуточек и улыбок, время откровенных злобных выпадов. А ведь прошло всего около трех лет.

— Сколько надо жить в коммуне, чтобы стать полноправным гражданином? — чуть ли не на каждом собрании спрашивали большевцы руководителей.



В заводском красном уголке после работы



— Дело не в том, сколько лет жить, а дело в том, как их прожить. Советским гражданином делается тот, кто ведет и чувствует себя именно как советский гражданин, — слышали они в ответ, попрежнему беспокоились и ждали.

И вот теперь стало все ясно.

— А в этом году у нас будет выпуск, — сказал Богословский на последнем собрании воспитанников. — Лучшие, те, кто проявил себя на производстве, овладели специальностью, порвали с прошлым и даже вошли в комсомол, — получают профбилет. А с некоторых снимется и судимость. Если... если коммунары в связи с приходом девушек окажутся на высоте.

— Если выпустят, тогда, что же, я смогу уехать и уйти куда хочу? — недоверчиво спрашивали ребята.

Все как-то не верилось им в предстоящий выпуск.

После прихода девушек была организована трикотажная мастерская. Пока в ней работали главным образом вольнонаемные. Коммуна переходила на производство предметов спорта — коньков, спортивной обуви и некоторых других предметов.

Сергей Петрович с беспокойством отмечал, что девчата первой партии не перестают приносить много хлопот. Особенно тревожила его Нюра Огнева. Нельзя уже было сомневаться, что между нею и Малышом налаживаются хорошие серьезные отношения. Уступая ее просьбам, Сергей Петрович отпускал ее вместе с Шигаревой несколько раз в Москву, к родственникам, как уверяла Огнева.

Каждый раз подруги возвращались из поездки радостные, с дорогими подарками. Коммуна завидовала. «Что это за родственники, которые делают такие подарки?»

Красивая внешность Нюрки, ее модные платья сокрушали сердца многих болшевцев, но все уже знали, что Малыш собирается на ней жениться. Предстоящая свадьба вызвала много толков и сплетен. Это ведь не то, что женитьба Гуляева на костянской девушке. Подсчитывали, со сколькими коммунистскими парнями путалась Нюрка, предрекали ее замужеству страшную развязку: по возвращении из Соловков первый муж Нюрки несомненно отомстит Малышу... Но некоторые ожидали свадьбы с радостью. Эти обсуждали подробности совместной жизни Нюрки и Малыша, вплоть до жилища, обстановки и будущих детей. Малыш хотел сыграть свадьбу скорей, но Нюрка не торопилась. В мастерской их места были все также бок о бок, но работала Нюрка по-старому — плохо и мало. Случалось, что и хулиганила, ругала воспитателей, коммуны, тайком напивалась. Малыш хмурился, вечерами не выходил из клуба, играл на своем кларнете.

Тоска, покинувшая было Нюрку после признания Малыша, снова овладела ею. Однообразие ежедневного труда утомляло

ее. Не покидала надежда, что все это временное, не настоящее, что придет час, когда Малыш скажет ей: «Побаловались, Нюрка, и хватит. Давай резанем вместе в Москву».

Малыш на работе каждый день перевыполнял норму и в минуты откровенности мечтательно рассказывал Нюрке о преимуществе скрипки над кларнетом. Может быть, он делал это на зло?

В Москве Нюрка и Маша заходили в магазин.

— Покажите нам креп-де-шиновое, — приказывала Маша.

— К вашим услугам, — присвистывая от усердия, отвечал частник.

На прилавок бесшумно ложились хвостастые легкие платья.

— Терракот... Хороший тон... последняя мода-с.

Маша наваливалась на прилавок, сравнивая тон платьев. Нюрка, прижимая чемодан к прилавку, незаметно открывала его.

— Вот это покажите, — указывала Маша стэком на самые верхние полки.

— Извольте-с.

Продавец услужливо лез по лестнице вверх. В это время Нюрка неслышно тянула в чемодан платье за платьем.

А когда продавец слезал, в магазине не было ни покупательниц, ни платьев на прилавке.

На Лесной Нюра и Маша заходили к «купчихе».

Их встречал бородатый мужчина в фартуке и сапогах, служивший дворником при доме, и его мать, костлявая старуха.

— Пожалте, барышни, — кланяясь, приглашал «дворник», — для вас в лепешку рад. Мать, ставь самовар.

В шалмане кроме Шигаревой и Огневой бывали и другие воры.

Маша стучит стэком по столу:

— Здорово, ребята.

Воры ласково улыбаются:

— Здравствуйте, красавицы. Ну, как в вашей коммуне?

— Чай с сахаром пьем, — шутливо отвечает Маша.

— Житуха! Устроились в коммуне, а сами все попрежнему.

Поди-ка излови вас...

— Принимай, купчиха, — говорит Огнева, кидая бабке чемодан с шелковыми новенькими платьями, карманными часами, кружевами.

Торопливо называет цену.

Бабка лезет за пазуху, пугаясь, как бы не передумали.

— Дешево отдаете, девки, — возмущались жулики.

— Скорей, скорей, мать, — понукал дворник, недовольно поглядывая на жуликов.

Поздно возвращались в коммуну загулявшие подруги. «Прокат» мчал их третьей скоростью, огни автомобиля стлали по



кривой каменистой дороге лимонный веер света. Маша целовала Огневу, угощала шофера водкой, горланила песни. Не доезжая Болшева, останавливали машину, вылезали, щедро расплачивались с шофером.

И опять идет день за днем. Скоро ли в город?

— Пойдем в парк, — зовет Маша Огневу после работы.

Но Огнева не хочет идти. У нее болит голова. Впрочем, в действительности причина ее дурного настроения иная: в Москве она заходила в Проточный. Там, где прежде был шалман, цветет в распахнутых и промытых окнах чужая, неизвестная жизнь. Почти все знакомые воры в тюрьмах или в ссылке, или здесь, в коммуне. «Куда бы я теперь пошла с тобой, Валька», со слезами думает Огнева. Ей кажется, что Валька жива, здесь, с нею.

— Ну и черт с тобой, — ругается Маша. — Не хочешь, пойду одна. Огнева с минуту непонимающе смотрит на нее.

В парке весело — много молодежи, играет баянист. Маша в темномалиновом платье, в соломенной шляпе. Она понимает, что все эти коммунские кузнецы, столяры, башмачники восхищены ею, дорогим ее платьем, стоит пожелать — любой из них с радостью сменит свои рубанки на нее, Машу, на хмельную, разудалую. Пальцы баяниста бегают по клавишам:

Милый, купи ты мне да-ачу-у...

Высокий, широкоплечий парень кружит деревенскую девушку. Ее платье то поднимается зонтом, то плавно ложится. Девушка прижимается к парню, не спускает глаз с его огрубелого лица.

— Ха-ха! Влюбились друг в друга, — громко и презрительно крикнула Маша.

Девушка испуганно отшатнулась от кавалера. Маша усмехнулась:

— Гуляете? — и подмигнула парню. — Пойдем.

Парень пожегился, улыбнулся, посмотрел виновато на костинскую девушку и покорно пошел за Машей.

В конце липовой аллеи на скамейке сидел Эмиль Каминский. Он пришел в коммуну с той партией, в которой был Малыш.

Как и Малыш, он с трудом представлял себе, что мог когда-то жить иначе...

Маша остановилась возле него:

— Привет коммунскому интеллигенту...

Каминский посмотрел куда-то мимо нее, на молодую березовую поросль.

— Чего привязалась к человеку? Пойдем, — торопил обеспокоенно парень, отнятый Машей у деревенской девушки.

— Не твое дело, — огрызнулась Маша и села рядом с Каминским так близко, что почувствовала теплоту его тела.

— Можно, интеллигентик?

Каминский слегка отодвинулся и обратился к парню:

— Как, Вася, с заготовками?

— Наладилось, — смущенно, боясь взглянуть на Машу, ответил тот и ковырнул песок носком ботинка.

— Мужские шьешь?

— Мужские и дамские. А ты как? — Василий заметно оживился.

Он и Каминский приехали в одно время.

— Да так же. Работу хвалят, — Каминский зевнул. — Спать, что ли, итти?

Маша обозлилась: «Дьявол, нарочно. Будто не женщина с ним, а пень».

В общежитии Маша ни с кем в тот вечер не разговаривала, даже с Огневой. Ложась спать, так рванула свое темномалиновое платье, что оно с треском распоролось по шву. Давно, с самого начала, подмечала она, что ребята как бы избегают ее. Тогда она думала, что, быть может, воспитатели запретили им бывать с ней. Но чего же было бояться сегодня Каминскому? Ведь Сергей Петрович не видел. Они не боятся, а просто зазнались, не хотят с нею водиться.

«Ну, погодите же, — думала Маша. — Выкину номер. Покажу вам коммуны. Будете знать».

Утром она дождалась, пока большевцы уйдут на работу, и пошла в трикотажную — позже всех.

Гнам — спец-трикотажник, гладко выбритый и наутюженный, — важно ходил по вновь организованной мастерской. Он услышал в машине фальшивый, хрипящий звук... «Нитку рвет», определил Гнам опытным ухом.

Он повернулся, чтобы посмотреть, где именно неисправность, и смущенно протянул:

— О-о-о!

Перед ним, помахивая стэком, стояла Маша в бюстгальтере, шелковых чулках и трусах. Гнам развел руками, возмущение распирало его:

— Голая женщина на фабрике... Какой стыд!

— Давай, немец, работу, — издеваясь, властно приказала Маша.

Ее голубые глаза смотрели уверенно и вызывающе.

— В Германии много женщин, — визгливо закричал Гнам, — всяких женщин. Такая женщина не может работать.

Гнам бегом пустился по мастерской.

Маша погуляла между машинами, презрительно поморща нос перед хихикающими вольнонаемными трикотажницами, и вышла на улицу.



Сергей Петрович осматривал с прорабом место предполагаемой стройки дома. Мишаха Грызлов складывал тяжелый бут в штабеля. К полудню у него всегда лежала в кармане заработанная грешка, а у мерина была добрая порция овса. Он прислушался к разговору прораба с Сергеем Петровичем.

— Условия строительства очень тяжелы, — говорил прораб.

— И все-таки мы должны уложиться в лимиты, — возразил Сергей Петрович.

— Доставка песка с Подлипского карьера обойдется в тридцать тысяч.

— Надо поискать здесь.

— За рекой много песка, но как его доставить? Может, лодку приспособить? — неуверенно предложил прораб, сам понимая, что это не выход.

«Ишь, песку нет», подумал Мишаха.

Маша зашла в обувную. Она представляла себе, как ребята, увидев ее почти голую, бросят работу, столбятся, выражая восторг и изумление. Помахивая стэком, с горделивой усмешкой она будет цедить насмешливые слова.

— Ты что? Платье потеряла или рехнулась? — сказал Гуляев.

Никто и не подумал бросать работы. Кто-то насмешливо фыркнул:

— Заголилась, дура...

Она подошла к Мальшу:

— Спяшем... Я не хуже твоей Нюрки танцую.

— Отойди, не мешай, — коротко сказал Малыш.

— Иди отсюда. Иди — люди работают, — предложил Гуляев.

Маша потерянно улыбалась. Гнам убежал, а здесь никто даже не смутился, никто не подошел к ней.

Она вышла из обувной. «Лучше бы смеялись... Да ну их, все здесь лягавые», думала она вяло.

— Маша!.. — крикнул Сергей Петрович, увидев Шигареву, — простудишься. Что ты, маленькая? Няньку тебе надо? Видишь, ветер какой.

— Тьфу, — плюнул Мишаха, — бесстыдница!.. Что делает! Совести нет.

— Что, разве плохая я? — выставив грудь, деревянным голосом из последних сил спросила Маша.

— Иди, иди, — с отцовской настойчивостью повторял Богословский. — Иди, оденься. Заболеешь.

«А нелегко им тут, — подумал Мишаха, — экий народ, каждого обломая, уговори!.. Нет, нелегко им... Вон и песку нет».

Маша вдруг очень захотелось чем-нибудь помочь Сергею Петровичу, которого он уважал за обходительность, с которым вместе заседал в кастинском сельсовете. Да чем он мог

бы ему помочь в таком деле? Вот разве сумасшедшую девку вожжами связать. Да у них не вяжут.

В следующий отпускной день Нюра и Маша снова поехали в Москву. В этот день с ними увязались Мысков и Тумба. На Сухаревке Нюрка предложила «побегать». Мысков и Тумба переглянулись. Им стали понятны богатые подарки нюркиных «родных». Они колебались. Но шум улицы, витрины сретенских магазинов пьянили их. Знакомый им воровской азарт Нюрки и Машки, их смелость и ловкость толкали Мыскова и Тумбу попытать старое счастье.

— Только немного, — согласилась Тумба.

— Стоит ли, девочки, — слабо протестовал Мысков, но те уже стали нырять из магазина в магазин.

В Мосторге, обнаглев от неудачи в предыдущих магазинах, Нюрка взяла с прилавка два куска шелковой ткани и передала Мыскову. Мысков заколебался, но, сообразив, что Нюрка приехала без пальто, спрятать ей некуда, может легко «засыпаться» и навсегда потерять коммуны, сунул ткань под шинель.

Ночью в лесу, недалеко от коммуны, состоялась пьянка. Весть о гулянке и воровстве облетела на другой же день коммуны. Дядя Сережа явился в женское общежитие. Нюрка лежала на постели с опухшими и мутными глазами. На подоконнике стояла пустая водочная бутылка.

— Что это? — спросил он.

— Укус пила, хочу похудеть! — ответила она и засмеялась.

Вечером Мишаха шел огородами. Бледные звезды мигали на сумеречном небе. Большевики медленно сходились к тому дому, где у них устраивались собрания.

За штабелями Мишаха разделся и скользнул в пруд. Ноги увязли в липкой тине. На свободном от водорослей пространстве Мишаха достал дно. Правильные круги пошли по воде. Вынырнув, он отдышался и, подняв обе руки, принялся внимательно рассматривать и нюхать что-то зажатое в пальцах.

«В самый раз, — говорил он сам себе, выходя на берег, — в самый раз будет».

Одевшись, он постоял немного, потом пошел к дому, куда сошлись большевики. В открытые окна слышался невнятный гул голосов.

Сперва Мишаха ничего не мог понять. Он видел только Накатникова, костинского зятя и Богословского. Мишахе хотелось теперь же подойти к Богословскому и поговорить с ним, но потом он решил обождать конца собрания. Парень, сидевший председателем, говорил:

— Итак, утверждается следующий список коммунаров, которых общее собрание выдвигает на выпуск. Голосуем в целом, — и он стал читать фамилии, знакомые Мишахе.



«Это которых увольнять будут, — понял Мишаха, — значит, останется их здесь меньше. Тогда зачем же собираются строить большой новый дом, и почему председатель говорит о предстоящем сокращении, точно это ему в радость?»

Потом ребята вновь зашумели. Мишаха прислушивался — ему стало ясно, что говорят уже о другом.

Около покрытого кумачом стола сидели девки — одну из них Мишаха узнал сразу — та самая, которая ходила голой, когда он перекладывал бут. У другой — ораторы называли ее Нюркой — лежало под глазами два резких синих круга, лицо ее показалось Мишахе больным и усталым. В зале стало тихо. Поднялся Погребинский. Он говорил, что коммуна только для тех, кто хочет подчиняться ее законам и работать в ней, что Шигарева и Огнева не сдержали своего обещания — воруют и пьянствуют, что среди старых воспитанников коммуны нашлись люди, которые, вместо того чтобы хорошо повлиять на девчат, сами разлагали их. И это когда? Накануне выпуска! Стыд! Позор!

«Воровок судят, — сообразил Мишаха. — Правильно, — ожесточенно одобрил он, — таких не только что выпустить, а еще и наказать как следует. Ишь, что выдумала, бесстыдница — голой ходить».

Когда все высказались, встала Огнева и начала говорить что-то тихо и неразборчиво.

Весь этот день перед собранием она проваливалась на кровати, курила и думала о предстоящем суде. И чем больше думала, тем настойчивее к ней подступал страх. Все, что угодно — только не это, только не собрание.

Перед тем как раздался звонок на собрание, она совсем решила бежать и уже завернула было в узелок свои вещи, но, шагнув к порогу, почувствовала, что не уйти. Маша сказала:

— Погоди, Нюра, может, еще ничего.

Сергей Петрович выступал несколько раз, пытаясь сдерживать прорвавшийся гнев коммунаров, но всякий раз отступал под его натиском. Временами, когда гул голосов обрушивался с особенной силой, Нюрка сжималась, точно от холода. От усталости она почти ничего не понимала, но когда к ней подошел Малыш, прошептала тихо и горько:

— Что же и ты не кричишь? Я и с тобой ведь путалась.

— Нюрка, — едва вымолвил Малыш.

Она опустила голову и отвернулась. Ее, Шигареву и Мыскову — старого большевца за потачку — собрание постановило исключить из коммуны.

— Мертвую, но оставить Нюрку в коммуне! — закричал Малыш с отчаянием.

Но ребята уже толпились, уходя, в дверях. Немногие оглянулись на этот крик.

«Строгость, большая строгость», подумал Грызлов с опасливым уважением. Теперь, когда решение состоялось, оно казалось ему справедливым и правильным.

— Сергей Петрович! — окликнул он выходящего вместе с другими Богословского.

— Ты чего здесь?.. Тебе-то что полуночничать? — удивился Богословский.

Он покидал собрание со сложным чувством. Его радовало единодушие и непоколебимость, проявленные коммунарами на этом собрании, и было грустно, что не удалось выправить, сбереечь Шигареву и Огневу. В интересах будущего, в интересах всех девчат, еще сидящих по тюрьмам и живущих в коммуне, приходится сейчас идти на это отсечение.

— Гляди, — сказал Мишаха, протягивая руку к свету из окна: чистый желтый песок лежал в ладони Мишахи.

— Далекo нашел? — спросил Сергей Петрович, любуясь песком, сразу поняв все.

— В церковном пруду.

— Как же мы его возьмем?

Мишаха помолчал. Вокруг столпились большевцы. Они с любопытством и даже с почтением осматривали Мишаху.

— Церковный пруд выше большого. Спустить воду из малого в большой — какой труд, — сказал Мишаха и поглядел на ребят, ожидая их одобрения.

Сергей Петрович задумчиво потрогал пальцем песок.

— Выйдет ли? — усомнился он.

— Чего не выйдет, — обиделся Мишаха, — даровой песок под рукой, только бери.

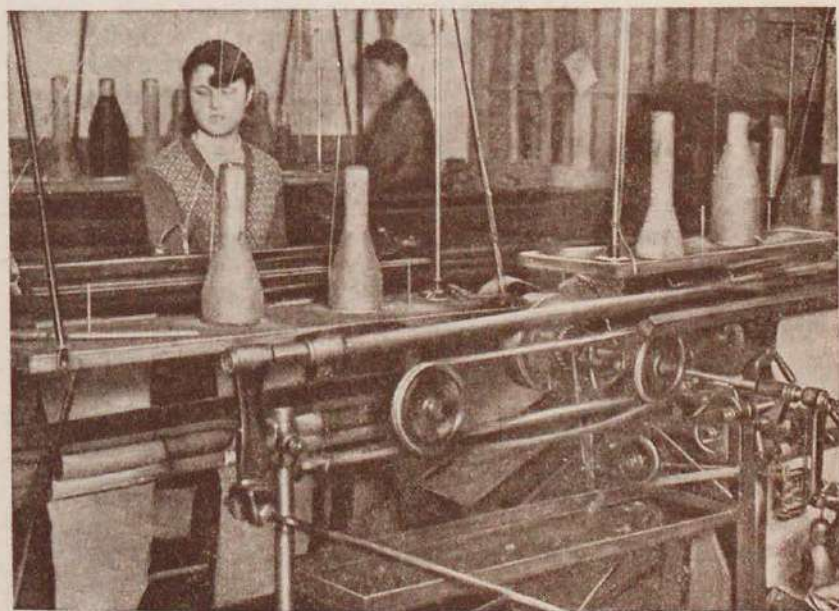
— Ну, спасибо, Грызлов. Коммуна у тебя в долгу, — с чувством сказал Сергей Петрович, — коли не поздно тебе — пойдем, чайком угощу. — И, вспомнив крик Малыша, подумал: «А может, еще не потеряли девчат... Посмотрим!»





Новая профессия. Изготовление теннисных ракеток

На трикотажной фабрике



# ПЕРВЫЙ МАСТЕР

**А** Умнов все так же захаживал к Филиппу Михайловичу и все так же посматривал на Шурку. Шли дни и недели, но дальше этих красноречивых взглядов дело не двигалось. Мешали этому и нерешительность Умнова и кокетливая увертливость Шурки. Поэтому иногда Умнов приходил в кузницу бледнее обычного и с такими тихими, грустными глазами, что даже дядя Павел сокрушенно покачивал головой:

— Эх, жижка грибная! Жениться бы теперь тебе! В самую пору.

В ответ на это Умнов хмурился и наваливался на работу с таким остервенением, словно на ней старался выместить всю свою тоску и оиду.

Однажды вечером дядя Павел надел новый пиджак и, заправив брюки в ярко начищенные сапоги, пошел к Филиппу Михайловичу. Вид у него был торжественный. Сев у стола, он выразительно крикнул и почему-то строго посмотрел на Шурку. Сел и Филипп Михайлович. Они выжидающе помолчали несколько минут, и, когда тишина в комнате стала тягостной, дядя Павел неожиданно выпалил:

— А Сашка-то Умнов — башковитый малый!

Сказав это, он чрезвычайно смутился. Дорогой он тщательно продумал свою тонкую речь с такими хитрыми ходами, против которых по его мнению не устоять было ни Шурке, ни Филиппу Михайловичу.

«Как кувалдой с плеча хватил», подумал он и крепко потер ладонью о колено. Но Филипп Михайлович ловко отвел внезапный удар:

— Озорной он. По огородам лазил, две свиньи убил, вином тоже грешит. А был слух — будто заготовки украл.

Сказано это было таким тоном, точно о малознакомом и неинтересном человеке. Такое отношение к его любимцу взорвало дядю Павла. Забыв о своей хитрой стратегии, он пошел напрямик:

— Это ты о Сашке? Ну, брат, нет. Может, и был такой, был, да весь вышел.



— Понимаем! — неопределенно ответил Филипп Михайлович.

— Понимать тут много не нужно. Парень весь как на ладони. Парень важный, а мужик будет и того лучше.

Филипп Михайлович усмехнулся и посмотрел на зардевшуюся Шурку.

— Понимаем! — еще раз повторил он. — Только какая неволя девке за вора итти?

— Это ты дело говоришь. За вора и я не посоветовал бы. Дочь твоя — хороша, скажу прямо. Ну, и Сашка у меня — куст малиновый. Своему делу мастер Сашка у меня.

— Молода еще, зелена, — вступилась мать, входя в комнату. Она, видно, подслушивала.

«Те-те-те... пошел разговор... зацепился», усмехнулся про себя дядя Павел, солидно оправил борты пиджака и сказал шутливо:

— А давайте спросим самое голубушку. Сашка так и наказал мне: «Не захочет Шурка, так не сватай». Ну-ко, голуба, держи ответ.

Шуркины щеки так сильно покраснели, что дяде Павлу показалось, будто он чувствует их нестерпимый жар. Потом ее ресницы дрогнули, закрыли глаза.

— Пойду! — чуть слышно сказала она и отшатнулась за спину матери.

Через день будущий тесть поднес дяде Павлу и Умнову по стакану вина. Теща спросила жениха:

— Что у тебя есть? Какие прибитки?

Дядя Павел весело ответил за Умнова:

— Весь тут. Ни дому, ни крыши. Кузнец-молодец, сила да храбрость.

Все засмеялись.

Домой дядя Павел и Умнов шли в обнимку и пели:

За девку черноокою,  
За чорта, за купца!

Дядя Павел шептал:

— Ты теперь полный хозяин будешь. Всему делу голова. Умнов не сразу понял, о каком хозяйстве говорил мастер.

— Постарел я, сынок! Руки, ноги у меня трясутся, вижу худо. Женю и оставляю тебя в кузнице мастером.

Дядя Павел крепче обнял Умнова за шею, положил свою седую голову ему на плечо и затынул грустно:

Она, моя хорошая,  
Забыла про меня!

Женив Умнова, дядя Павел ушел по инвалидности с работы и оставил Умнова вместо себя мастером. Парень стал старшим

над Калдыбой и Королевым. Старые товарищи и враги долго не хотели подчиняться. Калдыба кричал:

— Не хочу слушаться Сашки!

Королев же только улыбался.

Умнов по обыкновению приходил на работу раньше всех, осматривал инструменты, знакомился с заказами. Когда приходили остальные кузнецы, раздавал им нужный материал и указывал, что делать.

Летом Умнову дали удостоверение — «мастер коммуны». Удостоверение это он получил утром в кабинете Сергея Петровича.

— Заслужил ты, Умнов, — сказал Сергей Петрович. — Тебе многое доверила советская власть, и ты оправдай это доверие.

Ребята хлопали его по плечу: «Первый мастер из нашего брата».

Умнов в коммуне стал знаменитостью. О нем говорили в общежитиях, на собраниях, его ставили в пример другим, смотрели ему вслед с завистью и уважением.

Но скоро не меньшее уважение приобрел у коммунаров и Осминкин. Умнову пришлось несколько потесниться.

Начало этому положил футбольный матч всесоюзного значения, о котором Осминкин вычитал в газетах. Как страстный футболист Осминкин горячо заинтересовался им. Он каждый день просматривал газеты, отыскивая в них все, что печаталось о подготовке к матчу, и целыми днями говорил только о нем: «Вот бы получить отпуск — посмотреть!»

Скоро из Москвы на его имя пришла бумажка. В ней просили Осминкина явиться в Совет физической культуры, назначили день и час. Для Осминкина это было неожиданностью. Зачем он им там понадобился? Он недоуменно вертел в руках вызов, спрашивал Богословского, но так и не получил ответа на свой вопрос.

В назначенный день ему выписали увольнительную. Он послал телеграмму матери. Он знал, что мать постарается сделать так, чтобы Виктор повидал не только ее, старуху. Была в Москве одна девушка, которую всегда хотел видеть Осминкин. Мать считала ее его невестой. «Может, динамовцев посмотреть успею, вот было бы здорово!» думал Осминкин в вагоне.

В Совете физической культуры Осминкину предложили пройти комиссию.

Держали Виктора недолго. Отчеканивая каждое слово, он старательно отвечал на вопросы. Доктор выслушал его, пощупал, проверил дыхание, давление крови и сказал, как на призыве:

— Годен!

— Куда ж это я годен? — поинтересовался Осминкин.



Ему сказали:

— Играть за сборную РСФСР, — и удивились, что он этого не знает.

— За сборную РСФСР? — переспросил Осминкин даже без волнения — так был уверен, что ослышался.

Человек за столом подтвердил.

— Я? Не может быть! — не верил Виктор, когда человек кончил объяснять, что он, Виктор Осминкин, будет играть за сборную РСФСР против команд других союзных республик.

Ему все еще казалось, что эти люди, узнав от кого-то о его страсти к футболу, решили над ним подшутить.

Через час он получил нужные инструкции и бумаги. Ему уже давали советы, как себя держать до матча: «Не очень утомляться!..» Да разве он не знает!

Осминкин вышел из зала и бегом сбежал с лестницы. Люди, идущие вверх, шарахались в стороны, не успев разглядеть его сияющее счастливое лицо.

Влезая в трамвай, он хотел погасить улыбку, но, протянув кондукторше рублевку, вдруг засмеялся:

— Давай на все!

— Вы что, пьяны, товарищ? — грозно осведомилась кондукторша.

Виктор покорно принял сдачу и, убегая от любопытных взглядов пассажиров, протиснулся на переднюю площадку: пусть немножко обдует ветерком.

«Домой! — подумал он почти вслух. — Вот мать обрадуется!»

У Мясницких ворот Осминкин сошел с трамвая.

«Пройдусь, а то больно разволновался».

Ноги несли его к вокзалу. Он все еще пробовал спорить с самим собой: «Ну, зачем мне сегодня в коммуны? Успею и завтра», и продолжал шагать к Северному.

— До Болшева и обратно! Впрочем, дайте только туда, — сказал он в окно кассы.

В коммуне уже привыкли к тому, что команда большевских футболистов, встречаясь с другими командами, нередко одерживает победы. Но эти победы, как и все, что касалось спорта, людям, мало искушенным в его особой организации и жизни, представлялись делом хотя и славным, но домашним, маленьким, вряд ли особенно интересным кому-нибудь за пределами коммуны.

А тут вдруг одного из их футболистов берут в команду РСФСР! Значит, все его знают, ценят, значит, он один из лучших!

После ужина в столовой Осминкина качали.

— Чемпион! — надрывался легко воспламеняющийся Хаджи Мурат. — Чемпион! Качать чемпиона!

Умнов вместе со всеми радовался этому признанию заслуг Осминкина. Самого его подкарауливала беда.

С одним из последних наборов в коммуну пришел молодой домашник Громов. Его назначили в кузницу, но работал он плохо, даже к горну частенько нетрезвым становился. В свободное время Громов ходил по коммуне нарядно одетый, а когда были деньги — удачливо играл в карты. Он сразу же примкнул к Королеву и, когда у того отношения с Умновым обострились, шеннул:

— Мы этого Умнова враз скрутим... Есть средство... Покажем, какой он мастер...

— Ну? — заинтересовался Королев.

— Сманить играть в карты... Напоим, тогда весь наш будет.

— Не пойдет! — усомнился Королев.

— С умом взяться, так пойдет.

С этого дня в кузнице кто-нибудь неизменно заводил разговор о карточной игре, о крупных выигрышах, о прошлой жизни. Так тянулось около недели. Наконец Громов прямо предложил Умнову попытать счастье и к немалому удивлению получил согласие. Собрались в Костине, в избе братьев Немухиных. Выпили. Умнов захмелел больше всех.

Громов льстиво нашептывал ему на ухо:

— Начальство ты — лучше не надо, слов не найдешь... Поставь дядя Павел другого человека, мы, может, совсем отказались бы, а с тобой можем...

Начали играть в карты. Умнов проигрался, спустил двести рублей своих денег и сто занятых тут же у Калдыбы. Он хотел играть еще, Королев вдруг наотрез отказался.

— Наши обычаи знаешь? — хитро напомнил Громов.

И словно не прожили ребята три года в коммуне, не распрощались с прошлым, словно Королев и Калдыба не были хорошими производственниками, а Умнов — комсомольцем и начальником цеха.

— Я не хочу играть. Не заставишь, — Королев бил кулаком по столу. — У меня денег нет.

— А я требую. Куда деньги девал? Ты — лгун. Я найду сейчас, — и Умнов полез в карманы Королева.

Тот молодцевато, чтобы все видели, стал среди комнаты и поднял руки. Умнов обшарил все его карманы, но денег не нашел.

— Саша, — спросил Королев, — не забыл порядки наши старые? Что полагается тому, кто заподозрил своего и ошибся? Ты помнишь, что такому полагается?

Умнов молчал.

Тогда Королев со всего размаха ударил Умнова по лицу, сначала правой рукой, потом левой. Умнов не повел пальцем в защиту. Из носа его сочилась кровь. Королев ткнул ему в зу-



бы. Умнов стоял как парализованный, опущенные руки его висели мертво.

Участвовавший в игре Немухин побоялся, что найдет у Королева деньги, и действительно нашел. Деньги лежали в коробке из-под папирос за подкладкой пиджака Королева. Теперь Умнов, в свою очередь, мог быть обманщика, и он дважды ударил Королева по скулам. Тот свалился.

На улице загорланили.

— Убили! Коммунского Королева убили!

Собрался народ. Умнова увели жена и тесть. Он скоро заснул. Приходил Сергей Петрович, но разбудить его не смог. Утром с опухшим лицом, с заплаканными глазами Умнов стоял в кабинете Сергея Петровича и тупо смотрел вниз, на ножки стола.

— Ну, на кого же ты похож? — спрашивал Сергей Петрович. — Был вором — стал кузнецом, доработался до мастера. Как же это ты так распоясался?

Умнов смотрел вниз и молчал.

— Говори, рассказывай!

— Уйду я...

— Куда уйдешь?

— Уйду, дядя Сережа, из коммуны. Не буду я больше ее позорить.

Сергей Петрович написал бумажку, свернул и подал ее Умнову.

— Дом два на Лубянке знаешь? Поезжай и подай там эту бумажку. Постой, — Сергей Петрович запечатал письмо в конверт. — Возьми с собой подушку.

— Подушку?

— Да, подушку. Там кроме матраца ничего нет. И если есть небольшое одеяльце, тоже захвати.

Умнов все понял. Он вышел из управления коммуны и остановился на дороге. Легкий ветер качал вершины елей, прямых, как свеча, зачесывал верхушки берез. Прошла группа вольнонаемных трикотажниц, провезли бочку воды, из распахнутых окон клуба вырывались звуки рояля — ко всему этому Умнов привык.

Коммуна, семья, работа, комсомол навсегда определили его путь. Не вор он больше и не лодырь. Провинился, значит, нужно отбывать наказание.

— Куда? — спросила жена.

— Сидеть.

— Где сидеть?

— В тюрьме.

Шура изумленно развела руками. Прибежал Филипп Михайлович, теща.

— Ну, чего вы смотрите на меня? Чего смотрите? Сказал — дай подушку и одеяло! — закричал Умнов.

— Да кто тебя гонит? — недоумевал Филипп Михайлович. — Не езд и все!

Умнов завернул туго подушку в одеяло, перетянул сверток ремнем и поехал в Москву.

По возвращении он еще крепче прежнего взялся за работу.

Пока его не было, Королев беспросыпно пьянствовал вместе с Громовым, дважды подрался, кричал среди улицы, что он сожжет коммуны. Его отправили на комиссию МУУРа. Громова исключили из коммуны.

Калдыба работал за мастера цеха и встретил Умнова хмуро:

— Не обломали тебе там ноги?

— Нет, Ваня. Становись-ка на свое место. Потом поговорим.

— Я, может, дороже тебя... Квакает, селезень!..

Умнов не ввязался в спор. Семь суток на Лубянке как бы подытожили какую-то часть его жизни, он стал осторожнее в выражениях, деловитей с кузнецами. Приучал друзей называть его Шуру — Александрой Филипповной.

Спустя несколько дней по возвращении Умнова с гауптвахты к Богословскому пришел исключенный из коммуны Громов. Он стоял перед Сергеем Петровичем, наклонив голову, надвинув низко на лоб пеструю кепку:

— Сергей Петрович, да неужели никак нельзя?

— Не надо было пьянствовать, других за собой тянуть. Не ценил коммуны. Кроме того — не нужда воровать погнала. Из баловства: родители — ведь торговцы? То-то оно и видно.

— Не буду больше. Возьмите обратно, — виновато бубнил Громов.

— Ребята тебя из коммуны выгнали, у ребят и обратно прось, — сухо заключил Сергей Петрович.

В дверь постучали. Вошел худощавый незнакомый Богословскому человек в военном плаще.

— Я агент ХОЗО ОГПУ, — отрекомендовался посетитель.

— Садитесь, — пригласил Сергей Петрович. — Что скажете?

— Прошлой ночью в парадном у двери своей квартиры я нашел пьяного в сиреновой ковбойке, с пробитой головой, — говорил агент. — Перевязал ему голову, оставил ночевать у себя. Пока я спал — он забрал все ценные вещи и ушел. Особо жаль именные, даренные коллегией ОГПУ часы. Не часы — память украл, подлец. — Посмотрев в упор на Сергея Петровича, он добавил. — А вор-то — воспитанник вашей коммуны.

— Не может быть, — мягко и внушительно возразил Сергей Петрович.



Лицо его было спокойно, и лишь концы пальцев вздрагивали, выдавая, чего стоит ему это спокойствие.

— Парень, пока я его выхаживал, сам сказал мне, что он из коммуны.

Пальцы на столе дрогнули сильнее. Сергей Петрович сунул руки в карманы тужурки:

— Не допускаю я этого. Но мы, понятно, сделаем все, что можем.

Агент ХОЗО встал, одернул плащ, кивнул головой и ушел, ни разу не взглянув на Громова. А тот стоял спиной к столу, уткнув нос в окно и внимательно разглядывал давно знакомую улицу.

— Слышал? — обратился к нему Сергей Петрович. — Я не верю, что это сделал наш большевец. — Сергей Петрович прошелся от стола к двери, прикрыв лицо рукой.

— Хочешь назад в коммуну? — спросил он, опустив руку.

— А как же...

— Блатную Москву знаешь?

— Ну? — выжидающе произнес Громов.

— Найди вора.

По опухшему лицу Громова поползла злая усмешка:

— Я не агент угрозыска.

— Значит, не хочешь в коммуну...

Громов молчал. Кончики его ушей багрово рдели. Осторожно оправил на голове кепку, засунул под нее кусочек вылезшего бинта и пошел к двери.

— Что ж... поищу, товарищ Сергей Петрович, — протянул он. — Счастливо оставаться.

Когда Громов ушел, Сергей Петрович вызвал Умнова и Осминкина и рассказал им о краже:

— Езжайте в Москву... Ищите. Пятно надо смыть. А вечером соберем экстренное собрание коммуны.

Через полчаса Умнов и Осминкин уже сидели в поезде.

— Неужели наш парень? — недоумевал Умнов. — Он крутил толстыми пальцами кузнеца пуговицу на рубашке Осминкина. — В душу, гад, плюнул, ежели наш.

Осминкин только что возвратился с матча. Сборная РСФСР постояла за себя. Он весь еще был полон впечатлениями этого выдающегося состязания, радовался, что, будучи в команде представителем коммуны, не осрамил ее, сумел оказаться на должной высоте. Тем отвратительнее казался ему факт, сообщенный Сергеем Петровичем.

— Облазим притоны. Может, не наш, — сказал Осминкин. — Ну, а если наш... — и он медленно сжал кулаки.

В шалмане на Лесной гулял парень в сиреновой ковбойке. Он расшвырял по столу огурцы и стаканы, разбил бутылку



**В коммуне развиты все виды спорта. Теннисные корты в парке коммуны**



с вином, выволок за рукав из соседней комнатухи слепого гитариста и потребовал:

— Затележивай «Яблочко»... Пей, дед, за все уплачено.

В другой комнатухе пили трое урок.

Они шептались, хмуро косились в открытую дверь, им не нравилась шалая гульба соседа, а тот сгреб со стола два стакана, бутылку и, шатаясь, подошел к уркам:

— Пейте со мной...

— Поди прочь, — отрезал угрюмый малый с худым изношенным лицом.

— Ребята, да я весь ваш. Никогда не ишачил. Из коммуны ушел. Не могу!

— Не можешь, — насмешливо крикнул другой. — А я вот месяц назад сам просился в коммуны. Приема нет. А ты был и ушел. Через таких вот, как ты, не взяли. Сам не живет и другим не дает.

Гуляка оторопело отступил назад:

— Ребята, люди! Жулики! Та шо ж вы мене... или я сявка? Может, думаете, я уже и воровать разучился? Смотри, — нырнув рукой в глубокий карман штанов, он высоко взметнул над забинтованной головой золотыми часами. — Чистое золото!

Выходная дверь пронзительно взвизгнула. С улицы в прокуренную духоту плеснуло свежим воздухом. В дверях стояли Умнов и Осминкин.

Рука с часами дрогнула и медленно опустилась.

Хозяин притона — бородач-дворник — пригляделся к вошедшим.

— Старым знакомым! Давненько не были, — начал он и осекся. Осминкин холодно посмотрел на него.

Вечером в коммуны, как и сказал Богословский, происходило экстренное собрание. К самому концу собрания в переполненный клуб пришли пять человек. Председатель усердно звонил в колокольчик:

— Голосую. Виноваты или не виноваты мы в краже, но раз на нас легла эта грязь, в нас тычут пальцами — надо собрать между собой деньги и возместить убытки потерпевшему. Так? Голосую.

Поднялась густая щетина рук.

Тогда запоздавшие прошли на сцену. Среди них были Умнов и Осминкин. Они подошли к Сергею Петровичу.

— Этих двоих надо бы взять в коммуны, — сказал Осминкин, — хорошие ребята. А вот этого... — Осминкин грубо схватил за рукав и толкнул на край сцены парня в сиреновой ковбойке. — С этим делайте, чего заслужил. Это он обокрал агента.

Парню в ковбойке хотелось беспечно и нагло посмотреть в глубину зала, крикнуть что-нибудь циничное, дерзкое —

все равно ведь теперь. Но десятки глаз, переполненных обидой и злобой, лишали его воли, сковывали язык.

Сергей Петрович оглядел парня долгим недоумевающим взглядом: сиреневая ковбойка, на голове бинт.

Вспомнилось, как утром Громов просился в коммуну, старательно натягивая на глаза кепку... «Исподличался, изогнулся вконец...»

Общее собрание направило Громова на комиссию МУУРа, требуя сурового наказания.



# КОММУНА ВЕРНУЛА НАС К ЖИЗНИ

**В** день выпуска Богословский осматривал клуб, украшенный зеленью и кумачом. С самого утра его не оставляло неопределенное беспокойство, точно он забыл сделать что-то важное. Может быть, пустяк, какую-нибудь предательскую мелочь. В нужную минуту чего-нибудь не окажется под руками — и будет испорчено все торжество.

В зале разгуливал ветер, раскачивал занавес, шевелил плакаты, лозунги и красную скатерть на длинном столе с толстыми, свежеекрасненными ножками. Вымытый пол отсвечивал еще полосками сырости.

«Как будто бы все в порядке», вслух подумал Сергей Петрович. Одиноким голосом его странно прозвучал в пустом зале.

Он присел к столу, достал из кармана список выпускников и в сотый раз перечитал его, задумываясь над каждой фамилией. Гуляев, Накатников, Умнов, Румянцев, Беспалов — еще около тридцати фамилий. Нелегко было отобрать эти тридцать пять человек. Нужно знать наверняка, что выпускник, очутившись на воле, не вернется обратно в шалман, не нанесет этим удара коммуне. Ошибка здесь так же недопустима, как в расчетах при постройке железнодорожного моста. Эти тридцать пять были надежны.

Правда, выпуск еще не означал полной реабилитации. Вопрос о снятии судимости решено было поставить только через полтора-два года; человек, проверенный сначала в коммуне, должен был подвергнуться новой, еще более серьезной проверке «волей». «Мы прививаем коммунаркам любовь к труду и отвращение к паразитизму, — говорил Погребинский. — Мы воспитываем в них волю к новой жизни. Пока парень находится в коммуне, он на каждом шагу чувствует могучую поддержку спаянного коллектива, находится под его контролем. Но вот мы выпустили человека в жизнь. Не везде и не сразу удастся ему найти такую же могучую опору, такой же сплоченный кол-

лектив. Блатной мир обязательно попытается вернуть к себе бывшего правонарушителя. И мы должны проверить, достаточно ли закален наш парень, достаточно ли крепка его воля к новой жизни, его решимость противостоять искушениям».

Снова и снова продумывал Сергей Петрович каждую кандидатуру. За каждой фамилией стоял живой человек. И не только Богословский — весь коллектив думал о том же самом. Вспоминали все — и какую-нибудь пьянку, и высокую выработку в мастерской, работу в драмкружке, и случайную драку...

Только бы не допустить ошибок. В числе выпускников было пять таких, которые не нуждались уже ни в какой дополнительной проверке. Пять человек выпускались сегодня полноправными гражданами Советской страны с одновременным снятием судимости. Графа о судимости в их документах будет чистой.

Книжный шкаф сиял протертыми стеклами. Сергей Петрович взял с полки знакомую книгу в синем переплете. На полях книги мелко лепились карандашные записи и вопросительные знаки, а в конце — во всю ширину страницы — красным карандашом было написано: «подлость». Страница в этом месте была слегка порвана: с такой яростью писал когда-то Сергей Петрович это короткое слово.

С особенным чувством перелистывал сегодня он эту книгу: «... преступление составляет явление естественного порядка, философы сказали бы: необходимое явление, аналогичное рождению, смерти, психическому заболеванию, печальной развидностью которого оно является...» Так писал ученый, всемирно известный итальянец Ломброзо. А один из его бесчисленных последователей ставил точку над «и».

«Преступник-рецидивист есть прирожденный дегенерат, и пытаться исправить его значит бесполезно тратить силы и время».

«Да, верно. Преступление — явление естественного порядка... для капитализма», думал Сергей Петрович, с неприязнью закрывая книгу. Он никогда не мог читать без внутреннего протеста и возмущения эти буржуазно-ограниченные труды ученых, сваливавших на природу преступления своего класса. О лицемерах же, мелких последователях и популяризаторах Ломброзо, Богословский думал и говорил просто с ненавистью.

Капитализм заразил в большей или меньшей степени каждого человека болезнью зоологического индивидуализма и паразитизма. В коммуне собраны люди, у которых все эти черты выражены очень резко. Но эти люди в большинстве по происхождению своему близки пролетариату. И сегодня тридцать пять человек бывших воров, алкоголиков и кокаионистов будут возвращены в жизнь. Что же остается от «теоретических»



изысканий буржуазных ученых мужей? Разве не разбивается вдребезги их утверждение? Преступность есть продукт капитализма, производное от частной собственности. Уничтожьте причину — капитализм, и неизбежно, хотя и не сразу и не автоматически исчезнет и его следствие — преступность...

Все попытки уничтожить преступность в прошлом оканчивались неудачей. Но иначе и не могло быть. Потому что эти попытки были почти всегда лицемерны и всегда утопичны.

То, что делается в Советской стране по перевоспитанию преступников — в ее судах, домзаках, колониях, делается в истории человечества в сущности в первый раз. Потому что и социализм строится в истории человечества в первый раз. И в какой же яркой форме проявится мощь социализма, забота о людях, о выпрямлении, перевоспитании, росте сегодня в коммуне! Быть может, сегодня еще не всем будет ясно в полной мере огромное значение сделанного. Но погодите, то ли еще будет в нашей изумительной стране! То ли еще совершит народ, руководимый такой партией, как партия большевиков, таким вождем, как великий Сталин!

Многому научился Сергей Петрович, многое передумал и пережил за время своей работы.

— И все в порядке, — повторил он громко и пошел к выходу.

Тревога, овладевшая им с утра, улеглась. Он мог спокойно ждать наступления вечера.

Тропинки, ведущие к клубу, были усыпаны свежим песком — желтые, хрустящие тропинки. Тишина стояла в коммуне. Ребята, которых встречал Сергей Петрович, выглядели серьезными и сосредоточенными. Они также напряженно ждали вечера.

В тихом безлюдном углу, под деревьями, сидел Накатников. Он готовил доклад. Толстая тетрадь лежала на его коленях.

— Идет дело? — осведомился Сергей Петрович.

— Идет, — быстро ответил Накатников.

В действительности дело шло довольно туго. Хотелось, чтобы слова доклада были особенными, необычными, не похожими на будничные.

Накатников проводил взглядом Сергея Петровича. Потом сказал вполголоса в просвет между стволами берез:

— Товарищи!

Так он начнет. А дальше? Накатников перебирал сотни других слов, и ни одно из них не нравилось ему. Чувства, волновавшие его сегодня, были сильнее слов. Он смог бы выразить эти чувства, если бы ему позволили доклад пропеть. Но где это видано, чтобы люди пели доклады?

Вот он, Накатников, бывший вор, готовится к поступлению в высшее учебное заведение. Он будет инженером — творцом

и властелином машин, бывший вор, кутила, поножовщик. А что было бы с ним, если бы он не попал в коммуны?

Прошлое представлялось ему страшным. Оно было страшно своей дикой беспорядочностью, противоестественной бесцельностью, странным, необъяснимым теперь отсутствием чувства ценности жизни. И своей и чужой... Может быть, это потому, что та жизнь и не была жизнью... Грязь, базар, водка, девки... Это была не жизнь, это была медленная смерть.

А ведь было время, когда каждую минуту он готов был бросить все, когда казалось, что коммуна — это кашкан. Может быть, и ушел бы, если бы не «Матвей». Мысленно он ласково называл Погребинского по имени. Сколько ночей потратил он на Накатникова. Не он — может быть, никогда и не дожить бы Накатникову до необыкновенного этого дня.

Вот и попробуй выразить все это в коротком слове «выпуск». Подошел Карелин, подошел незаметно — такие тихие были у него шаги — и спросил:

— Думаешь?

— Думаю, — вздрогнув, ответил Накатников.

— Да, брат, выпуск, — сказал Карелин.

Помолчал и повторил раздельно:

— Вы-пуск.

Тогда Накатников понял, что ему не нужно искать для доклада необычные, особенные слова. У каждого за словом «выпуск» стоит целая жизнь. Каждый по-своему поймет и почувствует огромный смысл этого слова. Ведь не в словах дело!

Карелин присел на пенек рядом с Накатниковым:

— А меня вот сомнение берет, — и, вздохнув, искоса посмотрел на приятеля.

— В чем? — удивился Накатников.

— Видишь ли, — ответил Карелин, разглядывая муравья, взобравшегося на листик. — Случай тут один был. Могут меня задержать...

Уже несколько дней ходил он, подавленный этой мыслью, тяжесть ее была не под силу ему. Он недавно пьянствовал.

О пьянке никто не знал кроме собутыльника. Карелин решил открыться приятелю.

— А вдруг выйдет кто-нибудь на собрании и скажет? — говорил он Накатникову.

Накатников немного подумал, потом подтвердил:

— Может... Обязательно скажет.

— То-то и есть, — заторопился, точно обрадовался Карелин. — Вот и берет меня сомнение.

— Самому заявить надо, — перебил его Накатников. — Коммуnsкие правила знаешь. Собутыльник не скажет — все равно, теперь я скажу.



И Карелин не возмутился, услышав о таком намерении Накатникова.

— Я понимаю... Ну, что ж. Пойду к Федору Григорьевичу, — весело сказал он.

Потом встал и пошел, кивнув головой Накатникову.

И ни тому, ни другому не пришло в голову, что подобный разговор между ними был немислим два-три года тому назад, что тогда за намерение выдать товарища Накатникову грозил бы нож.

С полдороги Карелин вернулся:

— А как ты думаешь, надолго задержат меня?

— Попадешь в следующий выпуск.

— Видишь ли, какое дело. Думал, может быть, отложат еще выпуск... Успею, мол, докажу... А тут — видишь, какое дело.

Сокрушенно покачивая головой, он пошел, наконец, к Мелихову.

Можно было бы просто промолчать об этой пьянке. Событьи́ник, оберегая себя, вряд ли выступил бы на собрании с разоблачениями. Но такой уж день выдался сегодня. Карелину хотелось выйти к столу президиума совсем чистым. А то уже лучше вовсе не выходить.

В голосе Мелихова он не услышал настоящего гнева.

— Хорошо, что догадался сказать сам, — одобрил он. — Больше за тобой ничего нет?

— Ничего.

— Может быть, вспомнишь?

Карелин побожился.

— Верю, — остановил его Мелихов. — Ну, что же с тобой делать? Напился ты — это безобразие, это плохо. Сам пришел, рассказал — хорошо. Ну, а как, думаешь, будет дальше? После выпуска намереваешься загулять?

— Что вы, Федор Григорьевич! Промашка вышла. Вы знаете — я и не пью совсем.

— Хорошо, — сказал Мелихов. — Запомни свои слова.

Карелин облегченно присоединился к выпускникам. Их можно было сразу отличить от всех других. Точно близость часа, когда скажут громко, на весь мир, что эти бывшие воры признаются Советским государством вполне равноправными гражданами, на которых не распространяются ни изоляции, ни аресты по подозрению, точно близость этого часа наложила на них особенную печать. Все они стали как будто старше, вздумчивее и серьезнее. Ребята разговаривали с ними почтительно, некоторые с затаенной завистью и сокрушением. Многие из них только по собственной вине, легкомыслию, недостатку выдержки и веры в то, что выпуск действительно будет,

оказались вне этого первого списка. Сегодня им было о чем пожалеть.

— А на воле что думаешь делать? — спрашивал Котуля Беспалова.

Распущенность, проявленная Котулей после прибытия в коммуны девушек, отдалила для него выпуск.

— Работать буду, — с оттенком снисходительности говорил Беспалов. — В Москве не устроюсь — в Одессу махну, коммуна обещает достать работу. Теперь ведь я вольный.

— Теперь ты вольный, — соглашался Котуля. — А верно, что следующий выпуск будет через полгода?

— Чего же не верно? Ясно!

В следующий выпуск Котуля попадет обязательно. Он уж сумеет взять себя в руки и покажет, что не хуже их всех. Желание попасть во второй очередной список охватило многих.

Перед вечером по мокрому снегу зашипели автомобильные шины — съезжались гости, болшевики встречали их у клуба. Приехали Серго Орджоникидзе, Шкирятов, Ягода. Увидев их, Накатников почувствовал свое тело легким, как пузырь. Попросту говоря, Накатников струсил. Шутка ли сказать — такие люди.

Гости внимательно осмотрели приземистый «крафтовский» домик, надворные его постройки и службы, в которых и до сих пор размещались мастерские, остановились около сарая, где была деревообделочная. Большая циркульная пила стояла возле ворот. Для нее не находилось места в сарае. Желтеющие опилки свидетельствовали о том, что тут же на улице на ней и работали. Было заметно, что гостям это не нравится. Только при виде новой, отстроенной заботами дяди Павла кузницы их лица вновь просветлели, и у ребят отлегло от сердца.

Приехал Погребинский. Он был возбужден и серьезен.

— Галстук, галстук, — закричал он Румянцеву, едва поздоровавшись с ним. — Галстук у тебя набок съехал.

Сильно дернув за галстук, он поправил его. Потом отступил и прищурил глаз:

— Вот, так хорошо... А почему цветов мало? Поленились? Так. Небритых нет? Кто будет небритым — прогону от стола. Федор Григорьевич, начнем?

В клубе гости сели на скамейки. Коммунары входили в зал, осторожно ступая. Выпускники заняли передние места. Когда все расселись, наступила совершенная тишина, казалось, полтора человека, собравшихся в этом зале, перестали дышать.

«Не напугать бы», — с трепетом подумал Гуляев, занимая место за столом президента.

Ему предстояло открыть собрание.

Он набрал воздуха.



— Товарищи!

Невнятный писк вылетел из его горла. Он откашлялся и произнес не свойственным ему грубым и низким голосом:

— Торжественное заседание, посвященное первому выпуску коммуны, считаю открытым.

Зал грохнул аплодисментами. Встал Накатников. Слова, которых не мог он найти днем, пришли сразу скопом, и он захлебывался ими. Простые, настоящие, веские слова:

— Коммуна вернула нас к жизни... Мы, бывшие воры, получаем право и свободу... Кто из нас захочет вернуться назад в шалман? Никогда не будет этого! Мы пойдем вперед!

Орджоникидзе, покачивая головой, говорил как будто про себя:

— Правильно! Вот это правильно!

Погребинскому вспомнилось все: тысяча девятьсот двадцать четвертый год, разговор с Ягодой, все мысли тех дней, беседы с беспризорными осенней ночью у костра, страшная фигура «Продай-смерти», с булкой, зажатой тупыми культишками рук.

Погребинский встал, покачнув стол. Он сказал, устремившись всем корпусом к выпускникам:

— Сегодня произносите над вами «приговор». Вы «приговариваетесь» к выпуску на свободу бессрочно, возвращению гражданских прав, к снятию судимости, к свободному, осознанному и радостному труду. Где еще, в какой стране и в какое время могло быть что-нибудь похожее?

Орджоникидзе чуть заметно кивнул головой.

— Хорошо поработали,— звучно сказал он. — Хорошо протекает ваша работа!..

Один за другим к столу выходили выпускники. Они шли, залитые сиянием лампы, провожаемые грохотом аплодисментов. Стояли перед столом неподвижные и бледные.

Погребинский называл их фамилии, и голос выдавал его волнение:

— Гуляев — пять судимостей. Лучший производственник обувной фабрики.

— Накатников — шесть судимостей. Готовится к поступлению в вуз.

Так коротко о каждом. А как много мог бы сказать о них именно он, положивший в основу всей работы коммуны живое общение с человеком!..

Вот этот остался в коммуне из-за голубей. Этот думал только перезимовать — переждать под коммуной крышей морозы и с первым солнцем исчезнуть; один — случайно заболел, пролежал две недели и потом остался; другой — научился

подбивать подметки и захотел шить целый сапог; третьего — удержала вспыхнувшая страсть к музыке; четвертый — проявил себя незаурядным спортсменом. Но была одна общая для всех причина, заставившая их остаться в коммуне, и называлась она простым словом: «социализм».

Инициатива вождя партии Сталина направила усилия испытанных большевиков на дело перевоспитания, переделки молодых правонарушителей. Как далеко смотрит этот простой и мудрый человек, как по-ленински глубок и ясен его взгляд.

То, что вчера еще многим казалось немислимым, сегодня стало фактом. Вчерашние преступники, прошедшие школу труда, переплавленные трудом, становятся честными тружениками, общественно-полезными людьми. И каким простым и естественным для нашей страны кажется это сегодня.

Невелико то, что удалось сделать, по сравнению с тем, что должно быть сделано и что будет сделано. И велики еще трудности впереди.

Но разве не очевидно, что мечта Дзержинского о перевоспитании правонарушителя в условиях свободы, в условиях доверия — большевистская мечта?

Разве не найдено уже то, чего не было еще вчера, что нужно было отыскивать ощупью — самое главное — методы работы?

Вот сидит Чума — человек, который пытался противопоставить коммуне воровской закон, пытался обмануть ее, стать вожаком и, вероятно, стал бы им в другом месте. В коммуне смеются над ним. Почему у него не вышло?

Труд, самоуправление, ответственность всех перед общим собранием, выращивание подлинных активистов-общественников — принципы, выработанные коммуной, подрезали вожачество Чумы на корню — и не его одного.

Это найдено, завоевано, проверено практикой. Этого уже нельзя отнять.

Вот к столу подходит Румянцев. Это уже не бывший вор Румянцев, а гражданин и товарищ, как и Накатников, как и Гуляев, как и все тридцать пять, — чудесное, прекрасное превращение, возможное только в Советской стране, созданное волей партии Ленина — Сталина, железной волей большевиков.

Эти сегодня выходят в жизнь.

А за ними поднимается новый отряд — таких, как Малыш, Малахов, Каминский, чья очередь придет завтра! Есть коллектив — он создан, выкован трехлетним трудом. И те, кто идет в коммуну теперь, — вот эти десятки «новичков», заполняющих клубные скамейки на этом торжестве, — вливаются в мастерские, втягиваются в хор, в оркестр, в кружки — они видят, куда ведет путь, начатый здесь каждым из них.



Вчерашние преступники становятся честными тружениками, общественно-полезными людьми.

Раскрываются способности, склонности, вкусы, казалось бы, вконец заглушенные прежней жизнью. Пробуждается радость творческого труда. А ведь все это надо было создать!

Гости уехали. Кончились речи, опустел стол президиума, но праздник не потускнел. Пел хор, играл струнный оркестр. Потом стулья сдвинули к стенам, притащили баян — к особому удовольствию коммунских девушек — рассыпался задорный, веселый танец.

И что выделявали в этот вечер Малыш и Чинарик! Казалось, удержу не будет этим танцорам, неисчерпаема их изобретательность.

Умнов глядел, как веселятся товарищи, но ему было грустно. Ведь сегодняшняя вечеринка по существу была прощальной. Выпускники разъедутся по фабрикам, возможно, что больше и свидеться ни с кем не придется. Вот Гуляев — тот останется здесь. Крепко держит его Танюша. И вспомнилась Умнову первая вечеринка в коммуне, когда так хорошо пели девушки «Рябину» и Танюша поглядывала на Гуляева.

— Таня, — сказал ей Умнов, — спой-ка нам «Рябину». Ты не хуже пела, чем Грызлова.

Таня, как водится, пожеманилась.

— Просим, просим! — кричали ребята.

— Ну, чего модничаешь! Спой, — уговаривал Гуляев.

Тогда Таня, поправив прическу, запела любимую всеми старыми коммунарами песню. Гуляев стоял рядом с ней, крепкий, здоровый, как молодой дубок, и подтягивал вместе со всеми.

«Да куда я поеду, где можно найти что-нибудь лучше, в какие ехать Одессы», подумал Беспалов.

Необыкновенно взволновала и растрогала его песня Танюши. Вспомнился тот грозный день, когда стоял он, Беспалов, подлый воришка, лицом к лицу перед судом рабочих, вспомнилась милая, незабываемая ткачиха...

Он вышел в парк. Кто-то шел по дорожке. Беспалов узнал знакомое покашливание Сергея Петровича.

— Дядя Сережа, — окликнул он.

— Беспалыч, ты? Что тебе?

— Не поеду я никуда из коммуны... Понимаете?.. Не хочу.

— Ты же в Одессу собирался...

— Раздумал!.. Раздумал я, дядя Сережа, в Одессу. Может, и здесь чем-нибудь пригожусь...

— Да, это, конечно. Только ты не спеши решать... В Одессе-то, может быть, лучше будет тебе...

Глубокое волнение охватило Сергея Петровича. Какие друзья выросли, помощники! Как крепка кровная с ними связь. А как

трудно было хотя бы этому самому Беспалову, сколько раз был он на волосок от гибели, как нелегко ему удалось стать тем, кем он стал теперь.

Ночь выдалась безлунная, освещенные окна казались прорезанными прямо в темноте — ровные четырехугольники, открывающие выход в другой, утренний мир... Они пошли к клубу, где играла музыка, где лихо притоптывали плясуны, провожая в большую жизнь лучших из своей семьи...



# Ч А С Т Ь   В Т О Р А Я

REPORT OF THE

COMMISSIONERS OF THE  
LAND OFFICE  
FOR THE YEAR 1880

ALBANY: PUBLISHED BY  
THE STATE PRINTING OFFICE,  
1881.



# «БЛУДНЫЕ СЫНЫ»

I

**В**ыпуск отметил важный этап развития коммуны и послужил началом еще более напряженного ее развития. Почти каждый последующий день выдвигал перед воспитателями и воспитанниками новые задачи, нисколько не проще тех, которые удалось разрешить. Многие воспитанники могли теперь работать в полукустарных мастерских, но этого было недостаточно. Требовалось дать людям настоящую квалификацию, не хуже, чем у передовых рабочих на механизированных предприятиях. Большецам предстояла серьезная длительная учеба.

Приходилось думать о дальнейшей судьбе выпускников. Останутся ли они в коммуне? А если уйдут, удержатся ли от соблазна заняться прежним ремеслом? Уход выпускников сулил и другие трудности. В домах заключения, в лагерях выявлялось все больше уголовников, желающих кончить со своим прошлым. Их надо брать в коммуну. При работе с новичками воспитателям, как никогда, понадобится помощь надежных активистов, и в первую очередь таких, как Гуляев, Накатников, Румянцев, Умнов.

После женитьбы и выпуска Гуляев продолжал работать в сапожной мастерской.

Ботинок теперь приобрел для него совсем особый смысл. Раньше Леха не замечал своей обуви и ни за что не смог бы сказать, во сколько дырочек продергивает ежедневно шнурки. И ботинки точно в отместку за такое равнодушие напоминали о себе внезапно и ехидно — змеиным оскалом или гвоздем, царапающим пятку.

Теперь Гуляев знал, что эти самые ботинки, валяющиеся в пренебрежении под койкой, есть результат сложного взаимодействия ума и рук. Ход выкроечного ножа определяется точным расчетом; хороший мастер — по словам заведующего сапожной мастерской Нусейна — обязан изучить даже дробь. Дробь в то время казались Лехе верхом учености. Он проникся еще большим уважением к сапожному ремеслу.

Как раз в это время из ликвидированных мастерских Ермаковки привезли в коммуну машины. Это были старые, очень потрепанные машины, сохранившие, однако, четкость и точность движений. Мастерскую перевели в другое помещение — просторную переоборудованную конюшню.

Леха стал за прошивочную машину. Первый раз он управлял машиной. Он относился к ней недоверчиво, точно она имела свой металлический мозг и могла вдруг выйти из-под власти Лехи. По правилам полагалось бросать заготовки в ящик, не глядя. Леха никак не мог привыкнуть к этому — всякий раз, прострочив заготовку, останавливал машину и проверял шов. Рядом стоял воспитанник Генералов; так же, как Леха, он проверял работу машины глазами и пальцами.

Эти короткие, незаметные простои занимали в общей сложности половину рабочего дня.

— Мало, — говорил заведующий мастерскими Нусбейн, проверяя выработку. — На этих машинах норма двести пятьдесят пар.

Воинственно выставив вперед седую острую бородку, он становился в промежутке между машинами, чтобы видеть сразу работу обоих ребят. Под его требовательным взглядом работа шла много быстрее, простроченные заготовки летели в ящик без проверки. Но тревога мучила Леху: а вдруг машина бракует? Строчит без нитки или с узлами? И когда Нусбейн отходил, машина опять останавливалась, и снова проверялась каждая пара. Но стежка всегда была ровной и гладкой, а если нитку заедало, машина сама говорила об этом: стучала, скрежетала и комкала выкройку.

В конце концов Леха подружился с машиной, недоверие исчезло, простроченные заготовки летели в ящик без проверки, и норма в двести пятьдесят пар стала обычной. Но пока что машина занимала ведущее положение, и задача Лехи состояла в том, чтобы свои человеческие движения согласовать с ее — механическими.

Однажды Леха заметил, что если вагонетку с заготовками ставить ближе и сбоку, можно сэкономить две-три секунды на каждой паре. Но эта экономия все равно пропадала зря — машина не могла работать быстрее, и было обидно давать двести пятьдесят пар в то время, как руки чесались дать триста и больше.

Леха поделился своими сомнениями с Генераловым.

— Старье, — ответил Генералов, перекидывая рычаг на «стоп».

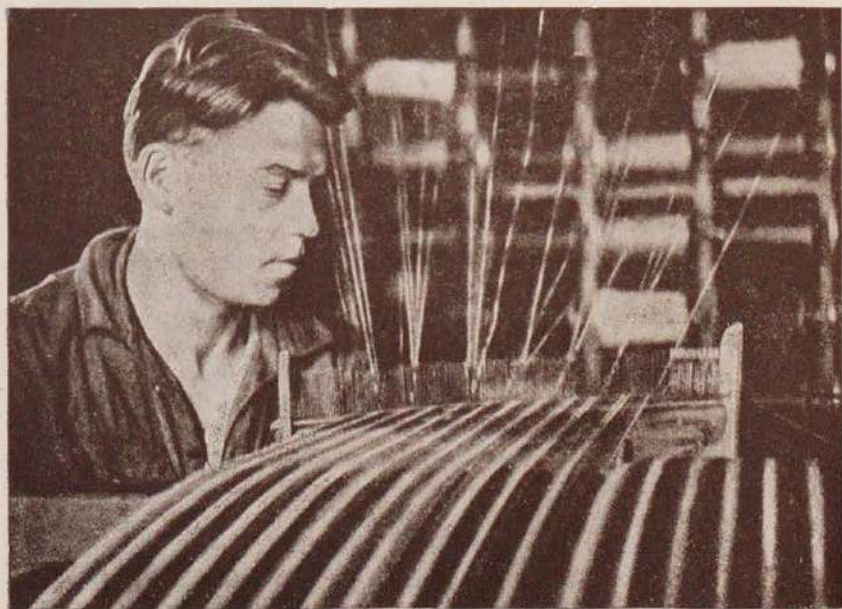
Машина замедлила ход и встала. Освобожденная от тугого движения, она сразу вдруг одряхла; выступили незаметные раньше выбоины и вымятины; краска потрескалась и местами





Новая профессия. Закройщик обувной фабрики

Трикотажная фабрика. У спиального станка



облупилась, обнажая красноватый, уже тронутый ржавчиной чугун.

— Хлам, — повторил Генералов.

Леха поднял голову. С верхнего шкива на нижний струился широкий белый ремень. В то время Леха еще ничего не знал об основном законе механики — об отношении между ведущими и ведомыми шкивами.

Он сделал это открытие сам, дошел до него своим мозгом. На следующий день Леха пришел в мастерскую за полчаса до начала работы. Он снял ремень с неподвижной трансмиссии и, обив шкив кусками толстой кожи, увеличил таким образом его диаметр.

Он и сам не знал, что будет теперь с машиной. Может быть, она совсем остановится, оскорбленная его невежественным вмешательством.

Пустили мотор. Трансмиссия дрогнула, волоча за собой ремни. Леха, зажмурившись, перекинул рычаг машины. Он ждал, что услышит хруст ломающихся шестеренок. Знакомый густой и ровный звук успокоил его. Значит, пошла!..

Он взял с вагонетки первую заготовку. Машина мгновенно протянула ее и несколько секунд вхолостую лязгала стальными зубами. Обычные движения Лехи оказались сегодня чересчур медленными, но он быстро освоился и догнал машину. Он работал, охваченный гордым волнением — сегодня он был умнее машины, он проник в ее законы, приказал работать быстрее, и машина покорила ему.

Это была первая большая и настоящая радость, найденная Лехой в работе. Он выработал за день триста шестьдесят пар — на девяносто пар больше вчерашнего. Он сразу прыгнул через нусбейновские нормы. Старик не верил своим глазам. Леха, задыхаясь от гордости, открыл ему и Генералову секрет победы.

Когда Леха на другой день пришел в мастерскую, то увидел Генералова сидящим верхом на трансмиссии. Сосредоточенно сопя, он обивал свой шкив кусками толстой кожи.

В скором времени Леха и Генералов достигли на своих разбитых машинах фантастической выработки — пятьсот пар в смену. Красная доска коммуны начиналась их фамилиями. Заметно повысился заработок, и Леха купил в Москве замечательный синий костюм в полоску, а жене привез в подарок вязаную жакетку, шелковые чулки и сумочку.

Таня едва дождалась выходного дня — так не терпелось ей показаться вместе с Лехой родственникам, предсказавшим ей черную жизнь за воров. Они шли к таниной матери. Леха был в новом костюме, при галстучке. Таня — в новой жакетке, в шелковых чулках, с новой сумочкой. Если бы Таня могла, то



захватила бы с собой и красную доску, чтобы все родственники могли прочесть на ней фамилию мужа.

Родни в этот день собралось много. Пришла тетка Ульяна, румяная и плотная, и прямо с порога посыпала круглые, сухо пощелкивающие слова. Пришел даже дядя Василий, хмурый, заросший седеющей бородой. По давнишней привычке он ежеминутно вытягивал шею, и тогда обозначались на ней жесткие жилы, и сквозила через шерсть белая, не тронутая загаром шея.

Чай пили в саду за круглым столиком. Мать Тани как будто робела перед Лехой, называла его на «вы», стакан протягивала ему первому. Дяде Василию это не нравилось, он выразительно кричал.

— На погребке пол-литровка стоит, — сказала танина мать. — Холодная. Может, выпьете?

Лицо дяди Василия выразило согласие. Но Леха сказал:

— Я не буду. У нас по коммунским правилам пить нельзя.

— Мой не пьет, — подтвердила Таня.

Как-то особенно веско произнесла она это короткое слово «мой».

— Да я так — может, для гостей рюмочку, — ответила мать. — И не пейте ее никогда, проклятую. Сколько я, Таня, через нее горя от отца твоего, покойника, приняла...

И хотя Василию Разоренову очень хотелось выпить, водку не подали. Это было первое его поражение. Второе поражение он потерпел, когда Леха достал из кармана коробку хороших папирос и предложил ему. Дядя никак не мог поймать папироску своими толстыми пальцами. Что-то бормоча, он все шарил и шарил в коробке.

— Больно тонкие, господские, — желчно пояснил он, поймав, наконец, папиросу. — Мы не господа, мы к ним не привычны...

В этот момент злосчастная папироса опять выскользнула из его пальцев, упала на стол, в лужу чая, и сразу намокла. Леха снова протянул открытую коробку, но дядя, медленно багровея, достал из кармана кисет.

— Как знаешь, — сказал Леха. — Не хочешь папироску, кури свою махорку. Махорка, брат, тоже бывает разная!

Василий не ответил.

Так они и курили весь вечер — Леха папиросы, а Разоренов махорку.

Когда молодые собрались уходить в коммуны, в клуб, мать Тани пожаловалась:

— Крышу вот надо перекрыть — вовсе стала худая, да не хватает деньжонок. Может быть, ты бы, Василий, выручил?

— Где я тебе возьму? — ответил Разоренов. — Денежки мои в семнадцатом году кончились.

Последнее время Разоренов усиленно начал прибедняться.

— А много ли нужно? — спросил вдруг Леха.

И сразу все замолкли, повернувшись к нему.

— Сорок рублей.

— Могу одолжить. Я с книжки возьму.

Оставшись одни, родственники, как водится, начали судить и рядить. И все хвалили Леху — парень ладный, уважительный, не пьет, имеет хорошую специальность и зарабатывает много.

— Жаловаться грех, — говорила мать. — Выдала дочку за хорошего человека.

В разговор вступил Разоренов:

— Зятек завидный, что и говорить!

Вызов приняла тетка Ульяна:

— А чем плох?

— А чем хорош?.. Что костюм новый?.. Так ему недорого — за два оглыда.

— Ты бы не заговаривался, — грозно напомнила мать. — Человек своими руками зарабатывает.

Дядя Василий не выдержал. Злоба схватила его за горло, голос заглох:

— Вор! Воровство! Знаем, откуда папиросы у них!

— Смотри, Василий, — еще грознее сказала мать. — Ты зря не срами человека, а то ведь и за порог недолго.

— Уйду! — яростно закричал дядя Василий. — Уйду! Умирать будешь — глаза не закрою!

— Закроют без тебя. Есть кому.

Дядя Василий хлопнул дверью. Ульяна насмешливо вздохнула вслед ему:

— До чего душа завидующая у человека...

Это была последняя стычка с дядей Василием. Вскоре Разоренов был уличен в спекуляции и выступлениях против колхозов и выслан из Костина.

Теперь вся деревня говорила о положительном и степенном характере разореновского зятя, о его заработках, о новом костюме и о трезвом поведении, и многие родители стали снисходительнее смотреть на прогулки костинских девушек с коммунскими парнями.

А Леха между тем продвигался все дальше в изучении своей профессии. Освоившись с одной машиной, он немедленно переходил на другую. Его неудержимо тянуло к новой, еще незнакомой машине. Он знал, что ее движения, внешне беспорядочные, таят в глубине строгую законченную систему. Тянуло понять, проникнуть в тайные законы валов, эксцентри-



ков и шестеренок, мучительно повторить всю работу создателя этой машины, изобрести ее во второй раз, чтобы потом, похозяйски распорядившись ею, снова поверить в силу своего мозга и рук.

Новую операцию Леха осваивал в две-три недели. Наступал момент, когда он перегонял машину. Чтобы выжать из нее все возможности, он смело изменял и совершенствовал законы ее движений. Качество работы было всегда первоклассное. Леха не зря прошел школу обувного кустарничества. Он знал цену каждому шву, каждой стельке, он до тех пор возился с машиной, пока она не начинала работать лучше, чище, прочнее человеческих рук.

Он прошел через все операции. Процесс механического создания ботинка был ясен ему. Старые мастера признали его равным себе. Они прямо так и говорили на выпускном вечере, когда Погребинский объявил о снятии с Лехи судимости:

— Этот не пропадет. У него квалификация, как все равно у старого мастера.

— Руки умные у него.

Леха притворялся, что не слышит похвал, но в действительности его распырало от гордости.

После выпуска его вызвал к себе в кабинет Сергей Петрович.

— Анкеты вот прислали. Заполнить нужно.

Леха взял длинный разлинованный лист и, не задумываясь, заполнил первые десять граф. На вопрос о профессии он коротко ответил: обувной мастер. На одиннадцатом вопросе — судился ли и за что — застрял. Эта графа всегда огорчала его недостаточными размерами. Леха судился двенадцать раз; статьи и сроки заключения никак не умещались в графе, и после восьмой судимости, написанной уже поперек, на полях, он закончил ответ многозначительными буквами («и т. д.»).

— Эй, эй! — закричал вдруг Сергей Петрович. — Ты что написал там? Покажи-ка!

Посмотрев анкету, он спросил укоризненно:

— Ты это зачем же... разве забыл?

— Не помещается, — смутился Леха. — Мне, дядя Сережа, все равно писать, что восемь, что двенадцать, да ведь негде...

— Пиши новую анкету!

Под внимательным наблюдением Сергея Петровича Леха снова заполнил десять граф, дошел до одиннадцатой.

— Здесь черточку, — остановил его Сергей Петрович. — Ставь черточку. Ведь судимость с тебя снята.

— Как же так, дядя Сережа? — усомнился Леха. — Выходит, они обо мне знать ничего не будут?

— Им и незачем знать. ГПУ за тебя отвечает, вопрос исчерпан.

Целый день в обычной суете — на производстве, в столовой и на заседаниях — Леху тревожили какие-то очень значительные, но пока еще смутные мысли, — так поразили его черточка в графе о судимости и слова Сергея Петровича.

Домой вернулся он поздно. Таня уже спала. Смуглая, крепкая ее рука лежала поверх одеяла.

— Таня, — осторожно позвал Леха. — Проснись на минутку, Таня.

Она вздрогнула и подняла голову.

— Ты? — сонно спросила она, притянула его за рукав к постели.

Леха наклонился к ней.

— Позвал меня утром Сергей Петрович анкету заполнить...

— Скорей рассказывай, спать хочу, — торопила она. — Ты вечно так — через час по одному слову.

— Судимость сняли, — ответил он, — понимаешь? В анкетах теперь я писать не буду об этом. Право имею такое...

Он замялся, подыскивая слова. Но Таня поняла сразу. Она приподнялась на локте.

— Это хорошо, — сказала она серьезно. — Это очень хорошо. Значит, чтобы старое тебе никто не поминал.

— Вот-вот, — подхватил он. — Вот правильно ты сказала. И пусть твоя мать скажет в селе, — добавил он, сдвинув брови, — чтобы вором меня никто не смел звать. А то и ответить может — очень даже просто. Такая статья в кодексе имеется.

Потом он стал подробно рассказывать ей, где был сегодня и что делал. Она уснула не дослушав. Леха не обиделся и тихонько отошел к столу.

Мысли его после разговора с Таней прояснились.

Он понял, что маленькая черточка в анкете на самом деле огромная черта, отделившая, наконец, вчерашний день от сегодняшнего.

Он открыл окно. В комнату хлынул густой и сырой поток воздуха. Оказывается, прошел дождь. Он и не заметил его, увлеченный своими мыслями. Капало с крыш, капало с листьев; в разрыве туч, в страшной высоте, горела одинокая звезда. Подул ветер, и второй дождь пролился с листьев на мокрую землю. Сонная Таня заворочалась в постели и откинула одеяло навстречу свежести. «Еще простудится», заботливо подумал Леха; осторожно, чтобы не разбудить, закутал ее и сел на кровать рядом...

Теперь с прошлым покончено. Ему все-таки удалось сбросить этот груз. Ему сразу припомнилась вся жизнь в коммуне, поездка в Москву за голубями, ночевка в шалмане, и он сейчас с опозданием на три года испугался, подумав, что мог тогда не вернуться в коммуну.



Будущее представлялось ему не очень ясно, но страшного во всяком случае ничего не предстояло. За время пребывания в коммуне он убедился, что советские люди умеют заботиться друг о друге и, конечно, поддержат его, Леху. «Подальше куда-нибудь уехать, — подумал он, — где никто не знает. Хорошо бы на Черное море уехать!» И сам улыбнулся — почему на Черное море? Можно и в Москву — там тоже никто не знает, а если и знает, то не посмеет напомнить. Он сжал зубы — плохо будет тому, кто напомнит! А может быть, в Ташкент поехать? Или в Иркутск? Да нет, лучше уж в Ленинград. Он шопотом перебирал города, вслушиваясь в призывное звучание имен. Теперь все города открыты ему, он может поехать в любой, он может хоть целый год ездить по большой советской земле. «Одесса, — шептал он, — Батум, Сухум, Свердловск, Владивосток, Самара, Киев...» Куда угодно! Только вот деньги на это нужны. Ну, деньги можно будет заработать. Ему и в голову не пришло, что деньги можно украсть...

Так и встретил он утро, взволнованный и счастливый. Ветер разогнал тучи, сгрудил их на западе, края туч были уже накаленными. Поднимался туман, затопял деревья. Птицы начинали суетливую свою работу; с крыши, вспыхивая мгновенным блеском, падали в тень капли; Леха весь устремился навстречу этому чистому и прохладному движению тумана, листьев, капель и птиц. Прозрачная позолота, стекая с вершин деревьев все ниже, коснулась, наконец, окна, расплавил его, и Леха увидел солнце. Круглое, большое и доброе, оно медленно поднималось, освещая и обогревая Леху в его новый день, не отягощенный прошлым. И Таня, пробудившись на мгновение, сказала счастливым голосом: «Солнышко», и сейчас же уснула опять.

...Посоветовавшись утром с Таней и с товарищами-выпускниками, Леха понял, что немедленный отъезд в далекий город — дело рискованное. Сергей Петрович, правда, обещал помочь в подыскании работы, но только не сразу.

«Как же быть нам теперь? — раздумывали ребята. — В безработные нам никак невозможно: если на воле тебя встретит бывший корешок, а ты есть безработный — вот, скажет, здорово тебя в коммуне выучили...»

Леха потускнел. Ему хотелось немедленно, сейчас же утвердить себя свободным и полноправным гражданином.

Таня с присущей женщинам рассудительностью и трезвостью подсказала решение:

— У вас в коммуне работают вольные, приходящие. Почему ты не можешь работать вольным? А жить будем в Костине.

Леха, а за ним и все выпускники ухватились за эту мысль и скопом отправились к Сергею Петровичу.

— Жить будем в Костине, а работать в коммуне как вольнонаемные.

— Мы уже об этом подумали, — ответил Сергей Петрович. — И даже должности распределили.

Он показал список должностей. Часть выпускников оставалась на прежней работе, а некоторые получали даже повышение, в том числе и Леха Гуляев. Его назначили на высокоответственный пост мастера смены.

Ребята ушли. Леха задержался.

— Не подведешь? — спросил Сергей Петрович, постукивая карандашом по столу.

— Подписывай, — ответил Леха. Он даже охрип от волнения. — Подписывай, дядя Сережа, не бойся.

Крупным угловатым почерком Сергей Петрович подписал приказ.

Беседа их затянулась до ночи. Полузакрыв глаза, покачиваясь в кресле, Сергей Петрович слушал повесть Гуляева о победах, одержанных им над машинами.

— А теперь предстоит тебе, Леха, дело потруднее, — сказал Сергей Петрович. — Машина, брат, — она бессловесная, она, брат, не живая. А вот с людьми — тут дело сложнее. Характер придется переменить тебе, Леха. Смотри, чтобы ни драк, ни ругани. Порох, брат, в патроне хорош, а в характере вреден. Тебе поручается работа в некотором роде воспитательная. Ты в случае чего меня спрашивай. Ты по машинам специалист у нас, а я, брат, по ремонту живых людей.

Раздеваясь, он добавил — не то в шутку, не то всерьез:

— Итак я полагаю, Леха, что моя квалификация все-таки выше.

Они простились.

На новой работе труднее всего было Гуляеву с новичками. Многие из них знали его еще до коммуны. Попадая в мастерскую, новички радовались, видя начальником своего парня, который, конечно, не выдаст и не будет особенно докучать работой. Они никак не думали о том, что Леха всерьез может потребовать от них настоящей работы; такая мысль показалась бы им дикой и неестественной. Деловые его замечания они принимали за ловкое притворство; хитро улыбаясь и подмигивая, думали, что очень хорошо помогают Лехе разыгрывать спектакль перед начальником цеха. С каждым новичком начиналась у Лехи такая же упорная борьба, как в свое время с машинами. А Леха побеждал и в этой борьбе, потому что пользовался в коммуне уважением за бесспорные знания в сапожном деле, и старые коммунары поддерживали его. Новичок не мог вы-



держат коллективного натиска и постепенно сдавался. Это был трудный и медленный процесс, но еще возня с машинами научила Леху терпению; он настойчиво долбил в одну точку до тех пор, пока не наступал день, в который новичка можно было оставить одного у машины, не опасаясь, что он уйдет спать в какой-нибудь темный угол.

## II

На обувную фабрику привезли сложную заграничную машину «Допель». Ее привезли в отсутствие Лехи Гуляева; он только что ушел в отпуск и деятельно готовился к отъезду в Сочи вместе с коммунским оркестром. Но поехать ему не пришлось. Вечером вызвал его Нусбейн:

— Леша, выручай. Не идет «Допель». Неужели будем выписывать мастера?

— Не будем, — ответил Леха и сейчас же отправился вместе с Нусбейном в цех.

Станок стоял в углу у окна. С первого же взгляда Леха понял, что все машины, с которыми приходилось ему сталкиваться до сих пор, были в сравнении с «Допелем» простыми, как молоток.

— Разберешься? — спросил Нусбейн.

Леха молча тронул холодный тугой рычаг. Борьба предстояла не шуточная: Леха ставил на карту все, чем заработал почетное звание мастера.

Он мог отказаться, сославшись на отпуск, и это было, пожалуй, самое безопасное в смысле сохранения авторитета, который неминуемо рухнет, если Леха возьмется за «Допель» и не пустит его. Но Леха привык рисковать. Он заглянул в темное брюхо машины. Старая страсть к открытиям законов механики сразу охватила его. Он выпрямился, пригладил волосы. Нусбейн настороженно ждал ответа. Подошли ребята. Леха сказал раздельно и четко:

— Конечно, разберусь.

Этими словами он сразу отрезал все пути к отступлению. Началась внешне спокойная, в действительности напряженная борьба. Раньше бывало всегда так, что машина сопротивлялась только до определенного момента; вспыхивала догадка, и машина сдавалась сразу, вся.

«Допель» не сдавался. Он медленно отступал, цепляясь за каждую шестеренку, за каждый болтик. «Допель» обманывал Леху, и когда законы его работы казались ясными до конца, неожиданно обнаруживалась какая-нибудь новая непонятная деталь, путала все расчеты, и Леха сызнова начинал свои поиски.

Он так хорошо запомнил механизм станка, что мог разбирать его дома, в воспоминании. Это мешало ему спать. Так продолжалось десять дней. На одиннадцатый день Леха понял роль последней непокорной конической шестеренки и в соответствии с ее движением проверил весь механизм. «Допель» был разгадан. Леха отправился домой — тупая боль ломила затылок. По дороге он крикнул в окно Нусбейну:

— Готово!

И прошел, не оглядываясь, дальше, а Нусбейн, высунувшись из окна, долго кричал ему вслед и махал рукой.

И, как всегда после окончания большой работы, Леха испытывал странное чувство неудовлетворенности, тревоги и внутренней пустоты. Завершающий момент — сама победа — не взволновал его потому, что до этого, в мечтаниях, Леха уже много раз пережил победу, и в действительности она оказалась бледнее. Завтра уже не нужно думать над «Допелем», поэтому завтрашний день казался Лехе вообще ненужным и лишним.

На торжество пуска собрались все заведующие цехами и мастера. Леха шел, совершенно уверенный в успехе. Он заложил выкройку и плавно тронул рычаг. Станок завыл, набирая скорость. Нусбейн вдруг закричал:

— Стоп!

Леха остановил машину. Что случилось? Нусбейн его успокоил. Ничего особенного — порвалась нитка. Вероятно, узел.

Досадуя на задержку, Леха заправил нитку и снова тронул рычаг. И снова Нусбейн закричал «стоп», на этот раз испуганно.

Нитка порвалась во второй раз. И в третий. И в четвертый. Леха побледнел и закусил губу. Пальцы его дрогнули на полированном металле. Победа, к которой он вчера отнесся так равнодушно, ускользнула, и он вдруг почувствовал, что потерял необычайно много и должен вернуть победу любой ценой.

Он проверил станок на тихом ходу. Его подвел барабан, маленький ничтожный барабан, помещенный сзади станка. Барабан отказывался работать, рвал нитку.

— Надо отрегулировать, — сказал Леха, подкручивая гайку.

Мастера переглянулись. А потом вышло так, что все, утомившись, разошлись, а Леха все регулировал и регулировал барабан, отбрасывая оборванные концы.

Он провозился у станка до самого вечера и не сумел наладить барабан. Самое страшное было в том, что этот барабан не таил в себе никакой сложности. Леха не мог его разгадать, потому что нечего было разгадывать: барабан просто-напросто рвал нитку — и все. На третий день бесплодной возни с ним Леха решил, что барабан вообще испорчен. Надо сменить, и работа пойдет.

— А в чем неполадок? — спросил Нусбейн.



И Леха не смог ответить; барабан был настолько прост, что нечему было портиться. Леха понял, что эту версию о порче барабана он выдумал, чтобы обмануть других и себя и скрыть свое бессилие.

Обозленный, он снова вернулся в цех.

Прошла еще неделя. Когда Леха шел по цеху, направляясь к «Допелю», мастера провожали его насмешливыми взглядами. Новички сидели, лениво переговариваясь; нетронутая работа лежала на их станках. Раньше они не посмели бы вести себя так в присутствии Лехи.

Все это были грозные признаки. Несколько раз Леха слышал позади себя сдержанный смех. «Инженер!» кричали ему из углов.

Он пошел, измученный, к Сергею Петровичу. Тот выслушал его внимательно.

— Выход один у тебя, Леха, — езжай на «Парижскую коммуну» в Москву. Посмотри, как там устроен этот проклятый барабан.

— А там есть «Допель»?

— Есть... Я узнавал. Есть там «Допель». И поезжай завтра же... Нусбейн, видишь, каждый день ко мне пристает — позовем да позовем мастера. Я ему все отказывал... Но нельзя же отказывать без конца. Мертвый станок — сам понимаешь — убыток.

Так узнал Леха, что не один он терзался и мучился из-за проклятого барабана.

Нусбейн выдал ему бумажку на обувную фабрику «Парижская коммуна». Леха явился на фабрику в полдень. В бюро пропусков ему коротко отказали:

— Экскурсантов сегодня не пускаем.

— Я не экскур...

— Не задерживайте очередь! — крикнули из окошка.

Леха хотел объяснить, но его уже оттеснили. Он пошел искать директора. В конторе сухо щелкали костяшки счетов, звенели арифмометры. Директор, сказали Лехе, уехал в Госплан и вернется к концу дня. А заместитель болен. Технорук на заседании.

— Бюрократизм, — сказал Леха и вышел из конторы.

До чего ненавистными казались ему тогда эта фабрика, эта контора, люди, особенно счетовод, который сидел, уткнувшись в ордера и поблескивая лысиной.

На улице низко гудел трамвай, фырчали грузовики. Сторож в защитной форме с мелкокалиберной винтовкой на плече проверял пропуска; сторожу, видимо, очень надоели его несложные обязанности; он смотрел на пропуска мельком, не открывая их. А пропуска, заметил Леха, были красного цвета.

В газетном киоске купил он за сорок копеек записную книжку в красной обложке. На глазах изумленного продавца он вырвал всю середину и пустил белые листы по ветру. Перочинным ножом он аккуратно обрезал переплет. Он прошел мимо сторожа медленным, независимым шагом, махнув пустым переплетом. Такие вещи он не раз проделывал до коммуны. Эта наука пригодилась ему сегодня.

Он нашел прошивочный цех. Мастеру он сказал, что ищет рабочего Иванова. Он правильно рассчитал, что среди многих сотен рабочих обязательно есть Иванов. Мастер, вероятно, принял Леху за какого-нибудь представителя и показал ему издала рабочего Иванова.

— К тебе, Иванов! — крикнул мастер и тут же отвернулся.

Это и спасло Леху. Он сказал Иванову, что должен вручить ему судебную повестку. Недоразумение сразу же выяснилось: Иванова звали Павлом Семеновичем, а Леха был нужен Сидор Петрович. В поисках этого Сидора Петровича он пошел по цеху и, наконец, увидел «Допель». Фасад станка он знал наизусть и, не задерживаясь, обогнул его.

Давнишний враг Лехи — барабан — бесперебойно и ровно тянул нитку. Леха не мог рассмотреть барабан в движении, нужно было остановить станок. Леха смело подошел к рабочему:

— Барабан не в порядке у вас.

Рабочий остановил «Допель» и неуверенно ответил:

— Как будто ничего...

Двоем они отправились проверять барабан.

И только сейчас понял Леха причину своих неудач. Она была настолько проста, что никто бы не смог догадаться о ней: нитку в барабан нужно было вдевать не спереди, а сзади. Эта конструкторская прихоть дорого обошлась Лехе.

— Я ошибся. Все правильно, — сказал он.

Рабочий посмотрел на него очень странно. Чтобы не вызывать подозрения, Леха заглянул внутрь станка. Уверенность его движений успокоила рабочего.

Сторож у калитки снова удовлетворился созерцанием пустого переплета и выпустил Леху.

В коммуну он вернулся поздно вечером. Не заходя домой, прошел в цех, вдел нитку и начал вручную вертеть станок, повисая на ремне. Он выбивался из сил, но все вертел и вертел; барабан гнал ровную, тугую нитку и ни разу не оборвал ее.

Так был побежден Лехой самый сложный в обувном деле заграничный прошивочный станок «Допель». Леха чувствовал, что его репутация восстановлена, и был горд своей победой. Правда, строгий блюститель коммунских законов, Накатников, иногда сбивал у него спесь:



— Молодец-то ты — молодец, а все-таки, Леха, проник ты на завод не честным путем, прямо сказать — жульнически.

Леха огрызнулся, но выглядел при этом очень смущенным: правоту Накатникова он чувствовал и про себя решил старыми приемами не пользоваться даже для общественного дела.

Вскоре коммуна услышала, что Сергей Петрович намерен поставить вопрос о выдвигении Лехи заведующим цехом. И многие ребята завидовали ему. Многие сблизжались с ним, старались ему подражать. По своей наивности Леха не подозревал, что он представляет собой самый яркий и неопровержимый пример того, кем может стать прежний вор и бродяга.

Рабочий день проходил быстро и незаметно. Потом начинались часы томительной скуки. Жизнь в Костине была невеселая. В сущности Таня была единственным собеседником. Хозяева и соседи были на редкость неинтересными и серыми людьми. Они говорили только о ценах на продукты, о грошовой торговле маслом и молоком на московских рынках. От Лехи они ждали рассказов о кражах, убийствах и знаменитых ворах и спрашивали так бесцеремонно, словно считали его обязанным исповедываться по первому требованию.

Как-то Сергей Петрович спросил его:

— Ну, как живешь, Леха?

Гуляев ответил скучным голосом:

— Так себе.

Вечером Таня уходит к родным или к подругам. Леха один сидит у открытого окна и тупо смотрит на серую стену коровника.

В окне появляется толстая голова соседа. Он пришел за папиросой. Он каждый вечер приходит за папиросой. «Легкий табак — вредный», сокрушенно говорит он и долго кашляет затаившись.

— А вот у меня был один знакомый, — издалека начинает сосед. — Человек хороший, солидный человек... И вдруг — бац! Убил жену топором. Скажи, пожалуйста...

Помолчав, сосед добавляет:

— Васин была его фамилия. Черный такой. Федор Андреевич Васин.

И, еще помолчав, спрашивает:

— Встречаться не приходилось с ним? В Соловках?

Леха молчит. Не дождавшись ответа, сосед уходит...

Серые тени затопили комнату. Очень скучно сидеть одному. Леха отправляется в гости к выпускнику Румянцеву, живущему неподалеку. Румянцева дома нет, пошел в коммуны. Леха идет дальше, к Беспалову. Но тот, оказывается, еще не приходил из коммуны.

«Пойду и я», решает Леха.

Вскоре все выпускники, переселившиеся в Костино, стали являться домой только ночевать — с утра и до вечера пропадали в коммуне. Леха стал поступать так же. За три года коммуна стала родной и близкой. Здесь были друзья, понимавшие Леху с полуслова, здесь были дома, выросшие на его глазах, машины, побежденные его руками. После выпуска он и в коммуне был бы вполне свободным человеком и мог бы в любое время поехать в Москву без всяких увольнительных записок. Да и раньше никогда ему не отказывали в записках. Напрасно также он опасался коммунских строгих правил и ограничений — водки он все равно не пил, в карты на деньги не играл и давно оставил привычку драться.

И опять случилось так, что Сергей Петрович спросил его: — Ну, как живешь, Гуляев?

Леха ответил не сразу. Сергей Петрович обеспокоился:

— Случилось что-нибудь?

— Плохо я живу! — с отчаянной решимостью воскликнул Леха. — Не могу я, тоска заела. Нельзя ли как-нибудь сделать так, чтобы в коммуне жить?

— А ведь ты прежде хотел уехать, — сказал Сергей Петрович мягко и удовлетворенно. — Ну что ж... можно, но... Куда только мы тебя денем? У нас все места заняты — новички прибыли.

— Приткните куда-нибудь... Потом я уж сам устроюсь.

Часа через два Леха, погрузив на телегу свои нехитрые пожитки, переезжал в коммуну. Таня шла пешком. В одной руке несла она корзинку с посудой, в другой — лампу. Въехали на бугорок, и сразу открылась вся коммуна. Она сияла белыми стенами, новыми крышами; чистая и просторная, она уходила к лесу, отодвигая его. Леха сидел на телеге и думал, что никогда не сможет уйти отсюда: это первый дом, который он нашел в своей жизни.

На следующий день к Сергею Петровичу началось паломничество выпускников. Все просились обратно.

— Мест нехватит, — говорил Сергей Петрович.

— А мы где-нибудь койку приткнем в проходе — и ладно, — кротко отвечали выпускники.

Разве мог Сергей Петрович отказать им?

— Ладно, ребята, переезжайте. Как-нибудь устроимся.

И хотя Сергею Петровичу было много хлопот с размещением выпускников, он шутил, смеялся, заражая всех весельем и бодростью. И хитрые выпускники поняли, что в глубине души Сергей Петрович очень доволен их возвращением.

В коммунской стенгазете появилась сатирическая поэма под заглавием «Блудные сыны». Поэма иллюстрировалась карикатурой: перед воротами с надписью «Коммуна» стоят выпускники



с узелками и чемоданами, из глаз их капаят крупные, заостренные кверху слезы, из глоток вылетает общий крик: «Пустите обратно». Особенно часто издевался над «блудными сынами» язвительный и беспокойный Накатников:

— Что, нахлебались костинских щей, не сладко? Опять в коммуну захотелось?

— Ты ведь тоже отлучался — в Звенигород, — напоминали ему «блудные сыны».

— Сравнили! — хмуро обрывал Накатников. — Мои дела были другие, государственные дела.

При этом он снимал кепку и показывал на голове шрам, который остался у него после недолгой отлучки в Звенигород.

# РОСТ

Дело, которым занимался Накатников в Звенигороде, было действительно важным. Опыт Болшевской коммуны оправдал себя, и ОГПУ решило использовать его в больших масштабах — путем организации новых коммун для трудового перевоспитания «социально-опасных» правонарушителей.

Вместе с Погребинским и Мелиховым Накатникову пришлось участвовать в организации коммуны в Звенигороде.

В первый же день по приезде в Звенигород он принимал партию беспризорных для новой коммуны. Лохматая, чумазая, всклокоченная банда с гиком и воем ворвалась в тихий звенигородский монастырь. Мгновенно растоптали палисадник, сломали скамейки, разобрали чугунные резные перила игуменского крыльца.

При виде этих физиономий с вывороченными красными веками, с разбитыми губами, при виде рук и ног, покрытых дышками, ссадинами и кровоподтеками, он остро почувствовал чистоту своего тела, свое здоровье и силу.

Невольно он подумал: «Неужели и я таким был? Вот банда! Ну и банда!..»

Пестрые грязные толпы беспризорных все шли и шли. В глазах Накатникова рябило: «Как-то справимся мы с такой оравой?..»

Начался обед. Беспризорники пожирали все начисто, как саранча, и требовали добавки. «Вари еще!» распорядился Погребинский.

За столами дрались, горланили похабные песни, швырялись хлебом и ложками.

После обеда была назначена баня, стрижка, выдача обмундирования. В баню итти не желали, волосы стричь отказывались. Обмундирование получали, тут же проигрывали и шли получать второй раз.

Наиболее предприимчивые отправились на кладбище и стали копать там в земле — искали какие-то клады.



Все могильные изгороди растащили, понаделали из них пик, из водопроводных труб — самопалов. Вооружились и начали приставать к немногочисленной охране:

— Зачем привезли нас сюда, красноголовые? Все равно уйдем.

Какой-то паренек забрался на колокольню и ударил в набат, потом, уцепившись ногами за крест, свесился вниз головой и начал играть на гармошке лихие блатные песни. Зрители пришли в неопикуемый восторг.

У Погребинского собрались встревоженные воспитатели. Мелихов настаивал на увеличении охраны. Сергей Петрович предлагал пойти по общежитиям и повести беседы. В разгаре совещания Погребинскому сообщили, что между ребятами четвертого и пятого корпусов начинается драка. Четвертый и пятый корпуса были в ведении Накатникова. Погребинский кивнул головой: нужно было действовать решительно и скоро. Накатников вышел из комнаты.

У монастырских ворот сгрудилась тесная возбужденная толпа. Драка, повидимому, еще не начиналась, но могла вспыхнуть в любую минуту.

«Почище видали. Справимся», подумал Накатников и подошел вплотную к толпе:

— В чем тут дело у вас? Что за шум?

Работая локтями, он пробивался к центру. Там, на свободном трехметровом пространстве, стояли двое: Верблюд, огромный флегматичный паренек, и Брынза, черноглазый вихрастый мальчишка с обломком кирпича в руке. Они обменивались угрозами и обещаниями вырвать друг у друга требуху.

Накатников решительно стал между ними.

— Вы это бросьте, — сказал он строго. — Идите-ка лучше в общежитие, туда инструменты привезли. Кто собирается играть в оркестре — айда за мной.

Слова его потонули в общем гомоне.

— Крой, Брынза!.. — подзадоривали мальчишку.

— Верблюд, дай ему!

Накатников обозлился и схватил мальчишку за руку:

— Брось кирпич.

Мальчишка посмотрел на Накатникова удивленным взглядом, как внезапно разбуженный человек. И вдруг завыл:

— Уйди, красноголовый, уйди!

Накатников на мгновение забылся и сильным толчком отбросил мальчишку в сторону.

— Наших бьют! — пронзительно закричал мальчишка, подскочил и замахнулся камнем.

Удар был очень сильный, и Накатников сразу потерял сознание. Очнулся он поздней ночью. Рядом с его койкой сидел Матвей Погребинский.



Коммунарка. Картина художника-большевца И. Дронкина



— Как, Миша? — спросил он. — Лучше?

— Башку вот ломит, — хмуро ответил Накатников. — Как там шпану... успокоили? — И возмущенно прибавил: — Ну что с такими паразитами нянчиться! Разве это люди? Стрелять их надо!

— У тебя, Миша, бред начинается, — заботливо сказал Погребинский. — Несуразное ты бормочешь. Скажу тебе, между прочим, когда я в первый раз тебя в коммуну сватал, не верил я в тебя. Ничего, думаю, из него не выйдет. Поди ж ты, вышло! Все дело в настойчивости и выдержке...

Утром он отправился в общежитие. Беспризорники успели все разгромить: выбили стекла, поломали койки и тумбочки. Сквозняк гулял в комнатах. Орава продрогла и встретила Накатникова требованием:

— Вставляй стекла!

Чумазый Брынза, угостивший Накатникова вчера кирпичом, вооружился ножкой от стола:

— Вставляй. А то еще крепче стукну.

Накатников невозмутимо ответил:

— Выберите сначала ответственных людей, чтобы отвечали за стекла, тогда и вставим.

— Еще чего выдумай!

— В сторожа не рядились!

Накатников спокойно вышел. Его проводили ревом и свистом.

Но холод был воспитателем настойчивым и жестоким. На следующий день Брынза, синий от холода, явился с двумя товарищами к Накатникову:

— Вставляй. Буду отвечать.

— Давно бы так... Посмотрим, как ты с ребятами справишься.

— Ничего, справлюсь, — буркнул Брынза.

Вечером в общежитии установился порядок: столы и койки заняли свои места, были вставлены стекла. Брынза ходил и командовал, подкрепляя свои приказы чудовищной бранью. Накатников смотрел на него и думал: «Переломил все-таки... Когда-то вот меня переломили, а теперь сам я начинаю других переламывать».

Эта мысль наполнила его гордостью и уверенностью в своей силе.

Дальше после этой первой победы работать с беспризорными было легче.

В Звенигородской коммуне постепенно наладилась более или менее нормальная жизнь. «Вспомогательный» состав воспитателей был отпущен.

По возвращении в Болшево Накатников испытал несколько неожиданное для него самого волнение.

Знакомые вещи, порядки, друзья — все это дышало для него теперь особенным теплом и близостью. Он ходил по мастерским, заглядывал во все общежития, и на лице его несколько дней отражалось спокойствие и даже умиленность человека, вернувшегося из трудного путешествия к родному очагу, где радуется глаз каждая привычная мелочь.

Работой его особенно не нагружали. Вместо награды за Звенигород решено было предоставить парню все возможности для прерванной на время учебы, и он с особым жаром начал посещать рабфак.

Сам человек неупорядоченный и переменчивый, он любил математику за строгость и постоянство ее законов. Физика особенно нравилась ему. Когда он впервые узнал, что все пестрое разнообразие жизни можно свести к электронной теории, в груди его вспыхнула радость бойца, открывшего тайну силы противника. По складу ума Накатников был человек реалистический. Когда рабфаковцы заводили спор, сохранится ли при коммунизме брак, он позевывал и откровенно скучал. Когда же объяснялось устройство днепропетровских турбин, Накатников осыпал преподавателя вопросами.

В коммуне уже знали, что Накатников — один из лучших студентов рабфака. Он не был тщеславным, но когда большевики называли его «профессором», ощущал спокойную гордость. То, что он учится неплохо, радовало и возбуждало его. Он как бы платил этим коммуне крупный долг, ссуженный под честное слово, и от этого с каждым днем становился увереннее и бодрее.

Однако он был слишком подвижен и непостоянен, чтобы учеба шла без срывов. Он как бы играл своими природными способностями. Когда товарищи, воспитатели, встревоженные его отрывом от учебы, спрашивали: «Миша, почему ты сегодня не был на рабфаке?», он с напускной беззаботностью отвечал:

— А что мне? Захочу — буду аккуратным студентом, захочу — месяц на рабфак не загляну. А все-таки кончу рабфак первым.

На минуту он задумывался, точно проверял себя, и еще увереннее добавлял:

— Если не первым, так вторым обязательно.

В коммуну пришла новая партия девушек. Однажды Накатников увидел на крыльце женского общежития девушку, игравшую на гитаре. Доморощенные музыканты насчитывались в коммуне десятками. Накатников после возвращения из Звенигорода считал себя опытным воспитателем. «Вот, — думал он, останюсь у крыльца, — девушка играет, и никому до этого нет дела. А может быть, у нее талант». Игра ему показалась необычайно хорошей, а воспитателей он готов был обвинить



в недостатке внимательности к новым воспитанницам. Он прибежал в кабинет к Богословскому:

— Что это такое, Сергей Петрович? Почему нет у нас до сих пор женского оркестра?

Он взялся организовать особый женский оркестр и руководить им. Каждый вечер назначалась сыгровка. До хрипоты в горле Накатников кричал, ругался, поучал. Днем он раздобывал ноты или переписывал их, настраивал инструменты, обучал отстающих. Для рабфака оставалось слишком мало времени, и Накатников фактически перестал учиться.

Прошло три недели.

В коридоре клуба, где происходила сыгровка, он столкнулся как-то с Галановым — комсомольцем-чекистом, одним из организаторов комсомольской ячейки в коммуне. Галанов не переставал навещать коммуну.

— Здорово, Миша, — сказал Галанов. — Как дела с рабфаком? Как постигаешь премудрость? Что ж ты задумался? Квадратное уравнение, что ли, решаешь?

Накатников не сразу нашел, что ответить. Тот факт, что он уже не учится, внезапно предстал перед ним с устрашающей ясностью. С парнем нередко случалось так, что, увлекшись чем-нибудь, он плыл по течению, не думая, куда это приведет. Сейчас сознание собственного легкомыслия впервые возникло в нем. Накатников смотрел в молодое, не по летам серьезное лицо Галанова, чувствовал, что стыд мешает ему ответить со всей откровенностью, и солгал:

— Ничего, дела идут, скоро буду на первом месте.

Сказав это, он хотел как можно скорее ударить от комсомольца. Молодой чекист стал говорить о своих успехах в учебе:

— Меня в институте в аспиранты выдвигают. Наверно, при кафедре останусь.

Галанов учился в техническом вузе и намеревался отдаться научной работе. Он долго распространялся о своих планах на будущее. Накатников слушал и нетерпеливо топтался на месте.

Вернувшись к себе, он долго ходил по комнате крупными шагами. Стыд мучил его, как озноб. Он морщился, даже припрыгивал и, вероятно, показался бы свежему наблюдателю человеком, слегка повредившимся.

В комнату вошел Васильев и, заметив волнение приятеля, поинтересовался:

— Кто это тебя так завел? Или бабий оркестр взбунтовался?

Накатников порывисто повернулся и закричал:

— К чорту оркестр, к дьяволу! Не мое это дело! Какой из меня дирижер?! Пускай Чегодаев с ними занимается!

Вечером Накатников был на рабфаке. Знакомые лица студентов, преподавателей, швейцаров и уборщиц казались ему приятно обновленными. Он снова всерьез принялся за учебу. Теперь, после месячного перерыва, приходилось усиленно наверстывать упущенное. Однако Накатников не переставал принимать активное участие и в общественной жизни коммуны. Только после истории с женским оркестром не повторялось больше случая, когда бы Накатников не сумел сочетать общественную активность с учебой. Его возраст и старания воспитателей уравновесить его непостоянный характер начинали сказываться. На общих собраниях, на заседаниях конфликтной комиссии все чаще видели его выступающим в роли примиряющего поссорившихся или же в роли взыскательного, но беспристрастного судьи по отношению к нарушителю коммунических законов. На глазах у болшевцев менялась у Накатникова манера держаться с людьми, изменилась даже походка. Иногда во время горячего спора, когда в нем готов был проснуться прежний грубиян, он вдруг замолкал, хмурился и уходил в сторону.

— Что, Миша, струсил? — радовался спорщик. — Замолчал, почуял свою несправедливость?

— Отстань, — глухо говорил Накатников. — Не хочу я волноваться. Вот успокоюсь, тогда поговорим.

Раньше он мог не заглядывать в учебник целую неделю, а потом, прозанимавшись две-три ночи напролет, наверстывал упущенное. Теперь у него для занятий были отведены определенные часы.

Через год Михаил кончил рабфак. Напрямивался вопрос: что дальше? Учиться на инженера? Но не придется ли тогда расстаться с коммуной? Понадобятся ли ей свои инженеры? А разве можно покинуть коммуны, когда здесь товарищи, воспитатели, с которыми так много пережито, которым так необходимы живые опытные помощники для воспитания вновь приходящих в коммуны людей! «Ладно, попытаюсь в вуз поступить... А как там примут меня? — размышлял Накатников. — В рабфаке хорошо: молодежь рабочая, просая в обращении. Никто ни разу не укорил меня прошлым. Вуз — другое дело. Там, поди, занимаются дети ученых, книжников, крупных специалистов, презирать, пожалуй, будут. Да и хватит ли знаний, чтобы угнаться за ними?»

Раньше он с увлечением слушал заманчивые рассказы Погребинского о тех временах, когда коммуна вырастит своих художников, композиторов, хозяйственников, инженеров, и он, Накатников, будет первым инженером, выдвинутым коммуной. Накатников трепетно ждал этого времени, давал воспитателям клятву, что «не подкачает», выдержит экзамен в вуз, но чем ближе подходил день выполнения обещаний, тем страшнее де-



лалось Накатникову и меньше оставалось прежней дерзкой самоуверенности. Часто он в одиночестве бродил по лесу, чего с ним раньше не случалось.

Неожиданно приехал в Москву Погребинский, переброшенный к тому времени на работу в Уфу; Накатникову предстояло опять увидеться с ним. Что-то говорило ему, что эта встреча с Погребинским будет иметь для него решающее значение. Он не ошибся.

— В лес ходишь? — спросил Погребинский. — Ты что же, Миша, грибы собираешь или свидания там у тебя?

— Мне теперь не до шуток, — угрюмо вымолвил Накатников.

— А разве я смеюсь? — удивился Погребинский. — Что же, Миша, сосватаем тебе хорошую костинскую девушку, поженим. Цветочки на окнах. Занавесочки. Хочешь самовар? И самовар дадим. Чего тебе еще надо? Специальность есть, работать не пойдешь.

Накатников хотел что-то возразить, но Погребинский прервал его:

— Жизнь проверяет людей. Одному дай занавесочки, он и готов успокоиться, обывателем стать. Другой не боится борьбы, всю жизнь стремится вперед, растет сам и тянет за собой других — это непримиримый враг всякой успокоенности и мещанства. Вот и тебя проверяет жизнь. Инженером хотел быть. Мало ли в молодости какие мечты бывают! Увидел человек трудности и начинает искать дорожку поглаже, поровнее.

Накатников самолюбиво кусал губы.

— Как же, Миша, подыскивать самовар? — продолжал Погребинский. — Ты не стесняйся, прямо говори. Это не беда, что коммуна верила в тебя, ожидала большего; есть ведь и другие ребята, не оправдавшие наших надежд.

— А что делать в коммуне инженеру? — выдавил из себя Накатников. — Много ли здесь их нужно?

— Всегда найдется в стране хороший завод, — сказал Погребинский, выжидательно глядя ему в лицо.

— Не для того меня коммуна воспитала, чтобы я ушел из нее, — глухо произнес Накатников.

— Не для того мы брали вас в коммуна, чтобы делать из вас кустарей, — ответил Погребинский.

Он встал и прошелся по комнате, затем вернулся к столу и серьезно, даже несколько торжественно заговорил:

— Через два-три года коммуна превратится в огромный производственный комбинат. Ты знаешь это. Ты знаешь, что коньковая, трикотажная — это только начало. Новая обувная, новая лыжная будут в ряду лучших фабрик, производящих спортивный инвентарь. Вы сами, коммунар, принимаете уча-

стие в разработке планов строительства. Уж не думаешь ли ты, что мы ограничимся планами? Хватит, с избытком хватит дела и для инженеров, и для изобретателей, и для конструкторов. Сознайся, ты просто немного испугался трудностей учебы, которые перед тобой только еще начинаются.

— Неверно. Я не боюсь. Я о другом... — сбивчиво оправдывался Накатников. — Как там примут меня? Скажут — вор...

Он окончательно запутался. Растерянный и злой, он надевал фуражку, почему-то никак не желавшую лезть на голову. Он скомкал ее и сунул в карман. И точно это энергичное движение послужило разрядкой. Сразу успокоившись, он твердо сказал:

— Кровь из носа пойдет, а добыю. Увидите! Вот увидите, какой есть Мишка Накатников!

Никогда еще не проявлял он столько беспокойной настойчивости и упорства, как в решающий для него тридцатый год. С весны, после окончания рабфака, и до осени, готовясь в технический вуз, он спал не больше четырех-пяти часов в сутки. Его перестали видеть на товарищеских вечеринках и прогулках. Он появлялся в клубе только во время особо важных собраний, торопливо произносил с прежним жаром не особенно вразумительную короткую речь и уходил к себе, не дожидаясь, какое будет вынесено решение. Он осунулся, похудел, скуластое небритое лицо его приняло зеленоватый оттенок. Когда ему трудно давалось какое-нибудь место в учебнике, он ехал в Москву к знакомому преподавателю рабфака за помощью.

Сивобородый старичок-математик говорил:

— Слушайте, Накатников, вы переусердствовали. Начальные тригонометрические функции, конечно, надо знать при поступлении во вуз, но знание сферической тригонометрии не предусмотрено программой приемочных испытаний.

— Могут спросить, — твердил Накатников.

— Чего вам беспокоиться? Вы как окончивший рабфак получите при испытаниях некоторое снисхождение.

На щеках Михаила проступали багровые пятна.

— Снисхождение на бедность! — кричал он с непонятным ожесточением. — Не надо! Никаких поблажек! Я покажу им!

В коммуне Сергей Петрович осторожно замечал ему:

— Отдохнул бы, Миша, до экзаменов еще месяц.

— Значит, надо торопиться, — отзывался он.

В огромный подъезд серого здания втуза Накатников вступил с лихорадочно блестящими глазами.

Дожидаясь своей очереди на экзамен, он ходил по коридорам, намеренно громко стуча каблуками, вызывая погляды-



вая по сторонам на этих чистеньких, как он полагал, «материнских сынков и дочек», пришедших экзаменоваться. Он был готов вступить в жестокую словесную перепалку со всеми, кто посмел бы затронуть его. На него не обращали внимания. По коридорам переливались говорливые потоки молодежи в кепках, пиджаках, белых панамках, в скромных кофточках и юбках; часто мелькали зеленые юнштурмовки. Многие явились, видимо, прямо с производства. То-и-дело слышались фразы:

— Сдам политэкономия и в бригаду.

— Что у вас, опять прорыв?

— Подтянулись...

Накатников заметил стоящую несколько особняком группу парней и девушек. Здесь ребята были при галстуках. Носки туфель у одной из девушек поблескивали лаком. Она прижималась к плечу подруги и повторяла:

— Вдруг провалюсь. Что тогда?

— Ага, страшно! — язвительно сказал, проходя мимо, Накатников. За себя он, переволновавшись раньше, был странно спокоен.

— А ващ панаша разве акции золотых россыпей имеет? — услышал он у себя за спиной.

Он резко повернулся и строго спросил:

— Причем здесь акции и россыпи?

Паренек в пенсне, с длинными, зачесанными назад волосами не совсем дружелюбно объяснил:

— Да вот относительно «страшно». Конечно, все побаиваются. У меня родитель сорок лет на фабрике инженерит и мне приказал. С какими глазами я приду домой, если провалюсь? Раньше не беспокоились на экзаменах только сынки богатеев, которым диплом нужен для солидности...

— Бросьте, ребята, время терять, давайте-ка лучше еще пройдемся по физике, — вмешался русый солидный юноша в новом отутуженном коричневом костюме и в накрахмаленном воротничке.

— По воротничку видно, как вам учеба нужна, — съязвил Накатников.

Щеголь спокойно ответил:

— Заработайте у токарного станка триста рублей в месяц, получите в премию костюм за ударность, тогда нацепляйте и воротничок, никому не заказано.

Приоткрылась дверь кабинета, за которой шли испытания по математике, и чей-то голос торжественно возвестил:

— Накатников Михаил, пожалуйте!

Берясь за ручку двери, Накатников услышал, как человек, вызвавший его, что-то сказал профессору и засмеялся. Смех

был мирный, домашний и не вязался с торжественностью, прозвучавшей в голосе этого человека при вызове. Когда Михаил вошел, улыбка не рассеялась еще и на лице старого профессора с пышным черным бантом под мягким и широким воротничком рубашки. Насушенные седые брови, свисающие ниже подбородка усы и высокий лоб делали профессора похожим на Мелихова.

Старик долго разглядывал лежащие перед ним документы Накатникова, успел за это время дважды слазить неторопливо в карман за носовым платком и высморкаться.

— Бакалов Савелий, пожалуйста, — раздался в приоткрытую дверь уже знакомый Накатникову голос.

Вошел парень в коричневом костюме. Не отрывая глаз от бумаг, профессор сказал помощнику:

— Можете еще одного. Я буду сразу троих спрашивать. Публика тут наша, рабфаковская, проверенная.

Третьей оказалась девушка в лаковых туфлях. Обстановка делалась все проще и обыденней. Накатникову стало обидно. Несколько месяцев он не досыпал, отказывался от развлечений, готовясь к свирепому бою, от исхода которого зависело будущее, и вдруг его, Накатникова, не хотят даже выделить и намерены спрашивать вместе с двумя другими. «Очевидно, документы неясно говорят, кем я был и кем стал. Этакие люди не встречаются на каждой трамвайной остановке». Накатников воображал профессора желчным и враждебным человеком, думающим: «Ах ты, ворюга! В инженеры захотел? Вот я тебя срежу сейчас». И профессор должен был задавать самые каверзные вопросы, требовать вывода наитруднейших формул. Накатников ответил бы, конечно, не запинаясь. Конец сражения представлялся так: профессор устало вздохнет и, признав себя побежденным, угрюмо и неохотно скажет: «Я поставлю вам удовлетворительно». Сколько бы тогда рассказывал Накатников приятелям об этой трудной победе.

— Что же вы не садитесь? — прервал его размышления громкий голос профессора.

Накатников вздрогнул. Он совсем не ожидал, что седоусый старик обладает столь звучным и ясным голосом.

— Мое место — у доски стоять, — скороговоркой ответил Накатников.

— А я возьму да и не пошлю вас к доске, — весело сказал профессор. — Вот прошу подчиниться — сесть к столу и взять карандаш с бумагой. Вы из Болшевской коммуны?

— Да, из нее, — с гордостью подтвердил Накатников, собираясь постоять за коммуну, за честь своего родного дома.

— Что же, много вас там... таких богатырей?



— Несколько сотен. В Звенигороде еще одну открыли комму-  
нуну для беспризорных. Я туда сам ездил, организовывал.

— Вы?

— Я.

— И они слушались вас, эти оторви-головушки?

— Ничего, только кирпичом один ударил, — отрывисто го-  
ворил Накатников.

Он уже злился на свою болтливость.

Старик задумчиво гладил усы. «Вылитый Мелихов», подумал  
Накатников.

— И вы действительно там все работаете, учитесь? И клуб  
у вас есть и кружки? — продолжал допытываться профессор.

Накатников, глядя в сторону, скупно и неохотно сообщил о  
конфликтной комиссии, самоуправлении, новых домах, сбор-  
нике стихов, выпущенном недавно коммунскими поэтами.

Старик прикрыл лицо рукой. Накатников удивленно погля-  
дел на него. Вытирая с детской беспомощностью влажные глаза и  
силаясь улыбнуться, профессор извинялся перед встрево-  
женной девушкой:

— Вы уж того... Смолоду глаза на мокром уродились, а  
теперь — годы... Подумайте: где это видано — оборванцы, во-  
ришки... Их мужики на базаре смертным боем били за кусок со-  
леного сала, утащенный с воза. Честное слово! Сам видел.  
А теперь этот медведь полосатый, — указал профессор на Ми-  
хаила, — извольте видеть, ко мне в аудиторию прется!

Он покачал головой:

— Большевики... сердитые люди.

Затем старик вынул из кармана носовой платок, встряхнул  
им и осведомился уже деловито:

— Скажите, а можно к вам приехать, поглядеть?

— Отчего же? Иностранцев пускаем, а вас тем более.

— Ну, спасибо, — профессор шумно вздохнул и бодро при-  
казал:

— Состройте-ка мне, молодой человек, биномчик Ньютона...

Накатников покинул кабинет с противоречивым и сложным  
настроением. Его известное всей коммуне самолюбие страдало  
из-за того, что испытание по самому трудному предмету — за  
остальные он не беспокоился — прошло так легко. Но внимание  
растроганного профессора все-таки льстило ему. Он чувство-  
вал, как мелкое, наполюину удовлетворенное тщеславие погл-  
ощается большой и светлой радостью за всю коммуну, кото-  
рая вызвала такое неподдельное изумление старого ученого  
человека. Михаил опустился на первую же скамейку в коридоре  
и только тут почувствовал, как он устал. Он уронил голову на  
подоконник и задремал. Вскоре кто-то начал трясти его за плечо.  
Очнувшись, он увидел русую девушку в лакированных туфлях.

Она взяла руку Михаила, пожимала ее, смеялась белозубым ртом:

— Вот спасибо, выручил!

— Кого, чем? — вяло недоумевал Накатников.

— Да проснитесь же! На первой лекции успеете подремать, — шутила девушка. — Старичок-то наш расчувствовался и ставит «удочки», как миленький! А ведь он, говорят, строгий... Заходите в гости. Я на Сретенке живу, дом 14, третий этаж, пять звонков. Спросите Ситникова — это мой дядя, я у него остановилась. Обязательно приходите, а то у меня никого знакомых в Москве: я из Воронежа...

Она побежала, вызвав голубым платьем своим легкое дуновение, пахнувшее сиреневым одеколоном.

Первую зиму Накатников учился во втузе без всяких затруднений. Во время подготовки он ушел по сравнению со многими студентами далеко вперед. Весной его послали на практику в одно из крупных технических учреждений полупроизводственного-полунаучного характера. Несмотря на то что он был практикантом, т. е. не постоянным работником этого учреждения, его выбрали секретарем ячейки. Здесь произошли события, после которых Накатников почувствовал себя человеком взрослым и окончательно сложившимся.

Директор учреждения, мужчина внушительной наружности, был беспартийным. В манерах его и в поведении проявлялось столько простодушия, что Накатникову вначале казалось кощунством подозревать его в каких-либо служебных погрешностях. Но материал для подозрений возник очень скоро.

В учреждении оказалось множество злоупотреблений. Директор и близкие к нему люди получали, например, жалованье за преподавание на несуществующих курсах. Курсы эти только еще предполагалось организовать, но уже образовался некий штат, аккуратно получавший ежемесячную мзду. Бывали случаи, что сотрудники командировались для выполнения определенных заданий в Сочи или в Ялту, откуда приезжали жизнерадостными и пополневшими. Проектная работа, особенно высоко оплачиваемая, оказалась монополией отдельных лиц. Накатников начал, как он выражался про себя, готовить материал: собирать факты для разоблачения.

О готовящемся нападении, повидимому, узнали. Однажды технический директор, зазвав Накатникова к себе, предложил ему очень заманчивую командировку. Предоставлялась возможность поехать на два-три месяца на крупное производство, жить в хороших условиях и заработать порядочную сумму. Все это походило на взятку, и Накатников отказался. Коротконогий толстяк, исполнявший должность технического дирек-



тора, только пренебрежительно пожал плечами. Он считал молодого практиканта просто глуповатым.

Накатников пошел в Рабоче-крестьянскую инспекцию. Там его внимательно выслушали, обещали дать делу быстрый ход.

Спустя неделю Накатников не вытерпел и пошел снова в Рабоче-крестьянскую инспекцию.

— А не склота это у вас? — осторожно спросили его. — Все, что вы нам рассказали, ваш директор объясняет иначе.

Накатников мял в руках свою заношенную кепку. Он не собирался отступить.

Началась пора медленной полускрытой войны. Накатников собирал вокруг себя людей — свидетелей злоупотреблений, но этих людей директорской волей отсылали в командировки и переводили в другие учреждения. Накатников пытался добиться назначения ревизии, директор успешно тому противодействовал.

Наконец Накатникову сообщили в РКИ, что назначена специальная тройка, которая подробно разберет все дело.

Возвращаясь из РКИ, Накатников долго стоял на Каменном мосту. Под мостом бежала холодная серая река. День был сумрачный, как думы парня. А вдруг он тут действительно в чем-то ошибся? Его могут привлечь к партийной ответственности, даже исключить из партии как склочника. Ему вспомнился самый яркий, самый значительный в его жизни день — тот день, когда его приняли в партию. Это было совсем недавно. Он сидел на собрании строгий, сосредоточенный, внимательный.

За годы самоотверженной честной работы в коммуне бывший вор Накатников доказал, что прошлое умерло для него. Больше того, в комсомоле, в общественных органах коммуны, всюду, где работал Накатников, он сумел показать, что от прежнего мелкого, маленького, эгоистичного Накатникова не осталось ничего.

Для теперешнего нового Накатникова ничто в мире не было дороже и выше интересов коммуны, интересов коллектива. Так по крайней мере отзывались о нем товарищи, рекомендовавшие его в партию. «Примут ли? — думал Накатников. — Поверят ли, что человек, когда-то взламывавший замки, вырезавший в трамваях лезвием бритвы бумажники, человек, который был паразитом, мог стать большевиком, готов отдать свою жизнь, каждую каплю своей крови за счастье трудящихся? Поверят ли в его стойкость, закаленность, выдержку?»

На том же собрании стоял вопрос о коммунаре, члене партии Соломахине. Соломахин — старый болшевец, был вместе с Накатниковым в комсомольской ячейке, был одним из первых воспитанников, принятых в партию. Недавно он напился пьяным. И вот он стоял перед ячейкой бледный, подавленный, но взгляд его серых глаз был тверд.

— Мы строго взыскиваем за пьянку с рядового коммунара, — говорил взволнованно секретарь ячейки. — Беспартийного активиста, который обязан быть примером для других, мы за пьянку исключаем из актива, иногда даже из коммуны. Соломахин — коммунар, Соломахин — активист... Мало этого, Соломахин — член партии! Он был передовиком из передовиков! Как же он мог позабыть об этом? Как он не оправдал доверия, которое проявила партия, включив его в свои ряды?..

И так же говорили все другие. Они говорили, что человек, не способный быть большевиком в малом, не имеет права на доверие и в большом; они говорили, что Соломахин своим поступком сыграл наруку врагам партии, наруку тем, кто не верит в возможность перевоспитания, переделки бывшего преступника, в возможность превращения его в полноценного человека — гражданина и борца, тем, кто, затаея, со злобой и ненавистью радуется всякому затруднению.

«Да, Соломахин не коммунист, не большевик, — думал Накатников. — Ведь не мог же он не понимать, какая ответственность лежит на нем? Значит — жалкий обманщик, слабовольный слизняк. Как не замечал этого Накатников прежде?»

Потом получил слово сам Соломахин.

— Я совершил ошибку, которой нет оправдания, — сказал Соломахин. — Вчера я был передовик, сегодня из-за своей слабости я, может быть, хуже всех... Я понимаю, чего я заслужил.

Много необыкновенного пережил и перечувствовал Накатников в этот особенный вечер и, когда шел с собрания, знал: в мыслях и словах, в поступках, во всем и всегда будет большевиком. Пока течет в жилах кровь, пока не угас разум, пока живет на свете парень Накатников — он будет большевиком. Знания, силы, жизнь — все отдаст Накатников партии. А вот теперь... Неужели действительно может наступить такой день, когда он явится в коммуны с позором, когда он не посмеет перешагнуть порога ячейки?

Накатников смотрел на мутную воду, думал: «Да нет, какая же может быть ошибка? Разве кто-нибудь смеет безнаказанно расхищать средства страны?»

А если так, то Накатников будет бороться до конца, чего бы ни стоила эта борьба.

Ревизия нашла злоупотребления.

Директор и ряд сотрудников были сняты.

С практики Накатников вернулся во втуз, чувствуя себя возмужавшим.



# СЕМЬЯ

**В** парке скучно. На голых ветвях деревьев сердито каркают жирные вороны. Небо не перестает хмуриться. Идет мелкий, как пыль, надоедливый осенний дождь. Маша Шигарева в заплатах в платье, в опорках бесцельно бродила по аллеям парка. Прошло то время, когда ездила она с Огневой из коммуны воровать. Тогда их разоблачили на общем собрании, судили, решили исключить. Лишь спустя несколько месяцев удалось Богословскому добиться возвращения Шигаревой и Огневой в коммуну. Время, проведенное Огневой в домзаке, не прошло для нее даром. В коммуне она взялась за учебу, вышла замуж. Только с работой плохо ладилось у нее. И Шигарева и Огнева работали на трикотажной. Шигарева умела работать, но работа ей попрежнему была противна. Правда, теперь она уже не бегала по коммуне с хлыстом и в трусиках. Ничего не осталось от бывшего ухарства.

«Что делать? Что мне теперь делать?» думает она, расхаживая по парку.

Она обносила. Ее долг коммуне вырос до пятисот рублей. Большевики посматривают на нее свысока, даже новички посмеиваются над ней.

«Неужто я хуже их всех?» спрашивает себя Шигарева.

Она вспоминает прошлое, сравнивает. Нет, она не хуже их. Так почему же они держатся с ней так, точно снисходят до нее? Даже Огнева — и та в последнее время стала как будто сторониться Маши.

Она вытащила из-за пазухи письмо брата и в сотый раз прочитала его. Брат освободился, звал воровать и предостерегал от «лягавых» в коммуне: «Загонят они тебя харчами и работой в гроб. Приезжай! Пока годы молодые — гуляй, весели душу!» Эти строчки Маша знала наизусть.

Неужели так и сделать, как пишет брат? «Веселить душу!» А где теперь его «душа»? В домзаке, в концлагере? И так ли уж ему теперь весело? Вот уже два месяца прошло, как получила она это письмо. Нет, она не хочет ни в домзак, ни в лагерь...

Так что же тогда, взяться за работу? Она вспомнила, как страдала Огнева в трикотажной. «Дура, вот уж дура, и еще заносится». Нет уж, если работать, так чтобы всем нос утереть, чтобы все ходили кругом и удивлялись. А почему бы действительно не выкинуть Маше такой номер? Трикотажное дело она знает. Ведь стоит только приналець, и она могла бы оказаться впереди многих. Чем они тогда будут хвалиться?

Утром Маша первая пришла на фабрику.

Она подошла к Гнаму, поклонилась и вежливо сказала:

— Переведите меня на гетры.

Гнам подвел Машу к машине:

— А вы разве умеете?

— Умею, — сказала Маша и тут же наладила нитку и включила мотор.

— Хорошо, — сказал Гнам. — Работайте.

Он отошел и издали наблюдал за ней. Весь день Маша простояла у машины. Быстро бегали ее пальцы, и под гомон цеха она мысленно твердила: «Погодите, я вам покажу!»

Гнам только удивлялся. Такого рвения у Шигаревой он еще не видал. По ночам у Маши болели руки, ныла спина. Тяжело с непривычки работать по-ударному. Маша плакала, но когда гудел первый гудок, вскакивала и бежала на фабрику. Только в конце месяца, перед получкой, раньше всех убрала она машину и ушла в контору.

— Сколько я заработала?

Подсчитали, вышло двести пятьдесят.

— Все останется у вас! Я коммуне должна пятьсот. На руки мне — ни копейки.

У Огневой не ладилось с напульсниками. Обращаться к мастеру Никифорову ей не хотелось. Этот человек показывал неохотно, раздражал ее. Она ждала Гнама, но тот задержался в швейном цехе, что-то делал там с зингеровской машиной. Время шло, Огнева волновалась: «Попросить Машу? Она, конечно, покажет. Но будет смеяться». После возвращения в коммуну в их отношениях не было прежней близости. Все же Огнева решилась.

— Не выходят у меня напульсники, — тихо пожаловалась она.

— Смотри.

И Маша быстро сделала три напульсника.

— Поняла?

— Поняла, — довольно ответила Огнева.

«Хорошая девка — Маша», подумала она.

— Ну, смотри, подтягивайся, а то я хочу расценки снять у нас.

— Что ты... Совсем зашьемся! — испугалась Огнева.



Маша не ответила. Мысль о расценках до этого не приходила ей в голову. Сказала она не серьезно, только для того, чтобы напугать Огневу. Но теперь эта идея ей понравилась. В самом деле, разве она не может снизить расценок? Она-то всегда двести с лишним заработает.

Вот отместка «всем» за обиду!

Неторопливо рванула она рубильник, жалобно на высоких нотах завыл мотор, четко цокнули иглы и замерли.

Маша вбежала в кабинет директора и сказала:

— Я хочу с вами поговорить!.. Вы должны мне помочь.

Директор выслушал Шигареву.

На другой день возле табельной доски висело объявление: «Лучшая работница трикотажной фабрики Мария Шигарева снизила расценки на двадцать пять процентов. Обязуется повысить на столько же процентов производительность труда. Обязуется бороться за минимум брака. Вызывает последовать ее примеру работниц и рабочих всех цехов нашей фабрики».

Трикотажники зашумели:

— Что она делает? И так браку много!..

— Рано снижать!

— Собрание нужно, там подробно потолкуем...

И опять Машу будто не замечали. И лишь украдкой поглядывая, шептались и качали головами.

Но теперь Маша была довольна: «Что, утерла вам нос?»

Она работала как никогда — легко и весело. Ей казалось, будто машина, мотор, челнок, нитки и она слились в одно. Мастера смотрели на нее с уважением, здоровались за руку и разговаривали на «вы». Гнам — доволен.

Вечером было собрание.

— Мы, конечно, не против снижения расценок, — говорили ребята. — Дело хорошее вообще, а в коммуне и подавно, потому что нам же выгода от этого. Но — рановато. Не всем за Машей угнаться.

Решили повести серьезную борьбу с браком и выбрать специальную тройку.

«Конечно, меня выберут», думала Маша. А\* когда попросил слово Гнам, она знала определенно: о ней, Гнам встал, заложил руку за борт пиджака и, окидывая взором ряды притихших болшевцев, не спеша, с достоинством начал:

— Я хочу сказать о Маше. Была плохая, а стала лучшая! Ее нужно в эту комиссию.

Маша нетерпеливо ждет, когда председатель скажет: «Кто за?» Тогда поднимаются вверх сотни рук и кто-нибудь подтвердит общее решение спокойной похвалой: «Конечно ее, кого же больше? Девка стоячая!..»

Но почему же так тихо? Машу охватывает тревога, она вопросительно оглядывает лица товарищей.

Кто-то хихикнул. Кто-то громко высморкался.

Председатель хитро прищурил глаза:

— Рановато Машу. Она ведь больно капризна. А комиссия нам требуется не для капризов!..

Смех заставил Машу покраснеть. Она растерянно смотрела по сторонам. Вновь подымалась обида. Как же так, опять «они» перехитрили ее? Опять «их» верх?

— Что же я должна еще делать? — спросила Маша себя, но так громко, что ее услышал сидевший рядом с председателем директор.

— Ты, Маша, хорошая работница! — сказал он. — Мы тебя за это ценим. Но плохая коммунарка. Сознайся, не любишь коммуны, не любишь коммунаров? Ты с ними держишь себя вызывающе, гордо. И на фабрику ты пришла со своей какой-то целью, а не коммунской. А вот теперь, когда тебе слегка спесь сбили, я не стану ручаться, что ты завтра выйдешь на работу. Скажи, правильно я говорю или нет?

Маша не отвечала. Конечно, она им больше не работница!

Она вспомнила, что сегодня должен быть субботник. Не только на работу, а и на субботник она не пойдет! Пусть видят!.. Конечно все! А жалко все же, столько старалась. С долгом почти рассчиталась, теперь бы одеться! И машина у нее — гордость фабрики — необыкновенной конструкции.

Машину «они», несомненно, испортят. Вот если бы можно было из коммуны уйти, а на фабрике остаться! Вот если бы так!

Размышляя, Маша не слышала, что решало собрание. Когда начали расходиться, она вдруг вспомнила о субботнике.

— А про субботник забыли? — сказала она директору.

Тот улыбнулся:

— Как забыли? Идем. Ты что, разве не слушала, о чем был разговор?

Субботник был по уборке нового корпуса трикотажной. Во дворе скатывали в штабели бревна. Маша вместе с бригадой трикотажников под команду «Раз-два-а, взяли!» дружно подхватывала колом бревно, подставляла плечи, вскидывала бревно на третий ярус, и оно с глухим рокотом катилось по прокладкам к ногам укладчиков.

Со второго яруса выкатилось толстое восьмиметровое бревно. Затрещали прокладки. Ребята испуганно отскочили... Маша растерялась, бревно с грохотом свалилось ей на ногу. Маша вскрикнула и упала, ударившись головой об острые кирпичи. Она видела, как подпрыгнуло заходящее солнце. Потом стало темно.





Теперь она не вернется в шалман. На трикотажной,  
у мольезной машины

Десятки рук подняли бревно. Машу окружили товарищи. Кто-то пощупал пульс и снял шапку. Заплакали девчонки, зашмыгали носами ребята. Вспомнили: своенравная, гордая была Маша, а прямой, честный, искренний человек. А как умела работать!..

В сущности ее любили, любили давно.

— Эх, обидели мы ее, — сказал секретарь комсомольской ячейки Николай Михалев. — Не выбрали в эту комиссию. Обидели.

Никто ему не ответил. Пришел фельдшер. Машу положили осторожно на носилки и унесли.

Фельдшер сказал: «Жива».

## II

Брак Малыша с Огневой был в коммуне первым браком коммунара и коммунарки.

Первую супружескую пару за неимением лучшей жилплощади поселили в маленькой комнатухе около кооператива, где прежде помещалась кладовая спецодежды. Но когда на скатерть, покрывавшую стол, сделанный из двух широких фанерных ящичков, упало солнце, комната показалась Огневой и Малышу большой и нарядной.

Они оба еще стыдились своего одиночества и своей нежности. Вечером за окном пела песня и шумела холостая молодежь так же, как шумели и пели песни они сами еще вчера, но теперь эта недавняя жизнь казалась им смешной и далекой. Скрип половицы, чай из маленького — на двоих — чайника, ситцевая занавеска на окне и много других мелочей отделили их от товарищей сеткой интимных, маленьких тайн.

Малыш увлекся скрипкой, начал усердно учить первые гаммы и даже пытался передать мелодии, игранные на кларнете. Скрипка капризничала в неопытных руках Малыша, и Нюрка откровенно выражала недовольство его игрой. Она прикладывала руку к своей щеке, шутливо морщилась, словно от нестерпимого приступа зубной боли.

— Выгонят нас из коммуны за такую игру, Вася!

Скрипку повесили на стене около полки с книгами, но, уступив в этом Малышу, Нюрка долго ворчала. Семейный уют она начала строить со строгой симметрией, пытаясь ею скрасить скудность обстановки, и когда замечала на лице мужа усмешку, огорчалась и тайно вздыхала.

Малыш сердился, упрекал ее в некультурности.

— Тебе читать нужно больше, Нюрка! — говорил Малыш.

И он стал ей читать книги вслух, но Нюрка от чтения быстро утомлялась, позевывала, прикрыв ладонью рот, и даже за-



сыпала. Забота о семейном уюте была для нее понятнее, интереснее и ближе. Она неутомимо чистила комнату, чинила, штопала, шила. Малыш удивлялся ее энергии и терпению.

— Мы будем столоваться дома, — после недели их совместной жизни сказала она. — Нам нужно коптить деньги — вещи приобретать.

— Хорошо, — покорно согласился Малыш.

Последнее время он почти совсем не узнавал ее. Это и пугало и радовало. Он боялся, что прорвавшееся с такой силой стремление к семейной жизни вдруг надломится и тогда наступит катастрофа. Он стал внимательно приглядываться и следить за ней, а вечерами в свободные часы, подсмеиваясь над домоседством, вытаскивал ее в клуб.

— Под старость успеешь стены коптить! — говорил он.

Нюрка покидала комнату неохотно, и даже ее прежняя страсть к танцам ослабела. Она первая уводила с них мужа домой.

Через месяц, когда Нюрка, возвратившись с ночной работы, принялась за стирку у примуса, Малыш поглядел на ее побледневшее лицо и воспаленные глаза и в первый раз, не держа, резко прикрикнул:

— Довольно! На мебель у дяди Сережи, если надо, займем денег. Из-за чего ты мучишь себя?

Нюрка вздрогнула, удивленно посмотрела на него и притихла. «Ведь ты не знаешь, что за прошлое лодырничество я задолжала коммуне около трехсот рублей!» хотела сказать она. За этот долг теперь они расплачивались вместе, и он лежал большой тяжестью на совести Нюрки. Стирку она все же бросила, хотя и не сразу, а только убедившись, что пользы, пожалуй, действительно нет никакой. Снова они с Малышом пошли в столовую коммуны.

Семья! Еще в детстве, совсем маленькой, когда выходила она на улицу из своего подвала, держась за грязный, обтрепанный подол матери, чтобы вместе с ней кланяться у прохожих копейки, она с завистью заглядывала в окна, где сияла чистотой просторная, непонятная жизнь. Люди, живущие там, казались добрыми и счастливыми. Вечерами, лежа в углу соломенного тюфяка и слушая ругань вечно пьяного отца, она иногда плакала от зависти и тоски. В те минуты она ненавидела и подвал, и мать, и отца. А Валька! Гукающая Валька с розовым бантом на волосах! Нюрке только во сне пришлось видеть ее в плетеной кровати у раскрытого настежь окна.

Теперь, часто просыпаясь по ночам от внезапного непонятного беспокойства за непрочность своей семейной жизни, она долго прислушивалась к ровному сонному дыханию Малыша... Она всматривалась в его лицо, отыскивая признаки недовольства ею, сожаления о потерянной свободе холостяка, и вспо-

минала теперь тот далекий вечер, когда она стояла перед собранием большевцев.

— Мертвую, но оставить ее в коммуне. Все равно без коммуны ей пропадать! — крикнул на этом собрании Малыш.

Эти слова прочно вошли в память Нюрки, и, может быть, только они удержали ее от свиданий с первым мужем и ухода из коммуны. Она знала, что отец умершей Вальки был взят из Соловков в Люберцы. Он мог приезжать и сюда. Однажды в поздние октябрьские сумерки ей показалось, что сквозь мокрые стволы сосен она видит его возбужденное бледное лицо. Ей стало страшно за себя и за Малыша. Она провела несколько тревожных бессонных ночей и, не выдержав напряжения, пошла к дяде Сереже:

— Отпустите меня в Люберецкую коммуну!

Дядя Сережа решительно отказал.

Теперь это отошло, стало забываться. На подоконнике ее комнаты цветы в горшках уже пустили свежие ростки, ночную тишину комнаты колеблет сонное дыхание мужа.

Иногда к ним заходил дядя Сережа и, осматривая веселыми глазами нюркино хозяйство, спрашивал:

— Ну как? Довольна своим шалашом?

— Терпеть можно, — скромно отвечала Нюрка.

— Потерпи, потерпи. Скоро что-нибудь получше устроим!

И он рассказывал о будущем коммуны, о расширении производства, о строительстве просторных и светлых жилых домов.

В присутствии Сергея Петровича Нюрка всегда чувствовала большую уверенность. Ей нравилась его ласковая настойчивость, умение просто подойти к человеку, отчего самое безвыходное, запутанное становилось понятным.

После шести месяцев жизни в коммуне Нюрка вместе с Малышом, заняв у дяди Сережи сто рублей, в первый раз поехала в Москву. Они решили купить кровать. В день отъезда Нюрка с утра волновалась, а, подъезжая к Москве, не отходила от окна вагона. Она со страхом смотрела на серый горизонт, прикрытый дымными сизыми испарениями.

На Сухаревке они купили полутораспальную кровать с пружинным матрацем. На кровати сияли никелированные шары, а матрац отбрасывал руку, пробующую крепость пружин. Нюрка никогда не думала, что будет обладать таким великолепием. Ей захотелось сейчас же поставить кровать в своей комнате, и, когда Малыш предложил ей сходить на дневной сеанс в кино, она решительно запротестовала:

— Едем! А то, чего доброго, багаж раньше нас в Болшево придет.

Кровать со взбитыми пышно подушками поставили у окна. Нарядная, она заняла добрую треть комнаты. Скрипка рядом



с ней потускнела и как будто совсем вдавилась в стену, признав свое ничтожество. Нюрка радовалась, глядя на кровать, а скрипка в руках Малыша определенно звучала глуше: кровать уменьшила и так небольшой комнатный резонанс.

Товарищи посмеивались над покупкой Малыша:

— С законным браком!

— Слыхали, что ты корову купил?

Но все же маленькая комната супружеской пары была для многих символом прочности новой жизни.

### III

От неумения или оттого, что ручная фанговая машина была уже порядком поношена, Нюрке приходилось часто обращаться к мастеру Никифорову. Мастер, услышав о порче машины, с досадой морщился:

— Эх вы, «работнички»!

Нюрка знала, что это презрительное название относится к ней и к Варе Козыревой. Кое-кто из вольнонаемных, заметив недовольство Никифорова, язвительно улыбался.

Мастер, покуривая, в глубоком раздумье долго стоял у испорченной машины и сокрушенно покачивал головой:

— Ну-ка, принеси мне отвертку.

Нюрка, кусая от обиды губы, шла за отверткой, но когда приносила ее, Никифоров говорил:

— Теперь принеси масленку. Быстро!

— Может, за полбутылкой еще пошлешь? Ты мне мозги не темни. Покажи, что делаешь.

— Уходи, девка. Я постороннего глаза в работе не терплю.

Может быть, поэтому вначале работа на трикотажной казалась Нюрке нудной, неинтересной, и редко бывала у нее такая неделя, чтобы рабочих дней было больше четырех-пяти. А когда приходил черед заступать в ночную смену, Нюрка шла к дяде Сереже:

— Пиши увольнительную записку по болезни.

— Филонишь, Нюрка. Пора бы всерьез за работу приняться.

— Не филоню — больная. Пиши!

Шел второй месяц ее семейной жизни, ее увлечения уборкой, шитьем, стряпней на примусе. Но с того дня, когда Малыш прикрикнул на нее, желание заработать больше, чем он, не покидало ее. Ей хотелось бросить трикотажную фабрику, перейти в коньковый цех или опять на обувную, но каждый раз секретарь цеховой комсомольской ячейки Михалев уговаривал ее:

— Скажи мне, глупая голова, для чего у нас трикотажная? Для того чтобы вольнонаемные на ней работали? — Коля Михалев близко наклонялся к Нюрке и страстно бил себя ку-

лаком в грудь. — Ведь я же ж мотал пряжу? Мотал! Сейчас же топай к станку, а то на меня псих найдет.

Нюрка смеялась, глядя на его страшно вращающиеся зрачки, и опять шла к своей фанговой машине вязать детские шарфы. Но несмотря на настойчивое желание заработать больше, выработка ее все же была смехотворно мала.

— Оно и видать, кто к чему с малолетства приучен, — нередко «пошучивали» вольнонаемные из числа тех, кто побаивался производственных успехов воспитанников.

А дома у окна, тесно заставленного цветами, стояла пышная, сияющая никелированными шариками кровать; скрипка в руках Малыша звучала все уверенней, и от этого хотелось Нюрке чувствовать себя самостоятельней и крепче. Но мысли о долге, выросшем в связи с покупкой кровати до четырехсот рублей, и незадачливая работа наводили тоску. В один из таких приступов тоски она едва удержалась от соблазна напиться пивной, но она знала, что вся коммуна смотрит на их жизнь — жизнь первой семейной пары. От этих взглядов не уберегут ни стены, ни занавески на окне. Нужно делать эту жизнь чище, честней — такой, чтобы болшевики завидовали им и гордились ими. Каждая новая вещь, вымытые полы, протертые стекла окон радовали Нюрку теперь больше, чем воровские удачи прежней жизни. Но странно: чем больше и лучше устраивала она свой быт, тем больше чувствовала свое одиночество и тем чаще замечала недовольство в глазах Малыша.

— Мещанимся мы с тобой, Нюрка, — сказал он однажды.

В комнате стояли сумерки ранней ясной весны. Нюрка легла на кровать и стала думать о том, что наступает второй год ее жизни в коммуналке, о том, что сказал Малыш. За это время она многим переболела, добилась благополучия. Теперь у нее есть вот эта комната, семья, спокойствие за завтрашний день. А все-таки, может быть, прав Малыш? Что если в один из дней Сергей Петрович скажет ей при всех:

— Что же, Нюрка, и замуж вышла, и комнату коммуна тебе дала, а толку от тебя... — Он укоризненно покачает головой, добавит: — Коммуналка-то ведь не богадельня. Работать надо, платить долги.

Нюрка прикрыла ладонью глаза, чувство тоски и одиночества стало острее.

Малыш пришел поздно. Нюрка уже спала. Не зажигая огня, он разбудил ее:

— Радуйся, свадебный подарок получили.

— Какой подарок? — протирая глаза, равнодушно спросила Нюрка.

— Дядя Сережа с тебя долг снял.

Нюрка спрыгнула с кровати:



— Как снял?

Малыш засмеялся:

— Дай мне перекусить, радоваться будешь после.

Малыш чиркнул спичкой, чтобы зажечь лампу, и увидел лицо Нюрки. В нем была не радость, а горе... «Что с ней?» испугался Малыш.

— Снял, значит? — сказала Нюрка. — Милостыню подал?

Нюрка широко взмахнула вязаным платком и накинула его на голову.

— Я ему покажу милостыню! — крикнула она.

На окне от сквозняка рванулась занавеска. Но Нюрка не успела перешагнуть порог. Малыш схватил ее за плечи и толкнул обратно в комнату:

— Не горячись, завтра мы это дело рассудим.

Утром Огнева встала раньше обычного. Она тщательно вымылась, убрала комнату, и, когда Малыш, проснувшись, посмотрел на нее, она была свежей, чистой, с какой-то новой строгостью в глазах.

— Вставай, лежебока, гудок проспишь!

— Далеко собралась? — недоверчиво спросил он.

— Далеко, — улыбнулась Нюра и вдруг крепко обняла его за шею. — Все будет хорошо, Васенька, только от подарка вчерашнего откажись.

Потом в упор посмотрела в его темные, смущенные ее внезапной нежностью глаза и повторила настойчиво:

— Обязательно откажись!

Она ушла раньше его, оставив его в раздумье.

У входа на фабрику Нюрка подождала Михалева.

— Ну, секретарь, отпустишь с трикотажки?

— Отстань, смола!

— Тогда, секретарь, вот тебе коммунарское слово: если не устроишь работать на моторке, все равно сбегу.

— Рехнулась девка! Ты на простой машине руку набей.

— На ручной я в кровь руку сбила. Сказала — и раздумывать тебе пять минут.

— Три тысячи игл и мотор! Отстань, Нюрка!

— Хоть шесть тысяч. Расшибусь, а сделаю. — И подмигнула: — У меня ведь золотые руки, секретарь.

— Хорошо, — согласился Михалев. — Если разрешит директор... Похлопочу.

Три тысячи игл плетут сложный узор. У каждой иглы свой поров, каждая игла хитрит и путает. Шуршит приводной ремень, стучит станок, мелькает пряжа, и от этого туман в голове Нюрки, путаются мысли.

«Нарвалась, — думает она. — Засмеют — беги из коммуны».

Она смотрит на ловкие руки соседних работниц, и ей кажется, что стоят они у станков легко, без напряжения. Станки покорны, послушны им, а если чуть начинают капризничать — минута непонятных движений проворных пальцев, и опять готовая пряжа ровным узором ползет из-под стрекочущих игл. А у Нюрки станок третий день простаивает добрую половину рабочих часов. Брак длинными прорехами полосует выработку. Утром Гнам, проходя мимо Огневой, зло пожевал толстый мундштук папирсы и что-то пробурчал по-немецки. К вечеру третьего дня Нюрке захотелось бросить работу, истоптать ногами свою готовую пряжу. Лицо ее побледнело, до тошноты быстро заколотилось сердце. «Оно и видать, кто к чему с малолетства приучен», вспомнила она. Комната, Малыш, коммуна — весь ее мир вдруг покачнулся, потерял краски. Разве не глупа она была, когда ринулась за кроватью, за полосатым пружинным матрацем к этим чортовым станкам и каторжной работе!

Прорехи из-под игл уродливо ползут по полотну.

Нюрка разом выключила мотор.

— Изводишься, девка? — не то зло, не то участливо сказал кто-то.

Нюрка оглянулась. Около нее стояла вольнонаемная Гая Митина. Нюрка вытерла со лба выступивший пот и тяжело вздохнула.

— Ладно, садись на мою шею, я баба покладистая.

И Гая стала толково объяснять Нюрке, как заправлять в иглу оборванную нитку, как во-время предупреждать возможность брака.

— Ты у меня спрашивай, а не у мастера, — посоветовала она. — Мастер сегодня Гнаму на тебя плел, а Гнам, известно, чуть не Богословскому. Дескать, производственный план с меня требуете. Ну и пошло... Михалев заступался: «Дайте, говорит, девке освоиться».

Когда станок был заправлен и полотно пряжи пошло ровно, Нюрка неловко пожала локоть Митиной:

— Спасибо, Гая.

На другой день работа пошла уверенней. Станок стал покоряться ее рукам, но Малыш все реже и реже видел Нюрку. Она начала пропадать на фабрике по две смены, еле урывая время на отдых.

Особо ненавидевшая отчего-то Нюрку вольнонаемная Мария Григорьева косила на нее злые глаза.

— Шиши, шиши, жаба, — усмехалась Нюрка. — Я из тебя душу вышибу.

Теперь, проходя мимо нее, Гнам все одобрительнее покачивал головой. Эта скупая похвала радовала ее. Она стала свободнее



ходить по цеху, иногда даже подпевала хриплым голосом шуму моторов.

К концу месяца она действительно «вышибла душу» Григорьевой. Вышло это неожиданно для нее самой. В день получки, когда подсчитали месячную выработку, оказалось, что вместо нормы 230 пуловеров она сделала 340.

— Жульничество! — закричала Мария Григорьева. — Я двадцать лет за станком стою, а больше двухсот не делала.

Нюрка знала, что у вольнонаемных — это были почти сплошь бывшие кустари — существовал стговор: боясь снижения расценок, они старались больше установленной нормы не выработать.

— Сжульничай на следующий месяц и ты, — сказала Нюрка. — А я еще больше сжульничая.

Заработок она оставила коммуне в счет погашения долга.

На другой день после знаменательной получки Огневой в цеху поругались Ганя Митина и Мария Григорьева. Началось это с пустяков.

К началу работы смены, когда некоторые моторы уже были пущены, вошла Мария Григорьева. После вчерашней обиды вошла она неестественно бойко. Она прошла мимо Нюрки, не взглянув на нее, подобрав тонкие малокровные губы. Нюркин мотор уже полчаса был на полном ходу. Ганя в это утро тоже пришла раньше обычного. Подойдя к ней, Григорьева нарочито громко сказала:

— Хороша! На чью руку играть стала?

Ганя промолчала. Молчание еще больше распалило Григорьеву:

— У тебя, видно, одна с ней лейка!

— Замолчи, Марья!

— Мне молчать нечего. У меня перед людьми совесть чиста.

Со стороны кто-то поддакнул:

— Сами себе на шею ярмо надеваете. Как работали, так и будем работать.

Ганя не выдержала:

— Я из Лосиноостровской сюда ежедневно езжу, а вы боитесь на минуту раньше притти да норовите машину в грязи другой смене подсунуть.

— Такою, как ты, работницу только здесь и держат.

— Эх, Марья! — горько вздохнула Ганя. — Не один год вместе работали.

— Потому и говорю.

«Бабья ссора долга», подумала Нюрка и была довольна, что причина ссоры — она. И когда в разгоревшихся спорах она слышала голоса, поддерживающие Ганю, довольство переходило в гордость. Она заметила, что ее имя ни разу не было про-



Самые маленькие болшевцы



изнесено и только Григорьева в запальчивости раз крикнула Гане:

— Вот твоя подружка, учила ее, теперь она тебя учить будет!

Нюрка усмехнулась. Капризная моторная машина давно покорила ее, работала ровно, без перебоев. Теперь к концу дня она не только не чувствовала прежней усталости, но даже во время работы находила минуты для отдыха. Выработка прошлого месяца давалась без усилий.

А Григорьева с каждым днем становилась все злей. Ее колкие, брошенные вскользь замечания раздражали Нюрку, ей все время приходилось быть настороже.

«Чем бы ее допечь, ведьму белобрьюсу? — думала о Григорьевой Нюрка. — А что если попробовать — одной вместо двух? Не выйдет, девка, осрамишься», думала она, но соблазн был слишком велик.

На другой день, прежде чем идти на фабрику, Огнева забежала к дяде Сереже. Вышла она от него заметно взволнованной. На фабрике встретила Гнама, он улыбнулся, кивнув головой. Нюрка остановилась, хотела было подойти к нему, но, подумав, пошла дальше.

Григорьева была рада минутному опозданию Нюрки.

— Начинается! — сказала она Гане. — Побаловались и хватит.

До обеденного перерыва Нюрка чаще обычного, словно примеривая и прикидывая что-то, посматривала на Григорьеву и на ее машину. На несколько минут поворачивалась к своему мотору спиной, проверяя на слух его работу. От Григорьевой не ускользнуло странное поведение Нюрки.

— Весна пришла! — усмехнулась она.

За четверть часа до перерыва Нюрка бросила работу и пошла в швейный цех к Михалеву:

— Вот что, секретарь, с завтрашнего дня я хочу встать одна на двух моторах. Ты проверни этот вопрос сегодня же на производственном совещании.

Михалев пытался было что-то возразить, но Нюрка круто оборвала:

— Не спорь, секретарь! И психом меня не пугай. — Нюрка засмеялась. — Скажу мужу — он об твою голову скрипку расшибет... Завтра на двух моторах работаю, слышишь? — повторила она настойчиво.

Через месяц производственное совещание постановило:

«Опираясь на прекрасные результаты работы Огневой на двух моторах, переключить на такое обслуживание все смены».

Вольнонаемный мастер Никифоров ушел из трикотажной.

Коммуна праздновала открытие новой трикотажной фабрики. Директор сказал длинную речь о том, как нужно работать и обращаться с машинами. Говорили ребята с других фабрик и мастерских, желали трикотажникам успеха и «поменьше браку». Шигареву величали лучшей работницей, ставили в пример другим. Она сидела на сцене, в президиуме, слушала и, когда последний оратор кончил, попросила слова.

— Не надо! — закричали с мест. — Сидя говори!

Все знали, что она еще не вполне окрепла после несчастья. Но Маша встала. Посмотрела в зал — на лица ребят, забыла красивую, заранее придуманную речь и растерянно молчала. И вдруг поняла: нет таких слов, которыми можно было бы выразить ее любовь к своей коммуне. Когда и как она полюбила ее? Вон в первом ряду сидит Гнам, приветливо улыбается. Вот Михалев, секретарь, что-то шепчет, должно быть, хочет помочь, подсказать ей.

Она подошла к рампе и неожиданно для себя крикнула: — Ребята, хорошо жить!..

Дальше она не знала, что сказать. Веселые, смеющиеся лица ребятплыли ей навстречу. Ребята повскакали с мест, забрались на сцену, подняли Машу и на руках понесли ее из зала.

Полное выздоровление Маши шло медленно. Но она уже не могла быть без дела. Она стала учиться играть на гуслях. Это было нелегко, но как увлекательно! Скоро она недурно овладела инструментом.

И потом, когда она опять начала работать на трикотажной, она уже не бросила музыки. Музыка сделалась еще одной ее радостью.

Как-то к «струнникам» заглянул Каминский. В классе кто-то наигрывал грустную мелодию. Каминский всегда любил песню, любил музыку. Он открыл дверь. Играла Шигарева.

«Как она изменилась», подумал Каминский.

Когда-то Шигарева, придя впервые в коммуну, обратила внимание на Каминского, пыталась заигрывать с ним. Но тогда ему было только жаль ее. Он подошел ближе. Да, это была уже не прежняя разнузданная, неопрятная девчонка. Строгая девушка в чистой зеленой юнштурмовке, немного бледная, немного печальная, с упрямыми голубыми глазами умело перебирала струны.

— Ты хорошо играешь, Маша! — искренно похвалил Эмиль.

Она положила руку на струны:

— Эмиль, мой брат опять сидит. Как думаешь, возьмут его в коммуну?



— Ты очень хорошо играешь! — не отвечая на ее вопрос, повторил Каминский.

— Я спрашиваю, возьмут или нет? — нахмурилась Маша. Каминский махнул рукой:

— Ну что ты спрашиваешь? Как думаешь, с кем коммуналке легче справиться — с братом или сестрой?

Маша засмеялась:

— А я ему вот что написала, читай!

Каминский быстро прочитал письмо.

«Тюрьма загонит тебя в гроб! — писала Маша. — Приезжай, возьму в помощники. Пока годы молодые — работай! А погулять, конечно, погуляем. Ох, как погуляем!»

— А, может, мы сегодня погуляем? — отдавая ей письмо, спросил Каминский.

— Можно! — просто ответила Маша и вдруг покраснела, опустила глаза:

— Только знаешь... прошлое не вспоминать.

— Да я знаю, Маша, — серьезно сказал Каминский.

Он протянул ей руку:

— Ну, давай лапу. Вечером в парке буду ждать. Придешь?

— Хорошо, — сказала Маша.

Осенью дядя Сережа переселил Огневу и Малыша в комнату, смежную со своей. Но это не было решением вопроса. Вслед за Нюрой и Малышом готовились к совместной жизни Каминский и Шигарева. А сколько пар будет завтра?

Приходилось серьезно поработать над вопросом о жилье для женатых.

# МЕДВЕЖАТНИК

## I

**В** Болшево Мологин приехал вечером. Было совсем темно, и оттого показалось ему, что коммуна — это просто несколько домишек, сиротливо затерявшихся в лесу.

По дороге Погребинский говорил о коммуне, об ответственности за нее каждого ее члена, о заводах и фабриках, которые уже есть в ней и которые будут. Мологину мерещились огромные многоэтажные здания, площади, залитые электричеством, толпы людей. Теперь, подымаясь вслед за Погребинским по лесенке низенького, похожего на коробочку домика, Мологин усмехнулся.

Они вошли в освещенную комнату. Миловидная женщина в скромной беленькой блузке несла из кухни горячий чайник. От его крышки шел тонкий прозрачный пар. Старуха нянчилась ребенком, она качала его на руках и даже не посмотрела, кто вошел. Ее седые редкие волосы свисали из-под небрежно подвязанного платка. Спокойным уютом почти забытой семейной обстановки пахло на Мологина. Поднявшийся навстречу человек в расстегнутой нижней рубашке, в туфлях на босу ногу походил на рабочего, отдыхающего после трудов. Другой — в защитной гимнастерке, с небольшой темной бородкой продолжал сидеть за столом. Он откинулся на спинку стула и широко улыбнулся.

— Мологин, прошу любить да жаловать! — сказал Погребинский.

«Как у них просто», успел подумать Мологин. Ему смутно рисовались встревоженные, по-военному почтительно вытянутые фигуры каких-то храбрых людей, руки, вскинутые к козырьку, отрывистые слова, стремительные, как пули. Ничего похожего здесь не было.

Человек в туфлях оказался воспитателем Николаевым; в гимнастерке — заместителем управляющего коммуной Сергеем Петровичем Богословским. О нем Мологин уже слышал...

Мологин сел на стул между ним и Николаевым. Богословский стал рассказывать о последнем общем собрании и о том, как под-



вигались дела на коньковом заводе. Жена Николаева разливала чай. Мологин облокотился было на стол, но тотчас же принял руку. Ему хотелось спросить, какую обувь производит коммуна, но потом он подумал, что, может быть, с его стороны это покажется слишком развязным, и не спросил. Он мог вести себя как угодно и потому решительно не знал, как же ему надо вести себя. Он неуверенно протянул ложечку и зачерпнул из блюдца варенья. В прихожей кто-то стукнул дверью, слышались шарканье ног и голоса. Варенье капнуло с ложечки на край клеенки и медленно поползло вниз. «Коммунар», догадался Мологин. Неизбежная встреча с людьми, знавшими Мологина в прошлом, представлялась до этого чем-то самым маловажным и несущественным из того, что столь стремительно совершалось с ним. Теперь ему вдруг показалось, что оттого, как произойдет эта встреча, зависит безгранично много — может быть, все.

Вновь пришедших было пять человек. Двух из них — Новикова и Каминского — Мологин узнал, и оттого, что эти двое были молоды, были из тех, с кем обычно Мологин избегал вступать в дело, его замешательство стало еще сильнее.

— И ты к нам, Алеха! Хорошо! Это очень, я скажу, хорошо! — приветствовал его Новиков излишне шумно.

По тому, как протягивал он руку, как извивалась улыбка на его лице с перешибленной переносицей и бегали добродушные обеспокоенные глаза, безошибочно понял Мологин, что Новиков смущен и взволнован и что ему лестно в присутствии других большевцев показать, как он короток и близок с Мологиным. В прежнее время такой близости не было и не могло быть.

Тогда Мологин встал, подумал и небывало смиренно в пояс поклонился ему. Длинные рыжие волосы Мологина, зачесанные на лысину, упали на лоб.

— Здравствуй, Вася, — кротко сказал он.

Погребинский поглядел на них с ядовитым смешком.

— Подстричься надо, Мологин, — произнес Каминский глуховато, почти по слогам, и нельзя было понять, говорит ли он всерьез или шутит. — Подстригись обязательно. Тебя, кто не знает, за попа примет. У нас в коммуне попов не любят, — прибавил он.

Мологин смолчал.

Ночью он лежал на узкой койке, смотрел в окно, заслоненное темными силуэтами деревьев, прислушивался к сонному дыханию соседей. Улыбка женщины с чайником, ее мягкая, плавная походка, старушка, уложившая ребенка и улегшаяся сама, варенье, предательски соскользнувшее с ложечки, — все мелочи пережитого вечера припоминались теперь. Они были полны особенного значения. Вот и коммуна. Может быть, это

сон. Может быть, это только мерещится взбудораженному воображению. Как-то сложится жизнь!

Он думал о коммунарах, о Новикове, о его неловкой развязности, и думать об этом было приятно ему. Он будет упорно работать. Он будет выполнять все, что скажут ему. Может быть, и на самом деле есть еще что-нибудь в жизни и для него...

Несмотря на поздний час актив коммуны собрался на квартире у Богословского. Погребинский говорил активистам о значении прихода Мологина, о тяжелом ударе шалману и разложении его.

Он знал о спорах, которые велись среди болшеуцев о Мологине, какие сомнения, а у иных и надежды вызвал его приход. И за пределами коммуны многим казалось, что опыт этот не нужен, потому что люди вроде Мологина неисправимы, а риск слишком велик. От ясности линии, от единодушия активистов зависел исход всего.

— Иные толкуют: поймала коммуна медведя, — говорил Погребинский. — Медведь наломает в ней дров и уйдет в лес. Что ж, блат еще будет бороться, будет существовать... Такая возможность есть.

— Погребинский оглядывал ребят. Лица всех были спокойны, движения отчетливы и просты.

— Мы сами из него дров наломаем! — крикнул Дима Смирнов.

— Такая возможность есть, — повторил Погребинский. — Есть такая опасность, что Мологин будет шататься. Ему нелегко перестроиться, ему не шестнадцать лет, как Диме Смирнову... А в коммуне немало найдется таких, что полетутся за ним. Что, не правда? Нету таких? Глупо было бы придираться к Мологину по мелочам, — продолжал он. — Наоборот. Но как только заметили — начал «вести политику», подбирать «сочувственников», — тут прямо в лоб, беспощадно! Две обедни зараз, мол, никому не позволим служить! Сумеете показать себя коммунарами — важнейшее дело сделаем! Не сумеете — значит, были жуликами и остались жуликами, и такая вам цена.

Мологин не знал, что в тот час, может быть, больше, чем в какой-либо другой, решался вопрос о том, как сложится его жизнь. Он не догадывался о возбуждении, вызванном его приходом, не слышал споров, которые велись о нем. Он лежал на узкой койке, думал, бессонно глядя в окно.

## II

Алексей Мологин — молодой вор, работающий по «городовой», т. е. по магазинам, — отсиживал последние месяцы своего срока.



В 1906—1907 годах камеры наполнились необыкновенными заключенными: рабочими, студентами, какими-то неопределенными людьми, которые умели обращаться с револьвером, а походили на скромных учителей. Одно время их стало так много, что думалось — господству уголовных в тюрьме пришел конец. Необычайные эти преступники рассказывали, что рабочие бастуют, а крестьяне жгут помещичьи имения, что на улицах столицы были баррикады, шли бои, что царизм сгнил, расшатан и скоро падет.

Мологин, назначенный тогда уборщиком в коридоре политических, прислушивался к этим разговорам с чувством безотчетной радости и смутной тревоги. Но слишком неодинаковы были и сами политические и их противоречивые слова.

Как-то с ним заговорил высокий, бодрый и благообразный старик в очках. Мологин узнал потом, что это Муромцев, председатель Государственной думы. Он что-то натворил неподходящее, написал какое-то воззвание или не распустил вовремя думу и вот за эти свои дела попал в тюрьму. Старик объяснил Мологину, что Россия — отсталая страна, что в ней не развита собственность, царит средневековье, и те, кто борется с этим и попадает, как он, в тюрьмы, — хорошие люди и таких людей нужно любить и уважать.

Старик говорил наставительно и чем-то походил на попа, знакомого Мологину по церкви Рукавишника приюта. Мологину стало смешно и захотелось созорничать. Однако он сдержался.

— Хороши-то хороши, да, видно, не больно, — миролюбиво заметил он. — Честь вам с нами, пожалуй что, одна и та же.

Старикашка рассердился, покраснел, надул щеки, небольшая квадратная его борода обижено затряслась. Он важно заговорил о том, что преступниками люди рождаются, преступность передается по наследству от родителей, а в заключение добавил, что, может быть, это и не совсем так. «Молодой человек» мог бы, если б захотел, еще исправиться и приучиться к честной жизни.

— Значит, все горе от плохих родителей? — дурашливо переспросил Мологин, чувствуя некоторую обиду. — Папаша! — нагло и фамильярно воскликнул он. — Ты, я вижу, острый! Такой горячий старичок! Ну ничего, поживешь — затупишься.

Он молодецково пошел по коридору — юный, развязный.

Тюрьма была тем местом, где Мологин чувствовал себя дома. Его не смущала уже грязь осклизлых, плесневелых тюремных стенов, не смущали хорошо откормленные клопы, привычны были ругань и побои надзирателей и поседевших в тюрьмах паханов. Да и по мере того, как определялось в блатном мире его положение смелого, удачливого городушника, многие тяготы тюрьмы, превращающие жизнь начинающего сявки в пытку, отсту-

пали от Мологина. Постепенно он стал приобретать те преимущества, которые давала тюрьма матерому рецидивисту.

Здесь, в тюрьме, Мологин познавал тонкости своего дела, завязывал нужные связи, здесь же научился думать и читать.

Последнее произошло почти нечаянно. Мологин не окончил и двух классов городского училища. Он ненавидел всяческие книги и науки. Чтение до сих пор казалось ему делом праздным, достойным больных и глухцов. Попавшаяся книжка была без переплета, без многих страниц, ее поля были испещрены уродливыми похабными рисунками. Мологин перелистал ее, потом заинтересовался. Потом, чувствуя, как приступает жалость к простецкому припадочному парню, «бедному рыцарю», который знал, что «и в тюрьме огромная жизнь», прочел книгу, не отрываясь, до конца. Значит, не так уж глупы те, кто проводит время над книгами! Книги, оказывается, как бы продолжают жизнь, договаривают, показывают ее содержательнее, умней. Мологин стал читать запоем. Он добывал книги и в тюрьме и на воле. Иногда он просто крал их, иногда надзиратели доставляли ему книги за взятки. Утром выносил «парашу» и думал о прочитанном, шел помогать в тюремной лавке и, отпуская соль и квас, шептал про себя:

...не так ли  
Мы смолоду влюбляемся и алчем  
Утех любви, но только утолим  
Сердечный глад мгновенным обладаньем,  
Уж охладев — скучаем и томимся...

От беседы с Муромцевым у Мологина осталось к этому обидчивому старику чувство, схожее с симпатией. В конце концов старик кое-что правильно говорил о жизни. Эсеры тоже понравились Мологину. Понравилась их бесшабашность, экспроприации, речи о земле, но отталкивала их готовность к «мокрым делам» и еще что-то неясное, но тоже неприятное.

Самыми непонятными людьми были называвшие себя социал-демократами. Они были разумнее эсеров. Одни из них назывались большевиками, другие — меньшевиками. Большевики держали себя так, точно не они за что-то наказаны, а, наоборот, те, кто посадил их, сами виноваты в чем-то перед ними. Эсдеки были как будто против эсеровского террора; но это несколько не мешало большевикам радоваться, когда рабочие выступали на борьбу с правительством. Меньшевики говорили, что революция расчистит дорогу капиталу, и это очень походило на то, чего хотелось Муромцеву. Однако ничто не мешало большевикам утверждать, что революция уничтожит капитализм.

Надзиратели ненавидели эсдеков-большевиков больше всех других. Случалось, надзиратели избивали их. Одному ключами проломили голову. Об этом не должен был знать никто, однако





В коммуне они узнали радость семьи и материнства

было известно всей тюрьме. Ненависть надзирателей к эсдекам походила на боязнь. Этого Мологин не мог понять.

Он достал у политического книжку «Женщина и социализм» Бебеля и прочел ее. Кое-что понял. Получалось неправдоподобно и удивительно. Он окончательно запутывался. Тревога его возросла.

— Да... Власть рабочим! — подтвердил политический, когда Мологин возвратил ему пронесенную в ведре книжку.

Он был сутул, широкоплеч, не очень молод и говорил ворчливо, словно ему Мологин сразу надоел.

— Частную собственность и классы — к чертовой матери... Ко всем чертям! Понятно? Все будут работать.

Он замолчал, не обращая больше внимания на Мологина. Тот постоял немного, потом поднял ведро. Нужно было уходить.

— Труд станет человеку наслаждением... Слышите? — сказал политический вслед Мологину.

Мологин полуоборотился. Выражение лица его собеседника стало другим. Казалось, он не разговаривает, а размышляет вслух.

— Труд делается главным наслаждением... Все, что мешает этому, исчезнет. Слышите? Тогда каждый увидит, как была изуродована жизнь.

— Что?.. — изумленно переспросил Мологин.

В словах, в повадке политического, в том, что он, такой большой, добродушный, похожий на медведя, верит в невероятные фантазии и даже сидит за них в тюрьме, будто и в самом деле нивесть какой преступник, — во всем этом было что-то неприемлимое со здравым смыслом. Мологин растерялся.

— Как же... И воровать никто не будет? — стараясь сохранить развязность, поинтересовался он.

— А как полагаете? — усмехнулся политический.

«Туфта, — подумал Мологин, ожесточенно фыркнув. — Этого никогда не было и не может быть!..» Однако беспокойство его сделалось сильней. Он вспомнил, как мировой Алексеевского участка отправил его в Рукавишниковский воспитательный. Мологин попался на краже в квартире. Он хорошо помнит: взял два больших свертка ваты в синей бумаге, пиджак и ботинки. Привели его ночью, снег скрипел под ногами, била дрожь, полицейский толкал в спину. В Рукавишниковском пробыл он два месяца. Он спал на голых досках, без матраца, раза два его избивали смоченными в воде, свернутыми в жгуты полотенцами. Как-то после обеда парень с ножом при нем набросился в вестибюле на директора приюта Ниандера. Ниандер — высокий, хладнокровный финн — успел схватить его за руку, и нож выпал. Дядька Петр Алексеевич, тот самый, который соб-



ственноручно «уважил» Мологина жгутом, спиб парня на пол и принялся месить его ногами в тяжелых, блещущих ваксой сапогах. Парня уволокли замертво. У Мологина дрожали губы и колени, но ему казалось, что он заостенел и никогда не будет способен сделать ни одного движения.

— Это что! — шептал, храбрясь, ему в ухо Нилка из Сокольниковского воспитательного. — В прошлом году дядьки насмерть Штыфту укоцали. А это что!

«Все будут работать». В Рукавишниковском все должны были работать. Каждый день после звонка ребята расходились по мастерским: одни — делать табуретки, другие — переплетать книги, третьи — тачать сапоги. И каждый день после звонка все получали по тарелке смердящих щей и жидкой каши. Покориться, изо дня в день делать табуретки или переплетать книги в сыром подвале какого-нибудь кустаря и за это иметь возможность не умереть с голоду раньше, чем будет сделано столько переплетов и табуреток, сколько в состоянии их вместить человеческая жизнь. И как же ненавидели рукавишниковские ребята свою работу!

Мологин был дерзок с надзирателями, а Петр Алексеевич травил и преследовал его. Он наказывал Мологина тем, что заставлял мыть коридор. Широкий, грязный, он был бесконечен. Мологин переползал с половицы на половицу — вихрастый, рыжий, злой, разбрызгивал грязную воду, шептал ругательства. От этой работы болели спина и ноги. Боль проходила, а ненависть осталась на всю жизнь.

Но и у Рукавишникова сильные и ловкие захватывали лучшие норции, ухитрялись меньше и легче работать, процветало воровство.

«Все будут работать — и господа».

... Мологин решил, что ему нужно во всем разобраться самому.

Непонятные слова политического не изглаживались из памяти. Он стал читать такие книжки, которые прежде не интересовали бы его. Читать их было трудно, куда труднее, чем романы. Упрямо, в течение ряда дней вчитывался он, шепча непривычные слова, вникал в смысл строгих страниц «Этики» Спинозы. Из какого-то профессорского труда, сухого и непривлекательного, как вобла, Мологин узнал, что Муромцев не одинок и что он не просто наврал со зла. Многие ученые утверждали, что преступниками люди становятся по рождению. От ярости у Мологина разлилась желчь.

«Ессе homo»<sup>1</sup> Ницше после этой профессорской стряпни была как стакан крепкого вина человеку, которого долго и настой-

<sup>1</sup> «Это человек».

чиво держали на одной овсянке. Мологин ходил, точно хмельной. Он бредил Заратустрой, он во сне видел нарядные мысли Ницше. Да, нравственность, всякая нравственность — злейшая ложь, искажение естества людей. Мологин всегда подозревал это. Все — ложь! Бог, нравственность, душа, грех, закон — теории ученых профессоров — все ложь и выдумка для того, чтобы обесценить единственно сущий реальный мир, чтобы заглушить эгоистические, здоровые инстинкты. Хитрая выдумка, расслабляющая людей. Наконец-то Мологин понял это, наконец-то все загадки открылись ему.

«Как же долго я жил, ничего не понимая! — думал Мологин. — Как долго оставался в сущности ребенком! Никто, никто в мире не хочет и не может хотеть работать. Рабочие бунтуют и устраивают забастовки, чтобы меньше работать, а получать больше. Они работают потому, что ничего другого не могут или не умеют делать. Этот малоразговорчивый эсдек просто заблуждался. Труд бессмыслен, он нужен кому угодно, только не тому, кто трудится. Никто не хочет работать, все хотят жить, все хотят любить красивых женщин, хорошо есть и форсисто одеваться, ходить в театр и кино. Но не все могут жить, а только сильные, кто не считается ни с чем и ни с кем. В их кабинетах шкафы, набитые ценностями, в их гостиных красивые холеные женщины, увешанные дорогими безделушками, для них в магазинах вина, шелковые материи и меха. А Мологин должен безработно трудиться. Нет, дудки! Мологин тоже знает цену фартовой девочки и знает вкус вина.

Человек живет только для себя и, чем более силен, тем более прав. Человек и люди — это враги. Никому нет дела до других. Вот как!..»

С этой поры Мологин стал считать, что он борется против социальной несправедливости, угнетающей его.

С годами он определился окончательно как крупный, ловкий и умелый вор. Теперь он «брал» только магазины и несгораемые шкафы. Мологин стал «медвежатником», гордостью шалманов и малин. Самые видные, знаменитые воры, паханы считали за честь «работать» с Мологиным. Выпущенные из тюрьмы приходили к нему точно в контору, просили «работы», и он давал ее им.

Агенты сыскной полиции, узнавая Мологина на улице, уважительно оглядывали его ловкую, квадратную спину, не трогали без «дела», не беспокоили по пустякам. Жизнь и смерть вора, изменившего своим, поступившего в полицию, нередко зависели от одного движения рыжих бровей Мологина. В сложных случаях «счетов» между своими, когда умнейшие паханы приходили втупик, мнение Мологина решало вопрос. В шалмане, в мире неписанного железного устава, слово Мологина имело



полную цену. Покорный Мологину мир этот был крепок, уверен и несокрушим.

Мологин любил свою «работу», ему нравился ее холодный азарт. Он не жалел времени на подготовку. Неделями он сам и его помощники держали под наблюдением одновременно несколько магазинов, складов и касс. Постепенно уточнялось, устанавливалось все, что нужно было знать: часы прихода служащих, часы их ухода. Толщина стен и расположение уборных. Характер дворника и слабости швейцара. Возможный вход и возможный выход. Было приятно чувствовать, как мало-помалу увязываются все эти противоречивые, пестрые сведения в стройную цепь, и наступал момент, когда с поражающей дерзостью, быстротой и силой, как освобожденная пружина, разворачивались последние решительные действия, и Мологин «брал» деньги, золото, бриллианты на многие тысячи рублей. Завистливый шопот всех, кто знал о Мологине, сопровождал этот заключительный удар.

— Ну и везет! Подумать — охрана, люди! Удача, бешеная тебе удача! — подобострастно говорил Мологину толстый с отечным лицом барышник Бычок-Зубарь, с которым по укоренившейся привычке устраивал Мологин свои дела.

Мологин сдержанно улыбался, не опровергая этих лестных для него разговоров. Но он-то знал: только расчет — трезвый, все учитывающий расчет.

Не всегда задуманные дела оканчивались так, как нужно. Но зачем об этом рассказывать другим? Один раз «брали» шкаф в какой-то конторе на Бассейной. Контора находилась на втором этаже. Внизу играл рояль, слышались голоса, шарканье вальсирующих ног — там происходил бал. Шкаф попался трудный. Такие шкафы Мологин «работал» обычно автогенном. Но он плохо знал эту контору, всецело положившись на Мишку Бабкина. Мишка вышел из тюрьмы и уговорил Мологина помочь в деле, проверенном и легком. Мологин боялся, что они не успеют открыть этот шкаф холодным инструментом. Он отчаянно работал, навалившись животом и грудью на плечико сверла.

Едкая пыль от противопожарного порошка, засыпанного между двойными стенками шкафа, вздымалась под сверлом, набивалась в ноздри, мешала дышать.

— Шухер, — шепнул Мишка, бросаясь к отворенному окну, и обронил с грохотом клещи.

— Тс-с, — тихо остановил Мологин.

Мишка застыл возле окна. Рояль не играл. Шаги, мужские — широкие и женские — торопливые и мелкие, оборвались возле конторских дверей.

— Все в порядке! Просто послышалось, никого нет, — сказал за дверью добротный мужской баритон.



Женщина ответила что-то, Мологин не разобрал. Было слышно, как они вновь шли по коридору, стук открываемой двери, отдаляющийся шум на лестнице.

— Идем, — трусливо зашептал Мишка. — Шухер! Все равно погорим, — и он торопливо начал собирать инструменты.

— Не трогай, дурак! — спокойно сказал Мологин.

Он не двигался, прислушиваясь к чему-то.

Опять заиграл рояль, опять глухо зашаркали, скользя по паркету, ботинки и туфли, загрохотали в мазурке офицерские лихие сапоги.

Мологин и Мишка вскрыли шкаф, но он был пуст.

Убедиться в своей находчивости, выдержке, умении выбираться из неожиданно трудных положений было, быть может, самым ценным для Мологина в том, что он делал. Уже во время войны с Германией как-то утром Мологин вез по глухим окраинным улицам погруженный в сани только что «взятый» на Арбате тяжелый стальной шкаф. Его нужно было забросить в пустую дачу и там открыть. Везли двое — Мологин и еще один парень, оба в офицерской форме. Сани тащила плохонькая лошадь. На повороте шкаф нелепо качнулся и сполз в снег. Из-за угла вышли солдаты. Они шли без офицера, вольно, смеялись и разговаривали между собой. Поравнявшись, они браво козырнули Мологину.

— Какого полка? — надменно спросил Мологин.

— Сто одиннадцатого пехотного, — ответил солдат, вытягиваясь.

— Поднять шкаф. Живо! — властно приказал Мологин.

Солдаты дружно подняли свалившийся шкаф и уложили его в сани, шуршащие соломой.

— Молодцы, — одобрил Мологин, — можете идти.

В тюрьме Мологин проводил годы, на воле — месяцы, иногда дни. Долгое вынужденное лишение всего, нервное напряжение, испытываемое на «работе», требовало разрядки. Мологин кутил.

Это не должно было походить на повседневное нищенское ерничество, тихий и жалкий развратец, которым жили все эти карманники, форточники, домушники — человеческая мелкота. С снисходительным презрением смотрел Мологин на их зеленые, с мертвыми глазами, истощенные пьянством и кокаином лица. Эти людишки — их всегда и всюду много: слабых, завистливых, ничтожных — никогда не смогут, им просто не дано подняться до тех чувств и переживаний, которые носит в себе Мологин. Между ним и этими людьми — непроходимая пропасть. Он нанимал извозчика или даже машину, ехал в Большой, слушал «Псковитянку», «Пиковую даму», смотрел балет. Он сидел где-нибудь во втором или третьем ряду партера, важно, немного скучающе поглядывал на сцену.



Манерамп, внешним обликом он напоминал молодого, оставленного при университете, уверенного в себе ученого.

Но странное дело: он не мог жить без людей, которых презирал, его тянуло к ним. В чинных, богатых первоклассных ресторанах, наполненных незнакомыми «фрайерами», было скучно и одиноко. Чувствовать одобрение, зависть, восторг, удивление шалмана было потребностью. Получалось так, точно все, что ни делал Мологин, он делал для шалмана, для этих людей. Мологин перебирался из вертепа в вертеп, пил, не пьянея, точно воду, коньяк, шипучку, играл в штосс, швырял тысячи шальных неслитанных рублей. Любая женщина шалмана была покорна ему. Моментами казалось Мологину, что и впрямь он достиг самой высокой вершины жизни, что жизнь отдала ему все богатства свои. Нет ничего, чего бы не мог он испытать и не испытал. Он вскакивал бледный, растрепанный, с зеленовато мерцающими трезвыми глазами под выпуклым лбом, расшвыривал пьяную, ошеломленную шпану, сшибал с ног взволнованного «казовщика», ломал мебель, крушил стекло. Иногда вслед за этим прямо из шалмана попадал в тюрьму. Иногда просыпался тут же, в шалмане, на полу среди осколков, объедков, растерзанный, полубольной, с отвращением, с тоскливой ненавистью к окружающим и себе.

И все чаще и чаще овладевало им чувство опустошенности, равнодушия, словно кто-то пообещал ему хорошее и обманул. Так ли уж отлично все то, что наполняло его жизнь? Тюрьма, кража, шалман, беспокойное, никогда не покидающее ощущение затравленности, погони. Опять тюрьма, опять кражи и как награда, как высокая цель и приз — оголтелый пьяный разврат. Не слишком ли ничтожна, одуряюще однообразна и безрадостна эта цель и награда? Да и награда ли это? А что есть лучшее? Где это лучшее, чего другого можно хотеть? Чепуха, нервы! Нужно взять себя в руки.

Мологин — умный, трезвый, уравновешенный — наблюдал за другим Мологиным — безрассудным, по-ребячи чувствительным, и умному было смешно. «Это — корь, — думал умный. — Это — корь, которой нужно переболеть». Или в самом деле жениться на розовощекой дуре, обзавестись перинами, подушками, горшками, наплодить ребят? Поступить работать на какого-нибудь Ивана Ивановича или самому открыть мастерскую, униженно кланяться заказчикам, выносить их капризы, жульнические придирки, самодовольные попреки. Умный Мологин брезгливо морщится, отгоняя унижительные эти образы. А глупый — подглядывал, как мальчишка, в освещенное, незанавешенное окно какого-то домика на Якиманке, часами следил за молодой незнакомой женщиной с крутыми разбегающимися бровями, одетой в просторное, не стесняющее тело

кимоно. Женщина зажигала спиртовку, грела молоко, попла им маленькую девочку, должно быть, свою дочь, раздевала ее спокойными движениями голых до плеча рук, укладывала спать. Потом садилась на диван, открывала книгу. Вероятно, скоро придет ее муж. Глупый Мологин с досадой кусал губы.

Нерастраченную нежность отдал Мологин Дусе-Газетчице с Масловки. У Дуси было смазливое, умело подкрашенное лицо с добродушными голубыми глазами, кокетливые кудряшки, жеманные ухватки девицы с Тверской, «работающей под барышню». Мологин читал ей стихотворения Бальмонта и Блока. Сумеречные стихи будили печаль и грусть. Дуся покорно слушала, напряженно сморщив детский лобик. Отуманенными глазами вглядывался Мологин в черты ее лица. Может быть, он нашел свою «незнакомку», свою «золушку», свою «прекрасную даму». Это она мерещилась ему в полуснах. Это ее он ждал, искал всю жизнь.

— Рыженький, — выслушав стихи, томно говорила Дуся низким, сильным альтом. — Рыженький, красивенький. Поедем куда-нибудь. Вышить хочу.

### III

Февральская революция выпустила Мологина из тюрьмы. Мологин бродил по улицам, нацепив на грудь, как и все, красную ленту, пел песни, даже помог где-то ловить запрятавшихся городских, и изумление его перед тем, что происходит, все возрастало. Он вдруг почувствовал, что Россия — это народ: солдаты, рабочие, их жены, стоящие в очередях, их дети, бегающие по улицам. Он почувствовал движение огромной силы, о существовании которой не подозревал. И, может быть, этим и только этим следует объяснить, что, когда стал формироваться полк имени 1 марта «для защиты завоеваний революции», Мологин поторопился записаться добровольцем вместе с несколькими своими товарищами.

Но скоро рассудительность и трезвость возвратились к нему. Теперь он стал замечать другое. Он видел, что народу в сущности только и разрешалось, что ходить по улицам. В бесчисленных комитетах, в правительстве, всюду, где власть, где «блага жизни», сидели люди, совсем не похожие на тех, которые толпились на улицах. Адвокаты, промышленники, земгусары — молодые и старые — все они кричали о «завоеваниях революции», о «порядке», о «войне до победного конца». Они были хозяевами. И самое главное, что увидел Мологин и что наполнило его мстительным, зловредным торжеством, — это небывалый размах всяческого жульничества. Крали все. Крали члены продовольственных комитетов и железнодорожные агенты, лысые,



солидные чиновники из разных министерств, их пестро разодетые, крашенные содержанки, члены городской управы, лидеры правительственных партий и мелкие армейские снабженцы. Крали вагонами, цистернами, целыми складами, крали муку, кожу, солдатские сукна, медицинские приборы, химические удобрения, ночные эмалированные горшки. «Наследственность от плохих родителей», издевательски вспоминал Мологин. Было бы недурно встретиться где-нибудь с этим Муромцевым — Мологин не знал, что Муромцев умер, — встретиться, продолжить начатый в тюрьме разговор.

Было ясно, что смущение, испытанное Мологиным в первые недели революции, только «игра ума». Походят, покричат, потом утихнут в умелых, опытных руках.

Затея с полком имени 1 марта казалась ребяческой, смешной.

И когда власть перешла к большевикам, Мологин даже не обеспокоился. Это не могло длиться дольше какого-нибудь десятка дней. Он посещал уцелевшие рестораны и полуустые кабаре. Вытянутые, растерянные лица, шопотливые, встревоженные разговоры людей, которые еще вчера так властно, с таким глубоким убеждением в своих правах командовали и распоряжались всем, доставляли Мологину невыразимое удовольствие.

Он читал советские газеты, воззвания ко всему миру о социализме, о власти трудящихся, о мире, о земле. Конечно, все это не более как фантазия. И тем не менее необыкновенной желанием томили Мологина все эти дни. Хотелось особенной, с головой захватывающей деятельности, и, казалось, найдись такая, Мологин совершил бы чудеса. Годами выработанная осторожность, сознание, что все это кончится не сегодня — завтра, и стихийное, неясное самому острое чувство протеста останавливали его от необдуманных шагов. Во всяком случае большевики — удивительные люди: они сделали то, что было совсем недоступно пониманию Мологина.

Последние рестораны, которые знал, к которым привык Мологин, закрывались один за другим. Магазины и банки стояли опустошенные, с разбитыми стеклами, ободранными вывесками. По утрам нередко попадались партии людей с лопатами, ломami, метлами; они шли, уткнув головы в меховые воротники помятых пальто, разнообразно переступали поджарыми ногами в ботинках с галошами и без галош. Среди них узнал Мологин ювелира Залкинда, у которого когда-то «взял» витрину, меховщика Курдюмова и еще некоторых людей, случайно ему известных. Два-три красноармейца сопровождали их. Буржуазию вели работать. Ускользнувшие от конфискации и реквизиций фабриканты и кушцы бросали свои квартиры, на-

спех зашивали ценности в подкладки потрепанных ватников, пробирались на восток, на юг, на запад. Нечего было и думать о больших делах.

Мологин носил солдатскую истрепанную шинельку без погон. Оборванный хлястик болтался на уцелевшей пуговице. Он не брезговал теперь никаким «делом», которое подвертывалось ему. На Хитровом, в Ермаковке, в Дорогомилове — всюду, где прежде можно было отвести душу, почувствовать себя хоть не надолго вне досягаемости, теперь стало тоскливо и небезопасно. Не раз Мологину с трудом удавалось укрыться от облавы. Попадавшиеся исчезали надолго, иные навсегда. Почти невозможно было встретить кого-либо из прежних корешей. Он очень обрадовался, наткнувшись на Мишку Бабкина. После неудачного дела на Бассейной, где Мишка проявил столько легкомыслия и глупости, Мологин не «работал» с ним. Теперь все это казалось пустяками. Тронутое оспой отощавшее лицо Бабкина было полно уныния.

— Чека, — говорил он с бессильной злобой. — С Угрозой бы еще можно сладить...

Потом они зашли к известному артисту. Мологин звонил в парадном, сердился, что долго никто не открывает. Артист был дома. Он ходил по большой холодной комнате, неслышно ступая ногами в шерстяных носках. Шея его была закутана длинным зеленым шарфом. Жена певца, высокая женщина с надутым, точно рассерженным лицом растапливала железную печурку скомканными листками бумаги. Она методически вырывала их из толстой книги в кожаном переплете с золотыми буквами по корешку.

— Из клуба «1 мая» железнодорожного батальона, — весело отрекомендовался Мологин. — Мы просим выступить у нас в эту субботу. У нас будет концерт.

Артист угрюмо слушал, не выказывая ни малейших признаков интереса.

— Ваш труд будет вознагражден, — многозначительно сказал Мологин. — Мука, жиры и сахар.

— «1 мая»... Это где же находится? — вдруг, оживляясь, спросил артист.

Мологин объяснил со всей любезностью, к которой был способен. Затем поднялся и стал прощаться. Времени прошло вполне достаточно, чтобы Мишка очистил вешалку: Мологин успел при входе отомкнуть ему замок в дверях.

— К Бычку? — деловито спросил Бабкин, когда Мологин присоединился к нему.

— Ну, а куда же, — грубо сказал Мологин.

Квартира перекушника оказалась пустой. Бычка забрала Чека. Они вышли на улицу, завернули в ближайший переулок.



Бабкин положил узел и поглядел на Мологина, ожидая приказаний.

Мологин угрюмо смотрел на узел под ногами Бабкина, утративший вдруг всякую цену, сделавшийся ненужной, глухой обузой, которую не знаешь, как сбыть. Ненависть душила его. Чека. Невывало хитрые, не знающие снисхождения люди сидели там. Таких людей еще не видел свет. Они знали, умели сделать все, чтобы повредить Мологину. Они закрыли рестораны, перехватывали товарищей и вот теперь добрались до барышников, добрались до таких корней, без которых немислимо существовать. Смертельный, ненавистный враг. Мологин пошатывался от ярости.

— Подбери узел! — иступленно закричал он вдруг. — Подбери узел, сволочь! Голову сверну!

Бабкин оторопело, безмолвно склонился над узлом.

«А что если это никогда не кончится?» с ужасом подумал Мологин.

Все эти лозунги, митинги, ячейки, выборы в совет, о чем писали в газетах, о чем разговаривали на улицах, — все это не «хитрые фокусы», а нечто реальное. «Власть рабочих и крестьян». Ведь об этом говорил эсдек в Таганке. Все невообразимое, что видел он за это время, вспомнилось теперь. Расстрелы офицера, пайки рабочим, захват заводов, уборка снега публикой в штиблетах. Речи Ленина и рабочие на коммунистическом субботнике, бесплатно разгружающие эшелон. Было непостижимо, как мог он до сих пор видеть все это и не задуматься, не приготовиться, не сообразить...

Кое-как, где-то в Сокольниках, почти что даром сплавляли они в этот вечер шубы доверчивого артиста.

Но снова загорелись огни кафе и ресторанов. Толпы сытых, развязных, крикливо разодетых людей двигались по тротуарам улиц, наполняли театры, казино, бега. Отремонтированные магазины сверкали подлатаанными стеклами и обновленной сусалью вывесок. Покрытые нарядными сетками рысаки мчали рессорные беззвучные коляски. Подержанные форды и бьюики с вонью и треском проносились по Тверской. Днем на Ильинке, на Варварке, на Сухаревой толпами толкались «частники», они продавали и покупали, они наживались и прогорали с азартом, хищностью и безрассудством людей, которым нечего терять. На окраинах дымили закопченные заводские трубы.

Усиливались облавы, разгром притонов, длительные изоляции, и перебрасывался шалман, подобно стае птиц, с одного конца города в другой, но Мологину казалось, что самое трудное для него время все же позади.

Мологин вернулся к специальности. «Не то, совсем не то», думал он, потягивая вино в каком-нибудь подвальчике на

Тверской или на Арбате. Слишком далеко заглянул он, слишком много передумал. И воры сделались другие. Какие-то мальчишки, деревенщина, не знающая традиций, не имеющая специальности, готовая с равной неуклюжестью и вытащить в трамвае «кожу», и залезть в форточку, и пустить в ход «пушку» или «перо». Вора стало трудно отличить от хулигана. Какой-нибудь Сабан из Марьиной рощи, только и умеющий, что ломать головы обушком, — теперь ходил в «козырях». Прежних, настоящих остались единицы. Твердый, стойкий мир, барский мир Муромцевых, с которым так неожиданно и так неразрывно оказывалась связанной судьба Мологина, ушел невозвратно и навсегда. Вместе с этим миром исчезли и воры-«баре», воры-аристократы. «Завязаться, что ли», неопределенно, с тоскливым чувством думал Мологин. И ощущение необходимости что-то предпринять, на что-то решиться все неотступнее преследовало его. Он даже сказал об этом в камере, когда сидел в Бутырках. Будь это не Мологин, а кто-нибудь другой, его, наверное, подняли бы насмех.

— Да неужели вы не видите? — Мологин даже потрясал вытянутыми руками, так велика была его горячность. — Неужели вы не понимаете? Украсть можно, пожалуйста. Но не продать. Кому продашь? Продать нельзя.

Сашка Соловей насмешливо фыркнул и что-то сказал сквозь зубы, чего Мологин не расслышал. Бабкин раскачивался на своей койке, обняв колени и положив на них голову. Он равнодушно негромко гнусавил:

Но, наконец, кричу ура,  
Пришла желанная пора —  
Свобода, свобода...  
И стал работы я искать,  
Пока совсем не мог таскать  
Я ноги, я ноги...

А тот, которого собственно и хотелось убедить в чем-то Мологину, старик Василий Козел — он был стариком, когда Мологин бегал еще мальчиком, он был опытным вором, когда Мологин не умел еще стащить буханку хлеба с мужицкого воза, — ответил ему с осуждением из-под седых прокуренных усов:

— Умный ты человек, Алексей Александрович, но не тебе бы говорить, не мне бы слушать. Некому продать? Барышников тебе мало, что ли? Да продавай, сделай милость! Было бы только — что.

Мологин не ответил и, отвернувшись, укрылся одеялом.

Куда пойти, и где дадут  
Вору бездомному приют?  
В шалмане, в шалмане...



Шпана смеялась надо мной,  
И понял я, что нет иной  
Дороги, дороги...

В Бутырках же впервые услышал Мологин о коммуне. Рассказывали, что ГПУ отобрало несколько партий молодых ребят, отправило их в какое-то болото под Москвой, и они там работают, а приезжая в Москву, никуда не заходят и держатся по большей части так, как будто никогда не были ворами.

— Ну, это дудки, — говорили некоторые. — Просто следят за ними агенты. А если бы вольно, показали бы они!

— Все выкомаривают, все придумывают, — говорил Козел со злостью. — Клубы, театры, «политграмоть»... Суды еще придумали. Это в тюрьме-то! Мало, видишь, большевистского, еще и сам себя суди...

Он стал подробно рассказывать, как убеждал его инструктор в Таганской ликвидировать неграмотность, «приставал, как маляхольный», а Козел, выведенный из всякого терпения, оборонялся матерной бранью.

— Чорт их побери совсем! — ругался он. — Тюрьму, и ту изуродовали. Никакой жизни не стало. Нигде покоя человеку не дают.

Как это нередко случалось с Мологиным, он не придал сперва значения тому, что услышал. Разве мало и раньше устраивалось колоний для беспризорников? Однако слухи о Болшевской не прекращались, а все росли. Кто-то сказал, что в коммуне Новиков, Фиолетов и Каминский. Этих Мологин или знал лично или слышал о них. Это были не беспризорники, не пацаны. Это были солидные воры-артисты.

Мологин не спал ночь, обдумывая эту новость. Он все хотел понять, что же так задевало и тревожило его в том, что Фиолетов и Новиков слягавили? Значит, они не были настоящими ворами, и туда им дорога. Какое дело медвежатнику Мологину до них.

Болшевыц подбирали с улицы малолеток, беспризорных. Мологин понимал, что это хорошо. Оборванных, голодных ребятешек в асфальтовых котлах всегда было неприятно видеть. И те, кого берут в коммуну, — щенки, мальчишки, сявки; настоящий старый вор относится к ним с пренебрежением. Они и воруют, может быть, только потому, что ничего другого не умеют или не могут сыскать себе работы. Именно поэтому, вероятно, нет ничего проще, как обойти их, «купить» за обещание безопасности, за пустяки. Когда там хорошенько убедятся в этом, начнут забирать всех. Много ли стариков-то настоящих! С ними справятся тогда поодиночке, переловив голыми руками, как рыбу в спущенном пруду. Петля, захлестывающая Мологина, казалось, стягивалась все туже.

Он бежал из Бутырок и с двумя помощниками «взял» Коопсиндикат. Огромную сумму новенькими, пахнущими типографией червонцами унес Мологин. Дерзкое дело это обеспокоило общественность и МУУР. Мологин купил билет в Воронеж.

В вагоне третьего класса было душно, шумно, пахло юфтью и ржаным хлебом. Мужики и бабы с котомками, с крашеными сундучками вели захватывающий их спор о том, как лучше уничтожать на лугах кочки и есть ли какой-нибудь расчет по их местности сеять клевер.

Низкорослый, худощавый, с упрямыми черными бровями парень в синей выгоревшей рубашке, в брюках, заправленных в сапоги, отражал нападки мужиков, неумоимо объяснял, зачем нужен клевер. Он говорил одно и то же по нескольку раз, и то, что его плохо понимают и, может быть, даже не хотят понять, несколько его не обескураживало. Он благодушно, с настойчивостью и терпением долбил свое.

— Клевер — лучший корм для скота, — с удовольствием выговаривал он. — После клевера и хлеб лучше родится. Это ученые достоверно доказали.

Мужики сдавались постепенно, возражали все слабее, казалось — больше для порядка.

Мологин смотрел на широкий лоб парнишки, по которому скользили тени, на свой маленький фанерный чемоданчик. В нем было больше денег, чем все люди в вагоне видели за всю их жизнь.

«Этакже, как этот широколобый — продолбят, — думал Мологин. — Нет, надо завязываться, надо кончать. Того, что в чемоданчике, может хватить надолго».

В Воронеже благодаря случайному знакомству Мологин устроился заведывать фабричным клубом. Он организовывал концерты и составлял расписания занятий клубных кружков. Он произносил вступительные речи перед спектаклями и играл в шахматы с «активом» в «комнате отдыха», в которой в отличие от других на полу лежал ковер. Бумажка с круглой заводской печатью, удостоверяющая место Мологина среди трудящихся, хранилась в коленкоре записной книжки во внутреннем кармане пиджака. Он «клеил» свою историю новым знакомцам, и получалось так, что жизнь его, жизнь честного советского служащего, перегруженная многочисленными случайными занятиями, окончательно определилась только теперь. Теперь Мологин знает, что клубная работа — истинное его дело. Отныне он будет заниматься только ею. И, говоря так, Мологин по совести не знал, где начинается правда и оканчивается бессовестная ложь.



Он охотно посещал открытые партийные собрания, происходившие обычно в клубе. Сложное чувство влекло его туда. Холодный, внимательный, он сидел где-нибудь в последних рядах, всем одинаково чужой и всему чуждый. Он слушал скупые, не блестящие красками слова оратора, иногда покачивал головой, как бы соглашаясь с ними, иногда сочувственно улыбался, а мысли — отдельные, свои, глубоко спрятанные от всех, — жили самостоятельной жизнью, сменяли одна другую беспокойной, непрекращающейся чередой: «Когда вор крал до революции, он брал часть уже украденного вот у этих. Вор, крадущий теперь, крадет то, что принадлежит этим людям, потому что оно произведено их собственными руками. Только теперь вор по-настоящему стал преступником. А что если встать и сказать, чтоб услышали все: «Я — Мологин. Тот Мологин, который недавно обокрал Кожсиндикат».

Воображение отказывалось подсказать, что будет вслед за этим, но истома страха ползла по телу, и Мологин спешил отогнать дурацкую эту мысль, заставляя себя думать о духовом оркестре, в котором недостает инструментов, о кинокартине, которую завтра нужно «проверить».

Однажды Мологину сказали в заводууправлении, что послать в Москву за инструментами для духового оркестра некого, что лучше бы всего Мологину съездить самому. Мологину вдруг страстно захотелось в Москву, захотелось окунуться в ее возбуждающую суету и шум. «А кожсиндикатские дела, пожалуй, успели поостыть», подумал он.

— Так не задерживайся, поскорей, — напутствовал Мологина в окно двинувшегося вагона молодой беловолосый комсомолец Рыбин, товарищ по клубной работе.

— Разве только задержат, — цинично крикнул Мологин и высунулся в окно. — Только не думаю: дураков и в Москве много.

Долго смотрел Рыбин вслед удаляющемуся поезду, раздумывая, что значат эти нелепые обидные слова.

В Москве Мологина арестовали по делу Кожсиндиката. Ему казалось теперь, что если бы его не тронули, он воротился бы в Воронеж.

Из концентрационного лагеря ему удалось бежать. Он нанял дачу в Филях и поселил там свою новую сожительницу Катюшу, еще не так давно распевавшую писклявым голосом трогательные песенки в актерской халтурке «Не рыдай».

Ни одного шага теперь Мологин не делал, не обдумав. Он избегал притонов и людных, шумных мест, водился только с самыми проверенными, испытанными друзьями. Особенно сошелся он в это время с Дмитрием Загрязевским. Рослый, стройный, этот парень нравился Мологину своей горячностью

и прямой, сочетающимися с необходимой в его профессии хитростью. Мологин знал все его прошлое. Подростком Загржевский поворовывал. Когда призывали в Красную армию, думал, что с этим кончено. В армии Загржевский участвовал в боях. После демобилизации не встал на учет биржи, долго не мог найти работу, украл, потом не мог отстать. Теперь Загржевский был молодым многообещающим медвежатником. Он любил поговорить о себе, говорил часто: «Если бы не эти биржи, которые неизвестно для чего нагородили, разве бы он стал тем, что он есть». И Мологин, да и сам Загржевский отлично понимали, что дело, собственно говоря, не в этом. Но хорошо иметь, на кого переложить вину.

На даче в Филях, в тени, под кустом обломанной сирени, они разговаривали — Загржевский запальчиво, приподнято, Мологин — хладнокровно, с проницательным смехом.

— У кого крадем? У рабочего крадем, — кричал Загржевский и далеко в траву отбрасывал опорожненную бутылку. — Я за рабочий класс на фронтах сражался. Я крови не жалел. Красть оставить надо. Завязываться, — кричал он, не слушая, пьяно размахивая руками. — По лице буду жить.

— Много ты наживешь, — усмеялся Мологин, тоже поддаваясь хмелю. — Много наживешь ты, красный генерал. Вот за границу бы! Завел бы рыжую французенку. А это — что...

Мологин дразнил и издевался над Загржевским, но он чувствовал, что издевается в сущности над самим собой. Все короче делается сроки, все ограниченнее пространство, пока еще оставшееся для него. «Может, и вправду уехать за границу. Жить, ни о чем не думая, не рассуждая, без истерик, подобных тем, которые устраивает Загржевский».

И точно игрок, проигрывающий последние чужие деньги, стремясь не думать, стремясь оглушить себя напряжением непрерывной деятельности, непрекращающегося риска, с азартом, похожим на отчаяние, бросался Мологин на новые дела. Большой театр, Главтоп, контора «Известий», ряд учреждений в Ленинграде — свыше 20 взломов и грабежей в несколько месяцев. Он жил в Москве, а работал в Ленинграде, он жил в Ленинграде, а действовал в Москве. Несколько десятков опытных воров «работали» вместе с ним. Небывалая удача сопутствовала каждому их шагу. От них не спасали ни стены, ни охрана. И чем больше было удач, тем ненасытнее, яростнее делался Мологин. Если бы он мог, он действовал бы в нескольких местах одновременно. Если бы мог, он вскрыл бы разом все неогороженные шкафы республики.

— Что, Дима? — вызывающе спрашивал он иногда Загржевского. — Не нравятся рабочие-то денюжки? А мне так ничего... Побольше бы их.



Ранним серым утром на даче в Филях Мологин был арестован сотруddниками МУУРа.

Он не обманывался на свой счет. Бесчисленное количество судимостей, ряд побегов, оголтелые последние дела. Высшая мера социальной вредности, высшая мера давно предчувствуемого наказания.

В камере были люди, но Мологину казалось, будто он один. Образы прошлого преследовали его. Нет, он не жалеет о том, как прошла жизнь. Не жалеет и никого не винит. Он жил, как ему нравилось и как хотелось. Если кто-либо в чем и виноват, так только сам он. Он видел политику, которую осуществляла власть. Разве не мог он притти и заявить: «Кончено, больше не хочу». Нет, не об этом, совсем не об этом он должен написать. Он мелко, убористо, твердым пером нанизывал буквы на листок бумаги.

«Я не о жизни хлопочу, — писал Мологин. — Однажды я пробовал завязываться. Мне верили. Я мог работать. Но я все равно обманул всех. Я был заведующим клубом и одновременно воровал».

В Воронеже он взял несколько тысяч рублей из заводской кассы. Деньги предназначались сезонникам, строившим новый корпус. Сезонники горланили, ругались; Мологин даже подумал, что они приостановят стройку. Но они вышли на работу после того, как в клубе был проведен митинг.

Всюду, куда хватала память, возводились корпуса и здания, выкорчевывались леса, добывался уголь, производились машины, ткани, обувь — вещи, в которых нуждается страна. И всюду, куда вторгалась рука Мологина, должно быть, задерживалось выполнение планов, ослабевали темпы, возникали непредвиденные трудности для тех, кто делал это все. А кто делал? Рабочий класс.

Что же это натворил Мологин? На что рассчитывал, на что надеялся? Тяжелый, обессиливающий страх сковывал его.

«Я — гад, вредный уже одним тем, что он существует, — писал Мологин. — Я — гад, и меня нужно расстрелять. Раньше, до революции, я воровал и думал, что это естественно и справедливо. Я читал Ницше. Я хотел быть сильным. Многие из тех, кого я видел, жили, не трудясь, и наслаждались жизнью. Я тоже хотел этого. Я воровал и жил легкой жизнью, я наслаждался жизнью».

Я понимал, — писал Мологин, — что при социализме шалман немислим. Что там, где все работают, не может быть воров. Но это не мешало мне воровать, потому что я всю жизнь не любил и не хотел работать».

И вновь сомнения охватили Мологина. Да так ли, да правильно ли это? Как неизмеримо трудно, оказывается, говорить правду. Может быть, и он не всегда не любил работать...



«Перед судом товарищей». Картина художника-большевца А. Щеглова



Помнится, после того как убежал от дядьки, мечтой Алешки стало сделаться матросом. Там, где жил дядька, был крестьянин, который прежде служил во флоте. В Москве Мологин подружился с перевозчиком, одноногим стариком Кулагиным, державшим лодки у Новодевичьего монастыря. Он помогал перевозить с одного на другой берег сердитых подмосковных огородниц, студентов и чиновников с гитарами и барышнями, веселых куражливых мастеровых. Иногда старик таскал Мологина за уши, иногда давал пятиалтынный. Изредка он позволял взять лодку и покататься в ней вдоль гористых зеленых берегов. Мологин упоенно бороздил веслами воду. Он воображал себя на корабле среди бушующего океана. Разумеется, в мечтах он совершал разные подвиги, которые изумляли всех. Зимой Кулагин умер.

Что же — Мологин не мог бы и на самом деле стать хотя бы матросом?

Он работал в клубе, и разве были для него редкостью удавшийся концерт, наладившийся кружок? Стулья, бывало, привезут из ремонта на грузовике, а Мологину приятно, что они такие добротные, новенькие, так свежо и остро пахнут лаком.

«А почему же, Алексей Александрович, вы не остались завлукбом, если это так? Почему, Алексей Александрович, вы тогда уехали из Воронежа? Ведь вы могли и не поехать...»

Мологин кривил тонкие пересохшие губы, и едкая усмешка исчезала бесследно в рыжих его усах.

И так писал он, разрывал и перечеркивал написанное и начинал вновь, борясь за каждое слово, за полноценную правду в нем. И когда окончил, сказал все, что хотелось сказать, — положил письмо в конверт и с чувством глубокого спокойного доверия адресовал человеку, одно упоминание имени которого недавно наполняло его ненавистью и солдранием.

А со стороны было так, точно «клевт» Мологин следовательно фантастические свои «показания», играет, отводит, путает с хладнокровием, выдержкой, спокойствием, которым трудно найти пример. Будто не собственная его, подкатившаяся к краю жизнь поставлена в этой игре.

И когда кто-то в камере расхныкался, стал проклинать день, когда родился, седоусый Василий Козел — он ждал отправки в лагери, — брезгливо остановив его, сказал:

— Учись вот... Бери на память... Это — человек. Корень. Пока не переведутся урки вроде Алехи — ничего им не подедать. Хоть всех перехватай...

Когда Мологин выслушал приговор к десяти годам заключения, он не поверил этому. Очевидно, произошла какая-то ошибка, которая не замедлит выясниться. Через два дня его перевели из Бутырок на Лубянскую площадь. Зачем?

Он догадался, что ошибка замечена и исправляется. Вечером его вызвал к себе руководитель МУУРа товарищ Вуль.

Знакомый Мологину этот человек сидел, слегка наклонив голову, за громоздким письменным столом, уставленным по краю телефонами. Красивые его глаза с длинными ресницами казались теперь жестокими.

— Расстреливайте скорей! — крикнул Мологин нервно. — Зачем тянуть?

Вуль чуть заметно качнул плечом.

— Психует, — тоном вопроса сказал он с улыбкой и как бы не Мологину, а кому-то, кто находился здесь еще.

И тогда заметил Мологин, что Вуль действительно был не один. В стороне, на широком коричневом диване сидел кто-то в военной форме, вскинув ногу на ногу, кого Мологин никогда не видел. Он был смугл, мрачен и сердит. Он ответил на вопрос Вуля вопросом:

— И часто это с ним?

Смуглое его лицо вдруг потеряло мрачность и точно помодело.

— Садись, Мологин, — предложил незнакомец с какой-то особенной, грубоватой простотой. — Не валяй Ваньку. Нужно с тобой потолковать.

Мологин подвинул стул и сел на край его. Он спешно взвешивал произнесенные слова, выражение лиц, оттенки интонаций. Неужели ошибки нет? «Значит, опять жизнь», подумал он с невыразимым облегчением. Да, очевидно, это было так. «Хотят, чтобы слягавил», подумал он тотчас же снова. Ну, этого-то не случится, с этим Мологин сумеет справиться. Ему хотелось громко смеяться, он с трудом сдерживал себя.

— Ну, расскажи, как жил. Вот Погребинский, Матвей Самойлович, руководитель Болшевской коммуны. Он тобой интересовался, — сказал Вуль медленно.

— Болшевской? — переспросил Мологин.

Неправдоподобная догадка неожиданно пришла к нему. Он посмотрел на Вуля, потом на Погребинского. Их лица не говорили ничего. «Там только для молодых», вспомнил Мологин разочарованно.

— Что ж, могу рассказать. Что вас интересует? — согласился он с холодной вежливостью.

— А, должно быть, и правда, паразит закоренелый, — внятно резко сказал Погребинский.

— Медвежатник. Сам под кустом сидел, а мальчики на него работали. Небось, не одного выучил.

— Ложь! — крикнул Мологин и вскочил со стула. Он побледнел от оскорбления и бешенства. — Ложь... Родного бы сына удавил. Я молодых не брал. Это на меня наврали вам...



— А если наврали, так сиди, — холодно сказал Погребинский. — Чего ты прыгаешь?

Мологин сел, разгоряченный и взволнованный. Да, конечно, он работал, случалось, с молодыми. Когда, например, «брали» на Никольской склад, помогал один «штымпишка», он понимал в мануфактуре. Но это всегда были ребята, которые давно уже начали. Сам же Мологин на эту дорогу не толкнул никого. Пусть назовут, кого он толкнул! Совершеннейшая чушь, этого не было.

Погребинский кивал время от времени темной коротковолосой головой, изредка вставлял неопределенные словечки, которые могли быть поняты как одобрение. Он посматривал на Вуля, и чуть заметная улыбочка людей, привыкших понимать друг друга, скользила на губах у обоих. Мологин поймал ее. Усмешка эта была красноречивее слов.

«Так, значит, они разыгрывают Мологина? Чтобы распалить на разговор?» Мологин по-новому осмотрел фигуру Погребинского. Скромный, простоватый, этот большевский, оказывается, не так-то прост. И удивительное дело! Чувство нерассуждающего, безграничного доверия к этим людям внезапно овладело им. Наверное, первый раз в жизни стал говорить Мологин, отбросив всегдашнюю настороженность, напряженную заботу о том, чтобы не сказать лишнего, не проболтаться, не попасть в расставленный капкан. Он не интересовался даже тем, как выглядит в своем рассказе.

Погребинский развеселился, смеялся и шутил. Потом он стал рассказывать о Болшевской коммуне. Он называл знакомые фамилии: Новикова, Каминского, Накатникова, но Мологин не мог узнать в его словах этих людей. Он говорил о принципах коммуны, о добровольности, о ее хозяйстве, о том, как живут и самоуправляются ребята, многие из которых скоро сделаются членами профсоюза, и с них будет снята судимость. Погребинский говорил с увлечением, горячностью, с мельчайшими подробностями, как крестьянин мог бы рассказывать о своем дворе. Но Мологин с трудом представлял себе все это.

— Надо смотреть вперед, учиться на прошлом и поступать так, чтобы впереди было лучше, — сказал ему Погребинский в пятом часу утра, когда они расставались.

Мологина перевели опять в Бутырки. Страстная жажда что-то делать, испытывать приятную усталость рук и всего тела томила его. В Бутырках он стал работать на обувной по полировке уреза. Он работал восемь часов, а думалось — мог бы шестнадцать. При виде новеньких, ласково поблескивающих металлом станков его охватывала настоящая радость. Но как ни велико было его увлечение производством, оно не

мешало ему работать одновременно в художественном секторе клуба. Может быть, никогда у него не было столько энергии, сколько нашлось ее теперь.

Однако вскоре незаметно для самого Мологина энергия его стала слабеть. Он не мог бы сказать, когда именно это началось. Может быть, в тот вечер, когда вздумалось ему подсчитать, сколько уже отсидел, и особенно ярко представилось, что отсидел лишь год, а впереди их девять. А Мологин ведь не молод, далеко не молод... Или позднее, в голубой весенний день, когда солнце бросило в камеру горсть колеблющихся своих лучей. Сережка Вяхирев, семнадцатилетний домушник, прощался тогда со всеми. С трудом скрываемая ребяческая радость и надежда светились на его веснушчатом лице. Вяхирев уходил в этот день в коммуну.

«Смотреть вперед, — горько думал Мологин, — хорошо смотреть вперед Вяхиреву, у которого действительно все впереди и которому открыта дорога. А что осталось, что может быть впереди у Мологина. Бежать. Все начать сначала. Это было бы любопытно... «Куда пойти, и где дадут вору бездомному приют».

Он продолжал выполнять свою работу, но теперь это была только привычка. Он похудел, опустился, появилась лысина. Не знающая ножниц огромная красная борода закрывала грудь. Все чувства, все желания угасли в нем. И если бы пришел кто-нибудь и спросил: «Чего хочешь, Мологин? Что сделать для тебя?» — Мологин не знал бы, как ответить. Что ж ему нужно? Ничего он не хочет. Вот разве в русскую баню сходить попариться.

Заведующий мастерской, любивший посмеяться полный человек, знал, что работа полировщика не из легких. Он решил, что Мологин утомился.

— Отдохни, посиди табельщиком, — сказал он ему.

Мологин равнодушно согласился. Он ходил теперь в контору, подсчитывал цифры, выводил графики. Это было лучше потому, что мешало думать. Для чего думать? Не все ли равно.

Мологин сидел в конторе. Чей-то отрывистый грубоватый голос за дверьми привлек его внимание. «Погребинский», с волнением угадал Мологин. Сомнений не могло быть. Этот голос Мологин отличил бы из тысячи других. Погребинский вошел в контору. Заведующий мастерской шел рядом с ним и что-то ему рассказывал. Погребинский увидел Мологина.

— Узнал? — весело сказал он и подошел к столу.

— Да, — не сразу ответил Мологин.

— Постарел, — не одобрил Погребинский и покачал головой.



— Разве не за станком? — вдруг удивился Погребинский, взглянув на заведующего.

— Временно, отдохнуть. Перевел на табели, — торопливо объяснил тот.

— Ну что же, — сказал Погребинский. — Выйди со мной, Мологин, поговорим.

Мологин тяжело, точно ему трудно было поднимать ноги, пошел за ним в комнату следователя. Погребинский вынул «Герцеговину флор» и протянул коробку Мологину.

— Куришь?

— Не курю.

— А пьешь?

— Пью.

— Мог бы не пить?

— Вот же не пью, — грустно сказал Мологин.

Погребинский поймал его прячущиеся зеленоватые глаза своими и пристально заглянул в них.

— Пойдешь в коммуны? — спросил он вдруг точно таким же тоном, каким только что предлагал курить, и словно это всегда и всецело зависело от желания или нежелания самого Мологина.

Мологину показалось, что он задохнется. Бурная радость хлестнула по нервам и тотчас ушла. Он сделал движение к Погребинскому, но остановился.

— Я испепеленный человек, — медленно, почти шопотом произнес он, — в коммуне я был бы обузой. Нужны ли там такие?

— Посмотрим, — сдержанно сказал Погребинский. — В коммуне все в твоей воле. Чем ты захочешь стать, тем и станешь. Будешь работать — сделаешься человеком. Ты знаешь, слышал, наверное, у нас и члены партии есть, а раньше они были ворами.

— Я захочу, — волнуясь, прерывисто сказал Мологин, — но только я...

Улыбка перекосила его лицо. Темный, постылый мир таких же, как он, изуродованных жизнью людей, ненавистный и родной, как собаке ее логово, как больному отравленное болезнью его тело, — мир шалмана, проституток, азарта, крови, издыхающий, но недобитый мир, который мог теперь покинуть Мологин, властно вставал перед ним. Он хватал его, он тянул его назад, он приказывал, диктовал ему. И Мологин не смел слушаться.

— Только я никогда не буду лягавить. Не заставите! — крикнул он взвинченно.

Погребинский пожал плечами.

— Там будет видно, — сказал он с усмешкой. — Мы никого не заставляем. Поживешь — станешь понимать.

И тогда рыжебородый пахан и медвежатник, гордость шалмана, хранитель его традиций и основ, сделал шаг, одним повергнувший в растерянность и недоумение, других заставивший предположить здесь особенную, исключительную хитрость и третьих решительно, без колебаний, покончить с прошлым.

И таких было больше всего. Медвежатник Алексей Александрович Мологин пошел в коммуны.



# ОШИБКА

**Н**а следующий день после приезда в коммуну Мологину предложили работать на фабрике. Он начал работать на обувной. Необыкновенно неловко чувствовал он себя.

Коммуна не казалась теперь никому деревушкой, затерявшейся в дебрях. В ней кипела жизнь. Всюду громоздились камни, доски, кирпичи, горы строительных материалов. Строился механический завод, большое трехэтажное общежитие. В столовой, в клубе, куда бы ни пошел Мологин, ребята говорили о производстве, о выработке, кто и где будет жить и работать, когда кончат постройку. Они ходили на собрания, устраивали субботники. Каминский, Накатников, Новиков пользовались среди них таким уважением, точно отказаться от воровства действительно было заслугой в их глазах. А одновременно — острый взор Мологина видел и это — в глубине, в подполье происходило другое. Случалось, некоторые большевцы пили, играли в карты. Не один раз Мологин ловил на себе взгляды, в смысле которых ошибиться было нельзя.

Как-то в лесу он наткнулся на компанию большевских ребят. Они ругались, били о сосны пустые бутылки. С ними были какие-то визгливые бабы. Парень в костюме «бостон», с лицом старухи — Мологин видел его на одном из собраний — кричал, покачиваясь, придерживаясь рукой за сосну:

— Клево, Ласкирик! Твои бочата! Завтра винтим в Москву!

«Погребинский заблуждается и преувеличивает, — внезапно подумал Мологин. — Продувная шпана, которую собрал он здесь, морочит ему голову». Мысль эта была так неожиданна и так проста, что Мологин почувствовал что-то похожее на испуг. Он поспешно отошел от этого места.

Он разговаривал с Богословским, Накатниковым, Каминским, смеялся, шутил, толковал о «принципах» и «законах» коммуны, преувеличенно восхищался ими, а в действительности никогда не был так одинок, как теперь. Эти люди, точно подрядившиеся не оставлять Мологина ни на час, их однообраз-

ные разговоры раздражали, казались навязчивыми. Только Новиков как будто избегал его. Мологин ходил по коммуне, словно не знающий языка. Иногда, впрочем, он почти готов был усомниться в том, что пришло ему в голову там, в лесу. Но возможно ли было сомневаться? Будто какая-то невидимая стена отделяла его от коммуны, заслоняла что-то до крайности важное, мешала понять.

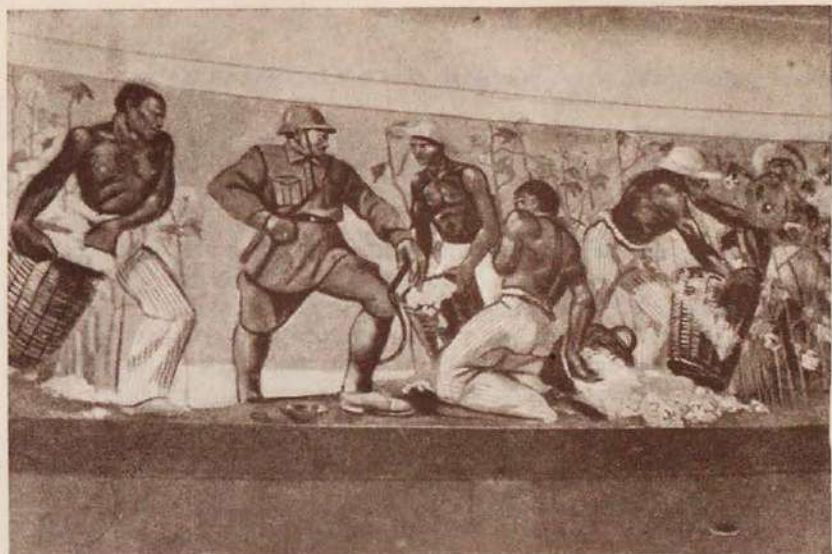
Работа, работа — вот главное! Что ему за дело в конце концов до того, кто заблуждается и в чем истина? И он закружился в работе, как колесо на оси. Он вставал утром, торопливо умывался, ел, спешил на фабрику. Вечером шел в клуб. Он хотел, чтобы не оставалось совсем времени для размышлений, и это ему удавалось.

На фабрике Мологин перевыполнял норму. Кроме того он связался с драмкружком и помогал ему ставить пьесу. Успехи кружка были заметны. Странно, что все это могло иметь значение. Временами ему начинало казаться даже, что чем бы ни была коммуна, он-то уже становится в ней на ноги. Но по-прежнему в речах болшецов за громко произносимыми по-обычному мало значительными словами его ухо улавливало нечто другое, невысказанное, тайное. Ускользящий смысл того, что не произносилось, будил неопределенную тревогу, заставлял сдерживаться, говорить скупой. По-прежнему замечал Мологин в глазах воспитателей настороженность, походившую на недоверие. Даже милейший, мягкосердечнейший Богословский, первый заговоривший с Мологиным о постоянной руководящей работе в клубе, случалось, поглядывал на него косо. Никто как будто не ходил, не наблюдал за Мологиным, а нельзя было сомневаться — воспитателям были известны каждое его слово, каждый шаг.

Постоянная работа в клубе?.. Нет, этого не будет. Что-нибудь случится: не разрешит Погребинский, или сам Сергей Петрович передумает. Разве решатся отдать такое дело Мологину? А он, пожалуй, охотно пошел бы на эту работу, мог бы там кое-что сделать.

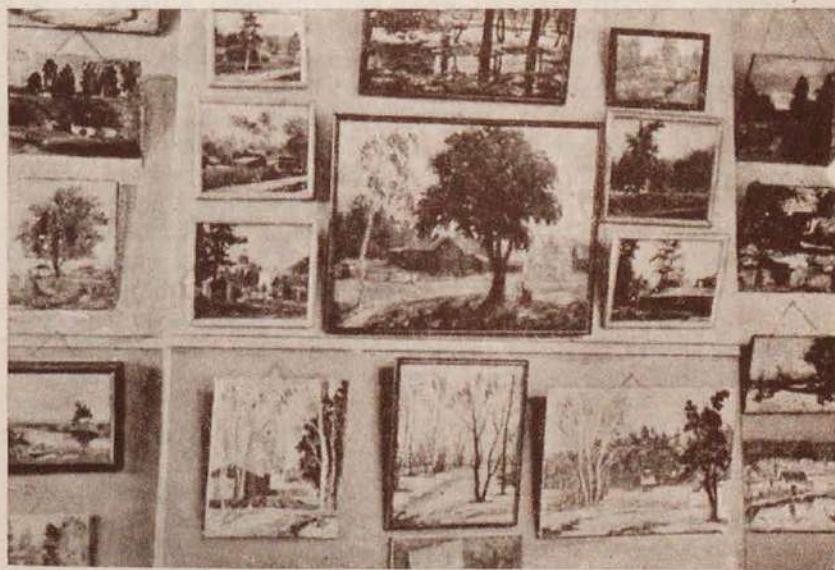
И до самого собрания, на котором Мологина выбрали председателем правления клуба, он все не верил, что это действительно произойдет. Домой он шел усталый, но радостный и удовлетворенный. Каминский, Новиков, Смирнов, члены драмкружка — все, кто выступал сегодня, — в один голос хвалили Мологина, одобряли его кандидатуру, выражали уверенность, что дела клуба теперь пойдут в гору. И, должно быть, так уж создан человек: как ни мала цена всем этим похвалам, было приятно вновь и вновь вспоминать, что говорилось и делалось на заседании. Мологин поравнялся с общежитием. Кучка ребят толпилась недалеко от осве-





Одна из фресок в аудитории учебного комбината. Выполнена художниками-большевцами

Уголок выставки. Картины большевских художников



ценных дверей. Ребята смеялись и разговаривали. Мологин миновал их.

— Там заворачивал и здесь хочет! — крикнул кто-то в спину звонко и злобно.

Мологин замедлил шаг: «Это ему?» Он не понял, что, собственно, крикнули. Потом кровь вдруг бросилась в лицо. Мологин медленно поднялся по лестнице, стараясь не показать, что он что-нибудь слышал.

В спальне он сразу стал раздеваться. Полураздетые болшевики бродили между кроватями. Они оживленно разговаривали о заседании, об оркестре, о предстоящей клубной вечеринке, упоминали имя Мологина. Кто из них мог крикнуть ту фразу? Может быть, вон тот, что хлопает сейчас Новикова по плечу, говорит ему что-то с хитрой усмешкой? В сущности это совершенно все равно — кто! Крикнул один, а десять слышали и согласились. Может быть, даже это Каминский крикнул. Он ли, другой ли кто — все они одинаковы! Все они лицемерят, прикидываются ангелами, усердно изображают на собраниях, будто болеют за коммуну, будто они ее хозяева, будто и вправду они дают ей законы. А в действительности только к тому и стремятся, чтобы скрыть свои настоящие мысли, унюхать, чего от них хотят, еще и еще раз «потрафить» начальству. Еще бы! Тут заработок, нет часовых, девчата — позанятней будет, чем в лагерях!

Он стал думать о прошлом, о своей теперешней жизни, запутанной и неопределившейся. Он попытался представить себе, что думают и говорят о нем люди, судьба которых должна была быть и его судьбой. Хотелось вскочить, разбудить Новикова, крикнуть ему, что все это ерунда, какое-то наваждение, дикая неправдоподобная выдумка... Пора кончать! Довольно дурачить себя и всех. Какие там клубы. Махнуть с ним в поселок Болшево, напиться так, чтобы небо закачалось в глазах, и... будь, что будет! Ох, и напился бы теперь Мологин! Он с трудом справился с этим желанием.

Прибывшие с новой партией из Соловков рассказывали, что когда Васька Козел услышал о Мологине, он не поверил. Он говорил, что это выдумано чекистами для дурачков. Когда же нашлись люди, лично видевшие Мологина в коммуне, когда доказательства сделались неопровержимыми, Козел испуганно выругался, швырнул шапку на снег и с омерзением закричал:

— Продался, рыжая гадина! И всегда такой был. Всегда! Только умел замечать. Погодите, от него еще не один наш товарищ заплачет!

В город Мологин поехал неожиданно. До этого он ездил туда всего один раз — в самые первые дни пребывания в коммуне.



Тогда он только зашел к сестре на Якиманку и, переменяв ботинки, побежал в театр: они отправились вместе с Каминским и Накатниковым смотреть «Грозу».

Помнится, тогда Мологин немного задержался у сестры — она все никак не могла увериться, что это ее брат Алексей сидит перед ней невредимый и на свободе. Он запоздал минут на десять против условленного времени и сильно нервничал. Накатников рассказал после, что ребята нервничали тоже.

Отпуск в город Мологину предложил Сергей Петрович. Теперь предстояло ехать куда и к кому угодно. Мологин никак не думал, что ему так скоро дадут это право. Ласковые, вкрадчивые глаза Катюши, размашистые жесты Загржевского, кусты и деревья дачи в Филях — все вдруг вспомнилось ему. Он позабыл на мгновение, что всего этого давным давно уже нету. Радостное нетерпение овладело им, и всю дорогу, и на вокзале, и на людных московских улицах оно не покидало его.

Он шел по Тверской, немного сутулясь, беззвучно ступая, легко дыша. Он чувствовал все свое тело, и оно казалось необыкновенно ловким, сильным, изумительно послушным ему. Он не оглядывался, но знал, кто идет сзади, кто идет по противоположной стороне улицы, почти угадывал, куда и зачем идет. Он ощущал это спиной, плечами, кожей...

Освещенные низким солнцем, тесно сдвинутые дома Тверской выглядели приветливыми и принарядившимися. Извозчик, беспокойно оглядываясь на милиционера, проехал мимо. Как он неловок, как он унижен обгоняющими его машинами! Трамвай у остановки затормозил с визгливым скрежетом. С передней площадки, не спеша, спустился Мишка Бабкин и посмотрел сначала в одну, потом в другую сторону. Он был в пальто «реглан», в шикарной клетчатой кепке, над толстыми лиловыми губами топорщились подстриженные беленькие усики.

«Бабкин», чуть не воскликнул Мологин. Он пошел к нему, спеша, наскакывая на пешеходов. Пусть это только Бабкин, но ведь он оттуда, с того берега. Мологин узнает, где Катя, где Загржевский, услышит хвастливый рассказ о самом Бабкине.

«Нельзя поверить», подумал он вдруг. Старенький бьюик обжег его с сердитым фырканьем. Пустые незнающие глаза Бабкина скользнули по лицу Мологина. «Нельзя, невозможно поверить», снова подумал Мологин. Он круто повернул и пошел назад. Полузакрытые ворота какого-то дома обдали запахом аммиака и погреба. «Значит, можно существовать, можно еще «работать», если на воле такая птица».

Было очевидно, что Бабкин не заметил и не узнал его.

Да, тому, что произошло с Мологиным, невозможно верить. Расскажи кто-либо подобную историю ему самому, он

бы расхохотался тому в глаза. У него пересохло во рту и хотелось пить.

Солнце опустилось за дома, они стояли, потемневшие и слитные; гул голосов по-вечернему уплотнившейся толпы был глух и недоброжелателен. «Нарзану найти бы, что ли», подумал Мологин. Он открыл дверь ярко освещенной вегетарианской столовой Моснарпита. За белым, похожим на больничным, деревянным столиком, отвалиясь на спинку стула, сидел Бабкин и смотрел прямо на Мологина. Он пил из стакана оранжевое ситро и подмигивал Мологину всей левой стороной лица. Мологин послушно сел с ним рядом.

— Еще две бутылочки, гражданочка! — крикнул Бабкин, хвастливым жестом вытаскивая из внутреннего кармана пиджака новенький кожаный бумажник.

Мологин был спокоен. Отчетливо выговаривая взвешенные слова, умело обходя все, что могло навести Бабкина на размышления, он рассказал ему, что был приговорен к десяти годам, сидел, теперь живет в коммуне.

— Та-ак, — опасаясь быть слишком снисходительным, тянул Бабкин. Тон и спокойствие Мологина сбивали его. — Значит, в коммуне? Клево! Очень хорошо. А Загряевского что-то вот не слышно. Видно, амба.

И оттого, что Бабкин так упомянул о Загряевском, Мологин вдруг почувствовал, что краснеет неотвратно, бессмысленно, нелепо, точно на самом деле он виноват в том, что Загряевскому, быть может, «амба», а Мологин живет в коммуне, разгуливает по Москве.

Он попытался заговорить прежним тоном, но это не удалось. Спеша, ненужно жестикулируя, он стал рассказывать Бабкину о коммуне, о ее порядках, о том, кто в ней находится и кто может быть принят. Коммуна в его стремительных словах рисовалась пределом человеческих желаний. Бабкин слушал сосредоточенно.

— Стой, подожди, — остановил он Мологина. — Подожди, так, говоришь, берут одних молоденьких?

— Да... — произнес Мологин и растерялся. — То есть бывают исключения...

Бабкин опустил голову, не спуская с лица Мологина покрасневших и наглых глаз. Он медленно дышал и не говорил ни слова.

— Ну и дурак же ты, — сказал Мологин с ненавистью.

Бабкин не рассердился:

— Та-ак... Значит, молоденьких! А тебя в исключение. Та-а-ак. Ишь, как пофартило тебе.

И хотя ничего не сказал он прямо — в блудливой двусмысленности усмешки, в откровенно издевательском, торжест-



вующем взгляде его оловянных глаз прочел Мологин невысказанное: продался.

Бабкин! Трусливый, захудалый воришка — Бабкин — и тот осмеливается так думать о Мологине и так держать себя! Никогда не предполагал Мологин, что все это может быть не безразлично, что будет так тяжело. Если бы можно было теперь же повидать Погребинского! В присутствии этого человека все сомнения точно испаряются, утрачивают вес.

И чем больше размышлял Мологин, тем яснее представлялось ему, как должен он теперь поступать, как жить. Он не позволит себя сбить ни Козлу, ни кому другому. И меньше всего этому расфуфырившемуся дураку — Бабкину, который, должно быть, уже поджидает где-нибудь скорой встречи с соловецкими «корешками». Он будет работать еще настойчивее и упорней. Хотят, чтобы коммунары ходили в кружки? Хорошо. Они будут ходить в кружки. Уж этого Мологин добьется. Он покажет, какой может быть создан клуб. И в то же время, где только столкнется, где только спросят Мологина, он будет отстаивать своего брата из блатного мира. Мало ли может быть таких случаев? И кто тогда посмеет в чем-нибудь упрекнуть Мологина, кто тогда поверит грязным намекам Козла или Бабкина? И думалось — сам Погребинский не мог бы не согласиться с Мологиным.

На собрание, на котором должен был стоять вопрос о Ласкирике и Рогожине, уличенных в пьянстве и краже в Москве, Мологин пришел, как всегда, внешне спокойный, почти равнодушный. Но так же, как перед любым собранием коммуны, и теперь его томила безотчетная робость, тревожное ожидание чего-то, что должно или может произойти. Но он думал, что взволнован только тем, что приехал Погребинский и что сейчас Мологин услышит его резкую насмешливую речь.

Он вошел и сел в заднем ряду. Собрание вел активист Румянцев. Его усталое лицо было преисполнено сознания ответственности. У него за спиной неслышно шагал Погребинский, заложив руки в карманы кожанки. В стороне от президиума, в глубине сцены, сидели два каких-то парня. Оба они одинаково горбились, глядя на пол. Похоже, что им не очень приятно было сидеть там. «Рогожин и Ласкирик», догадался Мологин. Он запомнил эти две фамилии — их часто повторяли в общезжитии в последние дни, но носителей этих фамилий не знал. Он присмотрелся. Да ведь это те, кого Мологин застал однажды в лесу! «Вот это кто», с разочарованием подумал он. Угнетенный, подавленный вид парней, подчеркнутая неряшливость одежды оказались ему фальшивыми.

Он стал слушать, о чем говорили со сцены. В зале было тихо, кашляли и сморкались как будто меньше, чем обыкновенно.

«...Ты не очень нажимай на работу, побереги себя. Отдохни. Ведь туда поехал ты лечиться... Еще работы предстоит много, когда снова приедешь в Россию», читал по какой-то бумажонке Накатников, запинаясь, переступая с ноги на ногу.

«О чем таком?» подумал небрежно Мологин.

«Живем также хорошо. Сейчас коммуна наша расширяется. Закачивается постройкой коньковая фабрика... Построен четырехэтажный дом под общежитие, но еще не отделан, думаем, к весне будет готов.

В настоящее время в коммуны принимаются новые члены. Ребят берем из тюрем и с воли, т. е. ребят, приехавших с Соловков. Работа в коммуне попрежнему идет полным ходом — восемь часов на производстве, ребята занимаются в школе, а потом разные кружки, комиссии, заседания.

...Вот что, Максимович, — читал Накатников: — Мы хоть сами заграничной литературы не получаем и читать ее не умеем, но так слышали, что там слишком много о нас пишут и не верят в то дело, которое у нас строится. Но нам, откровенно говоря, на их мнение в высокой степени наплевать. Мы знаем по тем делегациям, которые к нам приезжают, что рабочие верят, и это, конечно, очень ценно для нас. Ну, до свиданья. Ты нам как-нибудь напиши писульку. Будем ждать. Члены трудкоммуны № 1 ОГПУ».

— Вот наше письмо Алексею Максимовичу Горькому, — сказал Накатников. — Будут еще какие-нибудь добавления?

Большевики неистово аплодировали.

Мологин с облегчением откинулся к скамье. Теперь, наконец, о Ласкирике? Но Румянцев стал зачитывать длинный список ответственных дежурных, потом почему-то начали говорить о порядке получения продуктов из кооператива и дневальстве. «Завели канитель», скучно думал Мологин. Он закрыл глаза и перестал слушать.

— Теперь дело Мосеева и Орлова, — сказал рыженький коммунар, член конфликтной, отрывисто, точно отрубил топором. — Конфликтная разобралась и выносит на ваше решение. Мосеев был принят как желающий завязаться жулик. Орлова приемочная комиссия первый раз не приняла как чуждый нам элемент. Но впоследствии Мосеев уверил комиссию, что Орлов жулик, и просил принять его. Тогда комиссия приняла и Орлова в кандидаты, поверив Мосееву. Теперь же получена справка приговора нарсуда, что Мосеев и Орлов судились за хулиганство. Выходит, оба они... — парень с презрением махнул рукой. — Выходит, оба одной «губернии», обманом про-



лезли в коммуны, выдавая себя за жуликов, когда они просто хулиганы.

«Обманом пролезли», повторил Мологин, недоуменно пожимая плечами.

— Нечего им тут делать! — крикнул Осминкин — жизнерадостный, веселый физкультурник, о котором Мологин в первый же день узнал, что он футболист, чемпион коммуны.

— Орлов — сын дьякона. Это он сам говорил — это все слышали. Он нам чуждый, — разоблачил кто-то с места, кто именно — Мологину не удалось рассмотреть.

— Товарищи, не надо кричать, надо выходить и говорить, — напомнил Румянцев.

К столу приблизился Гуляев. Его лицо было сердито. Он сказал кратко и веско:

— Мосеева нельзя выгонять, Мосеев — вор. Я его знаю. У него три судимости. Если выгоним — у него еще судимостей прибавится.

И так же уверенно и веско пошел от стола.

«Вот видишь, Алексей, видишь, как Гуляев», отметил сам себе Мологин.

Что-то было смущающее в той откровенности и простоте, с которой Гуляев вступился за урку. Но если это могло быть так, то тем и лучше. Мологин подумал, что у него, вероятно, нехватило бы мужества сказать так прямо.

У стола надрывно кричал худой смуглый парнишка. Мологин не заметил, когда он оказался там. Он подымал плечи, бил себя рукой в грудь, припрыгивал, длинные темные его волосы спутались. Он был в великом горе, и горе его не было поделельно.

— Я чуждый, я? — кричал он высоким срывающимся тенором. — Я от отца давно ушел, братцы! Спросите! Орлова всякий знает. Батька — не дьякон, а дьячок. То дьякон, а то дьячок! Как можно говорить без разумения... Какой я чуждый? Я с малых лет вор. Вот и Мосеев скажет. Я в тюрьме сидел!

Град вопросов, гневных, насмешливых восклицаний прервал его:

— Ты брось темнить!

— В каких тюрьмах сидел?

— Ты назови: Мосеев, а еще кто?..

— Не поп, так дьяк, а все выходит натак!

— А ты в Новинках в двадцать шестом году вместе с Балкановым не сидел? — громко крикнул Румянцев и встал.

Выкрики вдруг прекратились. «В Новинках», удивился Мологин. Секунду Орлов колебался. Отчаяние мелькнуло на его заостренном лице. Потом он бурно закивал головой.

— Как же, понятно!.. Балканов, — с невыносимо фальши-

вой радостью воскликнул он. — В двадцать шестом году! Конечно! Балканов!

— Новинки — женская тюрьма, — с усмешкой сказал Румянцев. — Так что...

Взрыв хохота покрыл конец его фразы. Каминский укоризненно качал головой и подымал руку. Погребинский с улыбкой говорил что-то Сергею Петровичу. «Решил вмешаться? Не похоже», подумал Мологин.

Орлов прошел в конец зала и стоял возле дверей спиной к Мологину. Он держался за ручку двери, но не уходил. Мологин не видел его лица, но то, что видел — спину и плечи, — не оставляло сомнений: Орлов плакал.

Что же это такое в конце концов? Сколько раз в жизни у следователей, в участках, в камерах судей видел Мологин, как страстно стремились люди доказать, что они не жулики, не воры, как они плакали оттого, что никто не верил им. А вот тут, в коммуне, пришлось увидеть человека, который заплакал потому, что никто не хотел ему поверить, что он вор. Сумасшедшие вещи творятся на свете! И что за сила, которая может так притягивать сюда хотя бы вот этого Орлова? Что ему здесь так ценно и так дорого? Ведь он может жить, где угодно, может найти для себя работу в любом другом месте...

Коммунары постановили Орлова из коммуны исключить, а Мосеева передать конфликтной за обман. После этого началось дело Рогожина и Ласкирика. И хотя Мологин был взволнован поведением Орлова, точно часть той тяжести, которая так сильно придавила Орлова, перешла на него, тем не менее дело Рогожина и Ласкирика теперь его уже почти не интересовало. Если Мосеева оставили потому, что он «свой», и Погребинский и Богословский оба молчаливо признали, что это правильно, так и полагается, то Рогожин и Ласкирик оба были «своими». А своих «перевоспитывают».

Говорил член конфликтной комиссии — франтоватый парень с вьющимися жесткими волосами и выпавшим или выбитым передним зубом. Он говорил, присвистывая, что пора перестать нянчиться с Рогожиным и Ласкириком, их прощали и предупреждали много раз, и если люди не понимают, что коммуна — не шалман, то, значит, они не хотят быть в коммуне.

— Их придется исключить, — закончил он решительно и пошел со сцены.

«А ты, малый, часом не был с ними в кустах?», насмешливо подумал Мологин. Выступление было явно несерьезным, вероятно, рассчитанным на то, что оратора слышит Погребинский, что как бы ни решилось дело Рогожина и Ласкирика, проявленное усердие не пропадет. И действительно, вслед за кудрявым попросил слово один из воспитателей. Он сказал,



что не нужно горячиться, что надо продумать и взвесить все, чтобы быть совсем уверенным в правильности того решения, которое собранием будет принято. Мологин самодовольно усмехнулся. Было приятно, что чрезмерное «старание» франта из конфликтной получило такой быстрый и недвусмысленный отпор. Вряд ли теперь кто-либо позавидует его лаврам. Выступление воспитателя явно задавало тон. Но и Осминкин, и Накатников, и еще несколько ребят — все они, выступавшие один за другим, к удивлению Мологина повторили кудрявого. Они говорили, что горячиться, конечно, не следует, но в отношении Рогожина и Ласкирика все ясно и все давно взвешено: они позорят и разлагают коммуну, и для того, чтобы действительно подготовиться к приему из тюрем новых ребят, этому нужно положить конец.

Большевики молчаливо выслушивали каждого. В их сдержанности и отсутствии реплик Мологину чудилось желание выждать, узнать наверняка, что думают воспитатели, чудилось скрытое неодобрение. Он посмотрел на Погребиньского. Тот был строг и пасмурен. «Перестарались», язвительно подумал Мологин. «Что же? Сказать?» Он встал и, грузно ступая ногами в юфтовых сапогах, пошел на сцену. Ему показалось на мгновение, что он не может произнести ни слова. Внезапный взрыв шума и наступившая особенная, затаившаяся тишина, множество возбужденных, сливающихся лиц, движение, с которым Богословский сказал что-то Накатникову... Почему такая тишина, такая невыносимая, предательская тишина?.. А вдруг Мологин ошибся, вдруг это неправильно, что он подумал о коммуне, о себе, все что он думает сейчас сказать?

Каждое слово, которое он произнесет здесь, будет услышано, будет взвешено, будет учтено. Как он не подумал об этом! Он точно приблизился к пропасти и увидел дно. И письмо к Горькому, и выступление Гуляева, и слезы Орлова, и несчастный вид Рогожина и Ласкирика, и то, что делали они тогда в кустах, — все вдруг увидел Мологин иначе, новыми глазами.

— Исключить можно, — произнес Мологин, ему послышалось, очень уверенно и очень звучно.

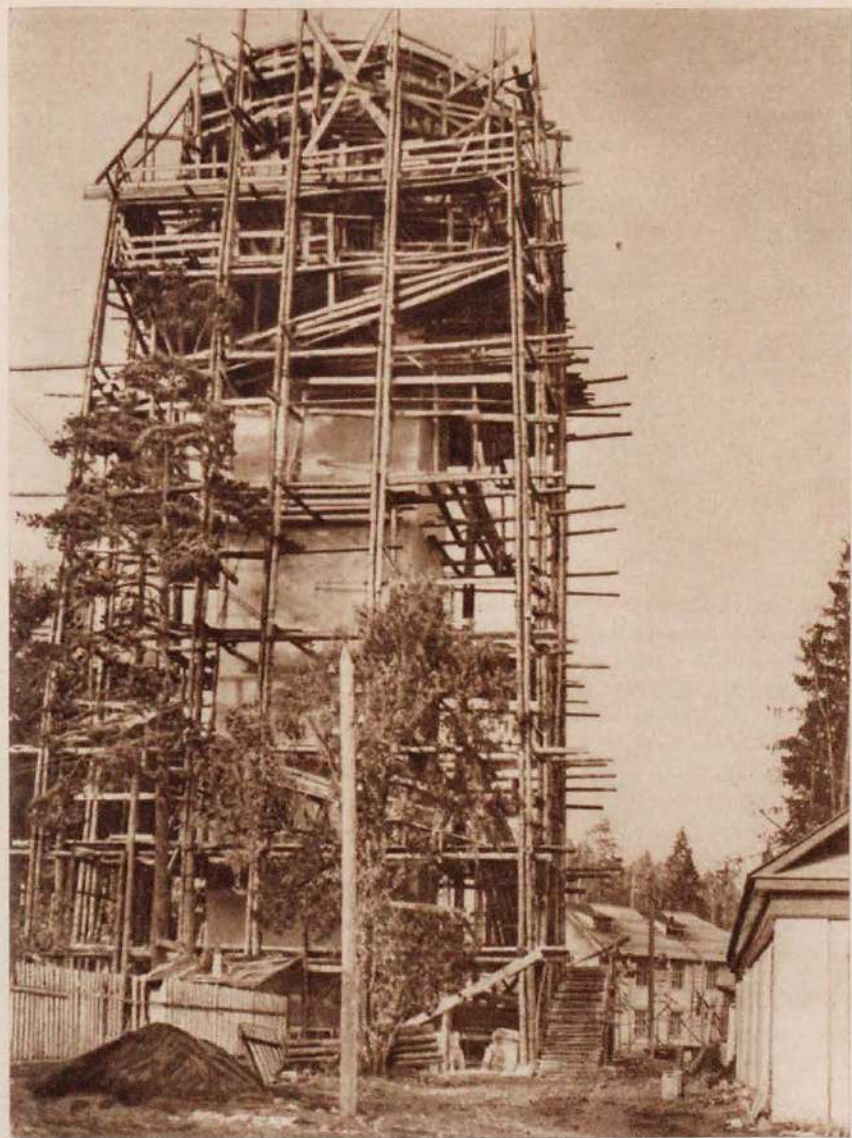
В задних рядах крикнули: «Громче».

— Исключить можно, но будет ли это верно, будет ли разумно? — говорил он, набирая побольше воздуха.

— Это будет неправильно! Это будет жестоко, — крикнул Мологин.

Было похоже, будто все, кто сидел здесь в зале, одновременно вздохнули, и вздох этот был непонятен. Он пугал.

— Да, будет жестоко, — крикнул снова Мологин дрогнувшим голосом. — Исключить, опять в тюрьму! Здесь все урки...



Водоопорная окончена, остается убрать леса



Здесь все воры и жулики... Точно с другими не бывает того же самого? Сегодня ты его исключишь, завтра — он тебя. Тут злоба! И кто тогда в коммуне останется? Конечно, поступать, как Рогожин, в коммуне нельзя. Нужно влиять через культурный подход. Со временем, может быть, и они перевоспитаются. Но не исключать. Никого нельзя исключать! Это не нужно, это неправильно...

Шум, грохот, яростный рев оглушили его. Он сказал что-то еще, но и сам не услышал своих слов. Он стоял бледный и растерянный. Он, Мологин, каждое слово которого еще вчера вот для этих же самых было бы законом. Он посмотрел для чего-то на раскрасневшегося Румянцева, тщетно призывающего к порядку, и, отойдя, сел на свободный стул. «Какая чудовищная неосторожность! И что он говорил... Чорт знает, что он наговорил. Не нужно было совсем выступать ему». Он поискал глазами Погребинского. Слабая надежда еще теплилась в нем. Лицо Погребинского казалось темным, на переносицу легла морщина, прямая и острая, точно стрела.

Теперь говорил Дима Смирнов, и шум вдруг улегся, и юношеский голос Димы звенел в тишине, как туго натянутая струна.

— Дядя Алеша, борода у тебя рыжая, голова у тебя лысая, — бросил он с насмешкой. — Живи с нами, работай! Помогай нам — ты умный. Но своих порядков у нас не заводи! Ты что думаешь! Мы меньше тебя себе добра хотим? Меньше тебя коммуны любим? Ты думаешь — жулики, так воровать можно? Один украл и всем — пожалуйста? Не будет, не выйдет! Кто плюет на наши порядки, мечтает прикрываться коммуной, тому у нас места нет. Таким, как Рогожин, у нас места нет... Здесь нет воров и жуликов! Здесь коммунары! Плохо, я скажу, ты, дядя Алеша, коммуны узнал.

Мологин сидел, отяжелев, опустив плечи, почти не разбирал слов. Какой стыд! И Погребинский и Сергей Петрович, оба здесь, оба все слышат. Что они могут теперь думать о нем? Увидел кусты, а из-за кустов не разглядел леса... Какой противный голос у этого мальчишки... Хоть бы один, хоть бы кто-нибудь поддержал!.. Что же это за люди? Разве это те жалкие воришки, которых Мологин презирал, считал за ничто? Это совсем другие, совсем особенные люди. Мологин не знал таких. Что могло переменить их так неузнаваемо?

Из комнаты, где переодевались актеры на клубных вечерах, вышел Каминский. Он постоял в дверях, оглядываясь во все стороны. Потом пошел на цыпочках и, поравнявшись с Мологиным, кивнул ему.

— Алексей Александрович, — шумным напряженным шопотом позвал он.

Мологин пошел рядом с ним, выпрямив спину и подняв го-

лову. В комнате были Накатников, Гуляев, Новиков. Сергей Петрович мучил свою бородку. Мологину он показался удрученным и взволнованным. Возле окна стоял Погребинский. Он туго натягивал полы кожанки руками, опущенными в карманы.

— Матвей Самойлыч! Здравствуйте! — с деланной бодростью сказал Мологин.

Погребинский не изменил позы.

— Ты — двоедушный человек, — сквозь зубы произнес он. — Напрасно я поверил тебе.

— Матвей Самойлович! — воскликнул Мологин в отчаянии.

Слова Погребинского разрывали сердце. Думал ли он когда-нибудь услышать подобное? Этого ли хотел? Об этом ли мечтал? Заплакать бы вот так, сгорбившись, вскинув плечи, как плакал Орлов.

— Да, я Матвей Самойлович, — с презрением сказал Погребинский. — Что ты делаешь? Понимаешь, что ты разваливаешь коммуны? Только руки короткие, шею намнут. Они, они намнут! — движением головы он показал на двери. Оттуда доносились голоса.

— Они тебя, «пахана», на клуб посадили. Такое дело тебе доверили. Вот и Новиков и Каминский тебя выдвигали. Как ты думаешь, для чего? Чтобы ты шалман сделал?

«Хотя бы Новикова-то не было», тоскливо подумал Мологин.

— Ты ходишь по коммуне и все думаешь, что у тебя самый высокий рост. Тебе, видишь, негоже с другими себя равнять. Ведь ты — пахан!.. Пусть себе Накатников и Каминский — как знают. А ты не такой, ты — старое помнишь. Что тебе коммуна?.. Только бы Рогожин с Ласкириком худого чего не подумали... Ну-ка скажи, как это назвать? Ты — старый вор, тебя уважили, приняли, поверили, что помогать будешь. А ты о чем думаешь? Кому стал помогать?

— Матвей Самойлович, — перебил Мологин. Голос его был хрипл и невнятен. — Я понимаю... Повеситься надо! — добавил он внезапно, одновременно быстро заглянув в глаза Погребинскому.

— Защитник, видишь ли, радеть! «Никого нельзя исключать». Душа, добряк парень! Во всех шалманах теперь скажут: «Алеха-то наш, во!» Вот кому ты помогать начал. Вот на кого ты стал работать, — продолжал Погребинский. Он точно не слышал Мологина.

— А спросил ли ты, сколько Сергей Петрович греха принял на душу, укрывая от общего собрания вот этих твоих Рогожина с Ласкириком? Поинтересовался ли ты, сколько ночей и Богословский, и Накатников, и Николаев просидели с ними, убеждали да уговаривали? Тебе неинтересно? Понятно. Ну,



а о том ты подумал, что не исключить этих теперь, так завтра десятки новых начнут воровать и пить — раз это можно, раз позволятся. А чем все они могут кончить? Ты не знаешь, чем они могут кончить? Ты не думаешь, что в конце концов они могут просто погибнуть? И мы — мы с тобой были бы виноваты в их гибели! Ну, так зато же мы с тобой добрые, мы с тобой не жестокие! Зато же нас Васька Козел похвалит. Пускай себе гибнут, нам-то до них что!

— Матвей Самойлович, — сказал Мологин. Комната кружилась и плыла у него перед глазами. — Матвей Самойлович! — Мологин беспомощно оглянулся. Ни одни глаза не приняли его взгляда. — Лучше мне, наверное, обратно, назад, — глухо сказал он.

Погребинский вдруг качнулся и отскочил от окна.

— Назад! — закричал он, словно в великой радости. — Нет! Не назад! Нет дороги назад! В нашей стране никому нет дороги назад! Ты свои эти штучки брось! Ты будешь итти вперед! Ты будешь итти *только* вперед! — Он выхватил руку из кармана кожанки и помахал пальцем.

— Толстовец ты, а не вор! Вешаться вздумал! — глаза Погребинского блеснули насмешкой. — Хватит, Мологин! Будет, довольно юродствовал! Сегодня же после собрания пойдешь с воспитателями по общежитиям. Слышишь? И будешь объяснять всем, почему нельзя пьянствовать и воровать, почему ты считаешь, что за это нужно исключать из коммуны. И так объяснять, чтобы каждый понял и согласился. А не пойдешь, не захочешь... — Погребинский широко махнул рукой. — Тогда делай, как знаешь. И слышать о тебе больше не захочу.

— Пойдем, Алеха, — участливо сказал Каминский и тронул Мологина за плечо.

— В барак надо будет пойти, — вмешался Сергей Петрович. Тон, движения, выраженке его лица были деловиты и будничны. — В барак обязательно надо сходить — там народ новый.

# СЕКРЕТ ПОБЕДЫ

**П**осле того как Мелихов принимал участие в организации Звенигородской коммуны, он недолго прожил в Болшеве. Здоровье все чаще стало изменять старику.

— Пора в отставку, — спокойно говорил он ребятам. — Хватит, поработал. Теперь дело у вас пойдет: народ подрос, сменить меня есть кому.

Вскоре он действительно покинул работу и перешел на пенсию. По старой памяти болшевы изредка навещали его.

Старик был очень доволен вниманием и поил их чаем с вареньем.

Нового управляющего коммуной, Михаила Михайловича Кузнецова — так представил его на общем собрании Богословский — ребята встретили аплодисментами. Плотный, ладно сложенный, с круглой коротко остриженной головой и большими серыми глазами, он производил впечатление простого жизнерадостного человека, с которым легко будет ладить.

— Погодите! Аплодисментов ваших я еще не заработал, — сказал он, кашлянув. И произнес недлинную речь. В ней досталось и мастерским, недостатки которых он каким-то образом уже знал, и кое-кому из лодырей и филонов. А он пробыл в коммуне всего одни сутки.

На другой день ранним утром Новиков — один из старых членов коммуны, работавший в кооперации, — увидел нового управляющего с засученными рукавами и лопатой в руках. Кузнецов взрыхлял землю под окном того дома, где была его квартира. Лопата блестела, ломти вязкой земли ложились рядами.

— Хочу цветничок разбить. Веселее будет, — сказал Кузнецов, заметив удивление Новикова.

— Ага, да, конечно! — сказал Новиков, хотя удивление его несколько не стало меньше.

— Нужно покончить в коммуне с запущенностью и грязью, — сказал Кузнецов. — Где грязь и сор, там не может быть ни здоровой жизни, ни хорошей работы.



Новиков ушел недоумевающий и оскорбленный: разве в коммуне на самом деле такая большая грязь!..

Кузнецов родился в бедной крестьянской семье. Малоземелье, беспшлелье. Отец отвез двенадцатилетнего сына в Петербург, через земляка пристроил работать за хлеб в обойно-драпировочной мастерской, чинившей изношенные диваны и кресла. Безработица выгнала Кузнецова с котомкой за плечами в Москву. Он работал с сезонниками. Случай привел за кулисы театрала «Миниатюр», где неумелой еще рукой Кузнецов подмалевывал пропахшие пылью и крысами декорации.

Отсюда перешел в театр Корша на Большой Дмитровке. Там декораций писались по эскизам настоящего художника, внимательного, сердечного человека. Он заметил одаренность Кузнецова и устроил его в вечерний класс Строгановского училища.

Краски полонили Кузнецова.

Он смотрел на московский закат и распознавал в нем кармин и кадмий, берлинскую лазурь и золотую охру. Ожили, стали понятными, по-дружески заговорили с ним с полотен Третьяковки Репин, Куинджи, Левитан. Кузнецов вырисовывал себе четкие контуры жизни: помощник декоратора, декоратор, художник. Но когда была выполнена первая часть программы и он, Кузнецов, стал декоратором, кисть оказалась обузой в вихре событий. Он сменил ее на винтовку, стал красным бойцом.

На границе белой Финляндии ему выпала на долю честь огласить в своей части телеграмму о ликвидации карельского фронта; часть уехала, а он, Кузнецов, волей партии остался пограничником.

Эскизы карельских пейзажей все чаще и чаще заменялись тезисами докладов. Кузнецов возмужал на партийной и чехословацкой работе.

В Карелии, в Ленинграде, в Москве Кузнецов работал в органах ОГПУ, и только точные критические замечания о декорациях, когда он изредка бывал в театре, изобличали в нем вчерашнего декоратора. Может быть, отчасти это и сказалось в том, что неряшливый, непривлекательный вид коммуны нашел в нем такого непримиримого врага. Щебень, щепы, мусор вперемежку со снегом широко окружали строящееся четырехэтажное общежитие и завод коньков, придавая всему вид неуютный, неряшливый. Внешне коммуна еще походила на деревню. По-провинциальному тускло смотрели окошки бывшего крафтовского особняка, по-провинциальному выглядели четыре первых низеньких фибролитовых домика.

Большевики жили в фибролитовых домах, на частных квартирах в деревне Костино, отчасти в бараках. Давно механизированные, резко увеличившие объем производства и дающие

прибыль фабрики и мастерские коммуны еще не все имели соответствующие их потребностям помещения. Особенно плохо было с обувной. Она все еще помещалась в старой конюшне. Было там грязно, душно, стоял тяжелый запах кожи, клея и вара. Низкие перекошенные потолки грозили рухнуть. С бревенчатых стен бахромой свисала пыльная паутина.

Ребята пригляделись к обстановке, не замечали ее. Они любили коммуны, где все было сделано их руками, верили в ее будущее.

На окраине села Костино,  
Где жил Ленин — учитель и друг,  
Тихой осенью, в дни ненастные,  
Создавалась коммуна не вдруг.  
По кирпичику и по бревнышку  
Прокладали дорожку и путь,  
Время первое было трудное,  
И боялись к пути мы примкнуть.

Эта сложенная кем-то из ребят на мотив «Кирпичиков» нехитрая песенка не переставала раздаваться в цехах. А болшевец Лежев на каурой мохнатой клячонке, в огромной бочке ежедневно привозил в коммуны воду. И мало кому это бросалось в глаза.

Хуже всего выглядела площадка против управления коммуны. Между непросохшими лужами скупно кустилась трава, валялись обломки кирпича, ржавые консервные банки. На случай дождя были брошены узкие деревянные кладки. Кузнецов организовал субботник. В выходной день на глинистой площадке закипела работа. Девушки сгребали граблями мусор, расчищали место для клумб и газонов. Молчаливый Лежев подвозил яркозеленый дерн. Кузнецов в центре площадки с лопатой в руках сооружал вторую клумбу в коммуны. А на ближайшем общем собрании по предложению бюро актива был принят план озеленения коммуны. Она разбивалась на участки, к каждому участку прикреплялись комиссары озеленения. Мало-помалу коммуна входила во вкус этих похожих на праздник веселых работ. Забота о зелени, о чистоте вращалась в быт, переходила в число традиций коммуны.

С первых же шагов новый управляющий коммуной понял, в чем секрет успехов коммуны, достигнутых таким небольшим коллективом воспитателей. Сила коммуны была в ее самоуправлении и в ее старых кадрах, в ее активе. Коммунары — комсомольцы и члены партии, — конфликтная и аттестационная комиссии, производственные тройки и совещания в мастерских, клубный совет, клубные кружки — все это представляло разветвленную систему расстановки лучших людей коммуны. Вновь прибывший не был предоставлен самому себе. Он попадал в эту



систему. Куда бы он ни пошел, чтобы ни делал — всюду находил людей, оказывающих ему поддержку и помощь. «Перевоспитывать воров усилиями бывших воров — вот в чем все дело!» И Кузнецов отбирал из активистов воспитателей в общежития и цехи, добивался того, чтобы не было такого дела в коммуне, которое казалось бы воспитаннику не касающимся его.

Мологин был втянут в этот круговорот коммунской общест-венности. По совету Кузнецова он перестал работать на обув-ной фабрике. Вскоре он убедился, как правилен был этот совет. Клуб должен быть одним из важнейших рычагов перевос-питания. Но справится ли с этим Мологин, хватит ли у него гибкости и умения! Вечером, ложась спать, он думал о клубе. Маленький тесный домик с низенькими потолками мерещился ему во сне. Чуть занималась заря, он уже просыпался в заботе и тревоге о нем.

— Неужели прежние наши дела были полегче? — говорил он иногда Каминскому. — Ведь вот все думаю, если не справ-люсь, как тогда я...

Шутливостью тона он маскировал отсутствие самоуверен-ности. Спокойствие и рассудительность Каминского неодоли-мо влекли к нему. Каминский улыбался одними глазами — он понимал шутку.

— Ну, понятно, как тебе справиться, — соглашался он. — Все о себе будешь раздумывать. Какие тут еще другие дела?

Мологин натянуто смеялся.

Время от времени он ездил в Москву, ходил по учрежде-ниям и складам, присматривал, что может пригодиться ком-муне, заводил знакомства и связи, составлял сметы и требования, толковал с представителями и кладовщиками, объяснял всем, какую исключительную важность имеет дело перевоспитания молодых правонарушителей. И часто он добивался того, что в коммуну приходили автомобили, груженные клубным имуществом.

— Значит, вы заведуете там клубом? — спрашивали Мо-логина учрежденческие бухгалтеры и управделы. — Небось, не легко, жутко приходится с этими бандитами! Того и гляди, ножиком в бок?

Мологин улыбался с иронией:

— Уж не такой это страшный народ, как кажется! Да и не бандиты у нас, а бывшие жулики. Поработали бы с ними столь-ко, сколько я, и вы бы не боялись. Уж вы поверьте мне!

Он добыл кресла, декорации, костюмы для драмкружка, со-брал ребят, умеющих рисовать, украсил стены клуба карти-нами и лозунгами. Почти все, что требовалось для спорта,

давали мастерские коммуны. Он работал терпеливо, настойчиво, стараясь все предвидеть, ничего не упустить. Знание людей, умение пользоваться обстоятельствами — качества, выработанные в прошлом для совершенно иных дел, — и здесь приносили пользу. И все же на каждом шагу, особенно в дни подготовки к большим клубным вечерам, когда захлестывал поток мелочей, непредвиденных осложнений, он убеждался, что его прозорливости недостаточно. Если бы не актив — члены совета, кружковцы, музыканты с их неистощимой энергией и предприимчивостью — он иногда просто не знал бы, как выходить из затруднения. Он видел помощь со стороны активистов и не мог не ценить ее.

В чем сила и преимущество этих людей? Разве они не такие же, как и Мологин? Не всегда ведь и они были членами профсоюза и комсомольцами! Вот Беспалов не спит ночей, возится с прикрепленным к нему новичком, пьяницей Аладьиным. Не построено ли в коммуне все на таком самоотвержении, готовности забыть о себе, о своих интересах и потребностях?

Каждую новую партию урок, приходившую в коммуну, Мологин изучал сам. Он разговаривал с вновь прибывшими, выявлял их вкусы и склонности, старался привлечь в клуб. Среди них были и женщины. Клуб нуждался в исполнительницах женских ролей, в танцовках и хористках. Мологина заинтересовала одна из женщин, прибывшая с партией из Казахстана.

— Ну, а вы что? Такая скромница. Может быть, умеете на сцене играть, в пьесах? — спросил он ее.

Женщину звали Анна Величко. Она смущенно улыбалась, теребила платок. Она не умела ни петь, ни играть на сцене. Ее простое, детски свежее, наивное лицо и стесненные, точно связанные движения выделяли ее среди развязных, грубых товаров. Она сказала Мологину, что работала «по домашней». Мологин пожалел, что она ничего не умеет.

— Вы все-таки приходите к нам в хоровой кружок, мы пробуем голос. Вы ведь любите пение?

— Люблю, — подтвердила Величко неуверенно. Возможно, что она в первый раз в жизни подумала об этом.

Вечером у Богословского говорили о том, что при возросшем числе воспитанников — теперь их было свыше пятисот человек — надо учиться сочетать индивидуальный подход к каждому с методами массового воспитания людей. Говорили о растущей ответственности актива. Мологин думал о Величко. «Прошла огонь и воду, а совсем неиспорченная», удивлялся он.

— Мало разоблачительных заметок в стенгазетах. Актив должен раскачиваться, — говорил воспитатель Северов, не-



высокий темноволосый покладистый человек, недавно начавший работать в коммуне. Он прихлебывал горячий чай, помещивал в стакане ложкой.

«Вот так бы посидеть, попить чайку, поболтать о чем-нибудь с приятелями», неожиданно подумал Мологин.

— Еще несколько «стариков» думаем взять. Ты ведь, Мологин, знавал Бабкина? — сказал Сергей Петрович.

Он смотрел на Мологина с улыбкой. Мологин выдержал взгляд.

— Знавал, случалось, и чай вместе пили! — быстро, развязно произнес он, прикрывая неласковые зеленоватые глаза.

— Просится к нам, — сказал Сергей Петрович.

Мологин промолчал. Он ушел под каким-то предлогом раньше других. Он прошел коммуну, деревню, вышел в поле. Тут в это время, в этот час, вряд ли кто мог наблюдать за ним. Тут он был наедине с собой.

На черном небе сверкала россыпь голубоватых звезд. За лесом шумел поезд, слитный гул его колес становился все глуше и отдаленнее. «То-то! — думал Мологин. — Сообразили, «святители»! Он торжествовал свою победу над кем-то неопределенным, многоликим, чью несправедливость, бессмысленную тупую злобу не переставал чувствовать. Он бы запел, если бы не опасался, что его примут за пьяного. «А в сущности, что произошло особенного? Ну, просится и просится. Мало ли приходит теперь людей в коммуну?»

Конечно, дело не в Бабкине. Ничего не мог значить сам по себе этот несамостоятельный, безличный человек. Но если даже он расхрабрился, даже он осмелился! Как правильно поступил Мологин, как мудро сделал, когда решился пойти на этот путь.

Бабкина он увидел только на собрании, где стоял вопрос о его приеме. Оробевший, вялый, Бабкин мало походил на того великодушного, распутившегося наглеца, каким помнил его Мологин с последней встречи.

— Здорово, Миша, — подошел к нему Мологин.

В белесых круглых глазках Бабкина мелькнула растерянность.

— Леха? — узнал он и вздохнул, рябое лицо его расплылось в улыбку.

— Значит, надумал сюда? — сказал Мологин.

Бабкин воровато оглянулся и захихикал.

— А что ж? Конечно! Дураков нету, — зашептал он, вплотную придвигаясь к Мологину. — Раз теперь все бросают... — Он хотел сказать еще, что если бы не знал, что Мологин в коммуне, вероятно, не сделал бы этого. Но не посмел.

Мологин избегал новых встреч с ним, избегал встреч с Величко. Он понимал теперь, что он слишком заметный урка, что от него требуется больше, чем от обыкновенного болшевеца. Жить в коммуне для него могло значить только одно: быть безукоризненным примером для других.

Но почему-то выходило так, что Величко он встречал всюду. А встретив, не мог удержать радостной улыбки, не мог не остановиться и не поговорить с ней. И все в коммуне странным образом повертывалось к нему теперь таким углом, который прежде оставался как бы в тени. Болшевец, гуляющий под выходной день со своей женой и сыном, вопрос о яслях, поднятый на активе, споры женатых болшевцев из-за лучших квартир — все эти мелочи быта теперь казались необыкновенно назойливыми, задевали, даже раздражали Мологина. Зависть? Во всяком случае — слабость, которой нельзя позволить овладеть собой.

А теперь Мологина почти каждый день стал посещать Бабкин. Он приходил в клуб, подвигал себе стул, усаживался. Мологин терпеливо ждал, когда Бабкину надоест и он уйдет. Тот не спешил. На бледном оспенном его лице лежала всегдашняя глуповатая ухмылка. Он пускался в воспоминания, заговаривал о каком-то банщике, у которого жил до последнего ареста, о кипах драгоценной шерстяной материи, спрятанных им у этого банщика и благодаря коварству этого человека так и пропавших для Бабкина. Он глубоко жалел об этой потере... Мологин вздыхал с искренним облегчением, когда Бабкин, наконец, поднимался. И зачем приходит? Несет всякую околесицу, а в комнате ребята, непрерывная людская толчея. Поймет ли, наконец, Бабкин, что не нужны Мологину ни его посещения, ни тем более его нелепые двусмысленные разговоры?

Все время приходилось быть настороже, напрягать всю силу характера, чтобы не допустить оплошностей и ошибок, быть может, и непоправимых.



# БОЛЬШАЯ СТРОЙКА

**В** коммуны приехал работник ОГПУ Островский. Он осмотрел коммуны и собрал актив.

Коммуны освоили трудное производство главнейших видов спортивного инвентаря. В ней найдены, проверены практикой новые, небывалые еще методы перевоспитания социально-искривленных людей. Дело, начатое партией, руководимое чекистами, росло и развивалось.

Коньки и лыжи, теннисная ракетка и футбольный мяч, парашют и ялик — все более вхожи в быт страны, все более становятся потребностью самых широких масс. Впереди еще небывалый расцвет советского спорта. Мастера металла, угля и хлеба должны быть и мастерами спорта, спорт неотделим от производственной и оборонной мощи страны. Нужно, чтобы Болшево становилось центром, оборудованным первоклассными фабриками и заводами, снабжающими страну всеми видами высококачественного спортивного инвентаря. К этому вели коммуны ее организаторы — товарищи Ягода, Погребинский, Шанин и Островский.

Островский поделился с болшевцами своими впечатлениями и не считал нужным скрывать замеченные им недостатки. Наоборот, прямо, не избегая резкости, он подчеркнул их. Он говорил о пятилетке, изменяющей лицо страны, о перспективах развития спорта, о материальной его базе, создающейся в Болшеве, говорил о директиве Ягоды о расширении строительных работ.

— Соха и мотыга останутся детским воспоминанием, а строим мы тракторные заводы, — говорил он. — Бывший ширмач постиг хитрости ремесла, обувает себя и своего товарища. Нужно, чтобы все более росла его квалификация, росла зарплата, чтобы общественность видела: да, это крепкие ребята, они делают нужные дела. Вы все это знаете, за это боретесь. А обувная мастерская, например, у вас в тесной грязной конюшне. Как же вы миритесь с такой обувной?

Болшевцы молчали выжидательно, немного смущенно.

— Нужна индустриализация. Время полукустарных мастерских отошло. Это понимает, я думаю, каждый коммунар,— продолжал Островский. — Принцип коммуны — «ничего даром». Никаких субсидий и безвозвратных ссуд. Большие фабричные корпуса вы должны построить сами, на свои средства, на средства коммуны, и сами коммунары, особенно активисты, должны решить, что нужно сделать, куда направить прежде всего коммунскую копейку.

Расширение строительства занимало умы всех.

Работник ОГПУ Шанин, худощавый, коротко подстриженный, с тонким моложавым выразительным лицом, и плечистый громкоголосый Островский теперь постоянно приезжали в коммуну. Уже не было большева, который бы не знал их. Гуляев, Мологин, Глазман, Накатников окружали их, делились своими соображениями, получали от них советы и указания.

Ребят волновало больше всего то, что они сами должны были наметить новые объекты строительства, решить вопрос, куда вложит коммуна свои средства.

Нужд обнаружилось много. Большевики спорили. Одни требовали прежде всего хорошую, просторную баню, другие — прачечную, третьи поднимали вопрос о хлебопекарне и о воде. Они спорили ожесточенно, беспорядочно, малодеказательно, тратили на это многие часы. Их споры Мологину иногда казались праздными. Не только потому, что даже самые рассудительные активисты, с мнением которых Мологин привык считаться, обнаруживали в этих спорах удивительно неудержимый полет фантазии. Но неужели нужно поверить, что решение такого важнейшего вопроса действительно предоставлено самим воспитанникам?

Однако Мологину не удавалось остаться в стороне. Больше того, получалось, что именно он оказывается чуть ли не главным спорщиком. У него было больше опыта, трезвости, практического разума. Да и не мог он слушать равнодушно, когда при нем Смирнов предлагал строить кроме обувной и прачечной еще больницу, новую лыжную станцию и такой театр, как в Москве. Осминкин требовал в первую очередь переоборудования стадиона, а кооператор Новиков видел главное в том, чтобы выстроить новый дом для кооператива.

Они готовы были строить все. Если бы принимать всерьез все их предложения, вырос бы целый город.

Может быть, потому, что Мологин все еще чувствовал себя полировщиком уреза, постройка обувной представлялась ему единственно настоящим делом.

Но в конце концов он уступал: почему, действительно, не строить одновременно и фабрику и предприятия, улучшающие быт? Его гибкость всех умиротворяла.



Вскоре после приезда Островского активисты вместе с ним, Шаниным и Кузнецовым были у товарища Ягоды. Они пришли говорить о дальнейшем строительстве. Они рассказали ему о том, как реализуются его давнишние слова: «Работайте хорошо — и у вас вместо мастерских будут первоклассные фабрики, мощные заводы».

Ягода повторил свои слова:

— Да, так. Работайте хорошо, и вы постройте все, в чем испытываете потребность.

— А какова себестоимость ботинка, выпускаемого обувной фабрикой? — неожиданно спросил он.

У Гуляева мучительно скривилось лицо. Он силится что-то вспомнить. Никто не ответил.

— Окупаются ли новые станки на трикотажной?

Молчание.

— Может, вы скажете, когда окупятся станки на деревообделочной?

Болшевы продолжали молчать.

Член коллегии улыбнулся.

— Ну что ж, — сказал он, — очевидно, когда подсчитаете, тогда и продолжим этот наш разговор.

— Мы просим разрешить нам начать в этом году постройку обувной фабрики, хлебопекарни, бани и прачечной, — торопливо, неуверенно произнес Мологин.

— Сколько у вас заработано денег?

— Баланс еще не закончен, по предварительным подсчетам...

— «По предварительным подсчетам», — повторил Ягода. Он помолчал, едва уловимая улыбка опять скользнула по его лицу. — Разве так можно, — сурово сказал он. — Разве так должен знать дело хозяин? Фантазируете, мечтаете, как... дети. Планетарий бы еще запланировали. А сколько имеется средств, никто не может точно сказать.

Он протянул руку и взял со стола мелко исписанный лист бумаги.

— По вчерашний день включительно вы заработали один миллион тысяча сто восемнадцать рублей. Всего, что вы хотите, построить сразу нельзя — нехватит средств. Деньги ваши. Вы вполне хозяева им. Выбирайте: хотите — с завтрашнего дня будем строить новую обувную фабрику, хотите — этот миллион вложим в строительство пекарни, бани и прачечной. Свой хлеб, своя баня, своя стирка... Это неплохо. Неправда ли?

— Обувную, — обеспокоенно вырвалось у Мологина. Ему показалось на секунду, что действительно баню и прачечную могут предпочесть обувной.

— Обувную, — в один голос поддержали его Гуляев и Глазман.

— Иосиф Маркович, коммунары на заработанные ими деньги хотят построить новую обувную фабрику, — обратился Ягода к Островскому. — Нужно это дело оформить и двинуть.

— Хорошо, — сказал Островский.

Потом коммунары пошли в кабинет к Шанину.

Шанин вызвал к себе Лурье, Лангмана и каких-то товарищей из финансового отдела.

Он обратился к коммунарам.

— Мы получили сейчас суровый, но полезный урок, — сказал он. — Мы никудышные хозяева. Огромная страна имеет четкий пятилетний план, а мы живем, как кроты. Мы не знаем, сколько стоит у нас любой предмет, сколько мы заработаем завтра. Можно ли с этим мириться теперь? Вы хозяева коммуны, вы должны знать все, знать цену каждой скобы, гайки.

Он испытующе оглядел болшевцев. Они избегали его взгляда.

— Мы будем сидеть здесь, у меня в кабинете, столько дней и ночей, сколько потребуется, чтобы создать законченный сводный баланс и продуманный план стройки на ближайшие годы.

Да, это был урок. Предметный, плодотворный, незабываемый урок — какими должны быть хозяева.

Болшевцам было поручено самим выработать технологический процесс обувной фабрики. Никогда еще коммуна не жила так напряженно.

О том, что предстоит новый набор, в коммуне говорили давно. Говорили, что набор будет большой — об этом сказал болшевцам Островский в один из своих приездов — стало быть, возьмут пятьдесят, а может быть, даже и сто человек. Но цифры, названной Островским на заседании бюро актива, никто не ожидал: четыреста-пятьсот человек! Увеличить коммуну более чем вдвое! С этим трудно было освоиться, к этому нужно было привыкнуть.

Высказались активисты Глазман, Новиков, Гуляев, Каминский. Никто не возражал Островскому, никто ничего не имел против приема больших партий, но никто в сущности и не поддерживал. Опасались, что пятьсот правонарушителей, принятых одновременно, «растворят» в себе уже перевоспитанных коммунаров. Опасались, что волна «новых» ударит по законам коммуны, внесет много огромных трудностей; что начнутся групповые побеги, за новичками могут потянуться и старые болшевы. Кто-то предложил взять то же число правонарушителей, но не сразу, а небольшими группами по мере некоторой обработки каждой группы в коммуне. Вспомнили о жилье. Свободного жилья не было. Не обрекались ли благодаря этому те, кто будет взят вновь, на существование под



открытым небом? Много опасений было высказано на активе, и получилось так, что «новых» взять можно, но ничего хорошего от этого не приходится ждать. Тогда резко выступил Кузнецов:

— Чего вы испугались? Вы — лучшие передовики, актив, — сказал он. — Что же вы не понимаете, что методы нашей работы в коммуне оправдались полностью, что пора их приложить шире, к большому массам? Или вы думаете сделать это каким-то лишь вам известным способом — без трудностей, без опасения, без забот?

В комнате висел сизый плотный табачный дым. Да, инерция была. Привычка к отстоявшимся, несложным темпам и масштабам. Этому нужно было дать бой.

Островский снял шинель.

— Вы любите коммуны, — сказал он. — Вы настолько ее любите, что боитесь брать новых людей. А вдруг они не братья, а дальние родственники? Еще бы вам не знать их воровские повадки. И вы трепещете за коммуны. Но как? Как мелкие собственники, как себялюбцы: дешевая любовь, дешевая тревога! Те, кого мы предлагаем вам взять, такие же, какими вы были вчера. Но вы уже получили кое-что, взяли свое, и вам теперь нет дела до других. Хорошо, это ваше дело. Но растущее производство не может удовлетвориться наличием воспитанников. Значит, будем брать вольнонаемных. Не хотите брать своих товарищей по несчастью, не хотите помочь им? Ладно, пусть коммуна станет коммуной вольнонаемных, если вы этого хотите.

Первым заговорил Накатников. Он заговорил горячо, даже не попросив слова.

— Прав Островский, прав Кузнецов, — страстно сказал он. — Мы забыли слова товарища Ягоды, те слова, которые нужно было выжечь в наших сердцах: «Вырабатывая из себя сознательного пролетария, помогай сделаться таким же и другому». Сила коммуны — в труде, в коллективе. Хотим расти, хотим, чтобы был город. А перед первой же трудностью оробели, готовы залезть в кусты. Стыдно нам.

Каминский и Глазман молчали. Обидны слова Островского. Но разве они высказывали свои опасения потому, что не хотели помочь другим?

— Конечно, если по условиям производства нужен прием, то тогда надо бы брать наших ребят, — заговорил Новиков. — А насчет жилья, можно бараки...

Кузнецов удовлетворенно кивнул головой.

— Придется честно признать свою ошибку, — неторопливо сказал Каминский. Он всегда говорил медленно. — Накатников, пиши: «Принимаем пятьсот». И от трудностей у нас еще

никто не лазил в кусты, — добавил он едко, но уже не для протокола.

На другой день после решения актива о приеме пятисот человек приехал начальник инженерно-строительного отдела ОГПУ товарищ Лурье.

Весь в черном, черноглазый, гладко причесанный, он показался ребятам воплощением организованности и точности. Он привез с собой синюю кальку, на которой искусный рейс-федер чертежника нанес план обувной фабрики, обширной, светлой, со стеклянной крышей.

— По заключению специалистов, — сообщил Лурье, — технологический процесс разработан коммунарами безукоризненно. Он без поправок положен в основу проекта. Особенно примечательны соображения о коридоре. Мы просмотрели несколько планов больших и малых обувных фабрик. Как правило коридоры запланированы по середине. Ребята благодаря знанию практики производства доказали, что коридор надо сделать сбоку. Мы взяли именно этот вариант.

И такой огромной важности факт, который в другое время обсуждался бы всей коммуной не одну неделю, теперь промелькнул как эпизод.

Третий день почти без перерывов в ХОЗО шло заседание, включавшее производство коммуны в государственный план пятилетки.

Кузнецов приехал в Болшево почерневший, небритый. Он привез с собой еще нового для большевцев человека — архитектора Черикова. Чериков ходил по коммуне с картой-пятыверсткой в руках, морщился, крутил носом. Леса и болота смущали его. Нужно было дать чертеж предстоящей стройки, но генерального плана самой стройки, цифр и расчетов не было. Чериков впервые сталкивался с такой невероятно трудной задачей.

Он помнил свой разговор накануне с Лурье и Лангманом. Лангман был старый, опытный архитектор, талантливый, энергичный человек. Для Черикова его слова имели большой вес. Лангман сказал:

— Территория коммуны с разбросанными постройками — и унаследованными и вновь выстроенными — поражает отсутствием планировки. Что касается характера старых домов, то это типичные помещичьи и мещанские постройки. Это, разумеется, неприемлемо. Нужен план. Нужно разместить объекты строительства — улицы, площади, парки, пруды, — чтобы все получило свое место, соответствующее назначению. Нужно создать замкнутый хозяйственный комплекс, развивающийся по строго плановым путям.

Ну что же... Нужен план — значит, он будет!





Коммуну строили коммунары. На субботнике разгружают стройматериалы

Чериковер работал всю ночь. Под утро в квартире Кузнецова на простом листе бумаги была набросана грубая схема плана будущего городка. Территория разбивалась на секторы. Там, где были мелкий хвойник и ржавое болото, резкие линии обозначали границы производственного сектора, площади фабричных корпусов; левее большой участок был отведен под бытовой сектор — клуб, учебные заведения, баню, прачечную, кухню. На поселок у станции Болшево, на серенькие избушки Костина наступали цветные прямоугольники — будущие жилищные комбинаты.

Карандаш Чериковера смело кромсал на карте болшевскую географию. Архитектор покачивал головой, он словно желал сказать: «Мне что, я вычерчу, чертить я умею, но посмотрим, как вы осушите болота и выстроите корпуса».

А еще через два дня, в свежее прохладное утро, на фабриках коммуны произошел внезапный простой.

Люди бросали цехи, выбегали на улицы, закидывали вверх головы и стояли, как зачарованные. Над коммуной, рожая пропеллером, сверкая серебристой оболочкой, низко, почти бреющим полетом плыл самолет. Он описывал плавные круги, может быть, ища места для посадки, — но где тут снизиться? Лес, буераки, болото.

Ребята спорили, высказывали свои соображения и догадки под густой, волнующий гул воздушного гостя. Кто-то пустил слух, что это Кузнецов осматривает коммуны сверху.

Производство стало. Обеспокоенный Богословский спешил к столпившимся болшевцам. Нужно было немедленно прекратить этот массовый, похожий на катастрофу прогул. Богословский шел крупным шагом к группе ребят, в центре которой стоял воспитатель Борис Львович Северов. Когда-то Северов готовился в летчики и теперь казался ребятам авторитетным консультантом. Северов убеждал ребят вернуться в цехи.

— Что это такое?.. Дети вы, что ли? Слышите? По местам! — закричал Богословский, хмурясь, но и сам искоса поглядывая на низко летящий самолет.

— Михаил Михайлыч коммуны сверху высматривает, — откликнулся кто-то из ребят.

Это звучало солидно, походило на уважительную причину и как бы объясняло прогул. Но точно спеша опровергнуть это голословное утверждение, из-за поворота показался маленький синий фордик. Из него вышел Кузнецов.

Ребята окружили его.

Кузнецов с первого взгляда понял все.

— Это по распоряжению ХОЗО производят аэрофотосъемку коммуны, — сообщил он.



Потом объяснил ребятам, что объектив аэрофотоаппарата имеет максимальную резкость, обладает большой светосилой и большой кроющей способностью. Пообещав показать в скором времени аэрофотоснимок коммуны, Кузнецов заключил тоном, не допускающим возражений:

— Люди работают, давайте работать и мы...

Порядок восстановился. Директоры и руководители успокоенно утирали пот.

Теперь — что ни день — в коммуну приезжали новые люди. Грузовики подвозили песок, бочки с цементом, дикий известняк, желтый, как парафин, тес, кирпич.

Утро начиналось шумом, говором, песнями. К маю строительный материал для обувной фабрики был изготовлен, чертежи уточнены, и даже вырыт котлован. Можно было начинать стройку.

День закладки обувной фабрики выдался ясный и безоблачный. После завтрака около котлована собралась вся коммуна. Из Москвы приехали товарищи Шанин и Островский.

Заиграл оркестр. На трибуну поднялся Гуляев. Он думал поговорить о прогулах, о плохом выполнении производственного плана, но, оглядев радостные лица ребят, сказал только:

— Праздник труда, праздник закладки обувной фабрики считаю открытым...

Вслед за ним на трибуну поднялся Островский.

— В этом году, — сказал он, — мы вкладываем в строительство первой коммуны миллион шестьсот рублей, на следующий год планируем вложить четыре миллиона, а еще через год будет вложено десять миллионов.

В руках Островского блеснула на солнце медная дощечка.

Он поднял ее и прочел:

«Спортивно-обувная фабрика первой трудовой коммуны ОГПУ заложена 2 июня 1930 года. Первый кирпич клял старый коммунар товарищ Генералов».

Генералов был скромный, ничем не выдающийся коммунар. Но он был один из старейших. И он первый, даже раньше Гуляева, правда, с ворчанием и руганью, согласился сапожничать. Еще он был известен болшевецам своей любовью к разведению поросят и случаем, который у него вышел с Шаниным. Осматривая коммуну, товарищ Шанин наткнулся на какой-то сарай непонятного назначения и приоткрыл дверь. Большая розовая свинья с десятком поросят, тыкавшихся пяточками в материнский живот, лежала недалеко от дверей. Вот тогда и налетел на Шанина Генералов. Освирепевший, лохматый, он мог навести страх.

— Отойди! Отойди, а то... — кричал он.

— Что с тобой? — удивился Шанин.

— Поросят застудишь! Вот что. Нечего тут смотреть, — сердито ворчал Генералов. Он с силой захлопнул дверь.

Сегодня Генералова нельзя было узнать. Он был в новом костюме, выбрит, причесан, от него пахло одеколоном.

В руках он держал большой красный кирпич. Осторожно, не оглядываясь, он сошел по доске в котлован и медленно положил медную дощечку, а на нее сверху кирпич. Большевики закричали «ура». Их голоса слились с звуками духового оркестра.

Праздник закладки кончился. Будни вступали в свои права. Жилье, как быть с жильем?

Четырехэтажное общежитие было достроено. Но удовлетворило оно только самые неотложные нужды. Полтысячи новых воспитанников должны быть где-то размещены. Все увеличивалось количество сезонников. Где жить этим?

Ни один большой вопрос не решался помимо актива. Вопрос о жилье обсуждался с особой страстностью. Это не был какой-нибудь отвлеченный, не имеющий практического значения вопрос, его нужно было решать немедленно. Большая часть активистов, в их числе Каминский, Накатников, Беспалов, исходила из того, что коммуна утвердилась, стала на ноги. Если строить, то уж строить на совесть, на годы. Не какие-нибудь хибарки, а жилкомбинаты с ванными и газом, с балконами и цветниками вокруг. Размах, тяга к большому масштабам, уверенность в завтрашнем дне звучали в их речах. Только все еще не хватало трезвости, деловитого хозяйского расчета.

Разрешился этот вопрос на собрании актива с участием Шанина. Шанин начал с того, что поддержал активистов.

— Тут двух мнений быть не может: нужны жилищные комбинаты, — говорил он. — Грош нам цена, если мы, разгромив капиталистов и помещиков, начнем строить халупы. Не для того совершена революция...

Сторонники жилкомбинатов победоносно поглядывали на тех, кто проявлял в спорах хоть какие-нибудь колебания. Но они слишком поторопились торжествовать.

Шанин вдруг сделался строгим, он точно спохватился, припомнил что-то.

— Да вот задача, — сказал он, — так мы и должны бы сейчас строить, если бы средства на стройку нам кто-нибудь дал со стороны. Чтобы построить жилкомбинаты, нужны миллионы. А ведь мы живем на свои средства. Чтобы добыть их, мы должны расширить производство. Чтобы расширить производство, нужно брать новых людей. А людям крыша нужна! — и Шанин развел руками.

— Так как же тогда? — обескураженно спросил Каминский. Он так сроднился с мыслью о домах-дворцах.



— Мне надо уехать, — сказал Шанин, посмотрев на часы. — Обсудите. Вопрос нужно сегодня решить. Если семиэтажный дом нужно строить два года, то бараки выстроим в один-два месяца. И каждый барак будет стоить гроши. Спросите у бутырцев, что для них лучше: камера или барак?

И, кивнув головой, Шанин ушел.

— Вот это диалектика! — прервал Накатников молчание активистов.

Тут трудно было что-нибудь возразить.

Затаив до времени мечту о светлых, пронизанных солнцем просторных жилищных комбинатах, коммунары решили построить в кратчайший срок пять легких барачков, могущих вместить пятьсот человек.

Коммуна выглядела теперь, как новостройка. Скелеты стропил, строительный мусор, грузовики, исторгающие клубы едкого синего дыма, вечно озабоченные, куда-то спешащие люди. Очень много стало сезонников. Поэт-большевец Бобринский написал о них шутовское стихотворение:

Пришли к нам люди с Оки и Волхова,  
Вятские плотники в рубахах гороховых,  
Калужские сметливые столяры,  
Костромские балагуры-маляры,  
Тверские печники, не охочие лежать на печи,  
Смоленские грабари, козельские копачи,  
Рязанские ухари-стекольщики,  
Жиздринские угрюмые бетонщики  
И молчаливые натуры —  
Вологодские штукатуры.

# СУББОТНИК

**М**ологин все больше втягивался в жизнь коммуны. Он помогал составлять сводный баланс коммуны, несколько раз ездил с другими большевцами в Москву в ХОЗО на совещание по вопросам плана строительства, участвовал в разработке технологического процесса обувной. Он чувствовал, как меняется к нему отношение активистов, видел, что уважение к нему растет. Бабкин теперь заходил реже. Все дальше и дальше отодвигалось прошлое, и все труднее было находить Мологину общий с ним язык.

Свободное время он отдавал чтению. Прочел несколько художественных произведений советских писателей, читал Ленина. Ни с чем несравнимая глубина и ясность видения гиганта человеческой мысли потрясла его. Вот какие книги надо было читать ему. А он читал чорт знает что — даже Нат Пинкертон и Ник Картера! Много потеряно им, трудно наверстывать теперь, когда на счету каждый год жизни.

Он размышлял об этом, когда пришел Бабкин. На этот раз Бабкин был необыкновенно угрюм, вздыхал, жаловался на нездоровье, на какого-то Семина, с которым вместе работал на обувной.

— Я раз прострочу, он десять. Как мне за ним? Нет, видно, уж плохое дело — учиться, когда за четвертый пошло, — недоуменно говорил он, и горе светилось в его глазах.

— Что говорить, — сочувственно отозвался Мологин.

Эта жалоба Бабкина как бы перекликалась с его мыслями.

— Главное — ревматизм!.. Все пальцы раздуло, — пояснил Бабкин и помахал пухлыми, уловатыми в суставах пальцами.

Мологину стало жаль его. Каков бы ни был этот парень, все-таки у Мологина немало пережито вместе с ним.

— В первое время всем трудно. А ты держись. Ревматизм ведь лечить можно.

Бабкин уныло покачал головой:

— Нет, не ужиться, видать, мне здесь.

— А куда же ты денешься? Опять, что ли, по старинке?



— А хоть бы и так. Люди живут...

Мологин засмеялся.

— «Живут»! — передразнил он. — Год в Бутырках, пять в лагерях. Это по-твоему, что ли, «живут»? Сказал тоже! Ну, год, ну, три, даже пять лет при удаче кто-либо продержится. А потом? Да и нельзя, понимаешь ты, нельзя заниматься этим в такой стране, как наша!

Бабкин рассердился. Как это он не понимает? Он все превосходно понимает. Да что же ему делать, когда на фабрике не выработать и на табак, а вольнонаемные скалят зубы.

— Тебе говорить можно... Ты своего не пропустишь!.. Небось, вон сколько монеты гребешь! Все ходы-выходы знаешь. Ты, брат, хитер! А про себя — я так понимаю: мне сесть и то легче — душа на место станет...

Мологин брезгливо пожал плечами. Ну и грязный же человечиска!

— Дело твое... С колокольни оно видней, — раздосадованно сказал он.

Бабкин свертывал папироску, набирая табак из круглой жестянки.

— А что ж... Я вот банщика сыщу, — бубнил он. — Будь у меня сейчас деньги — что ж я, пропал бы, что ли?

Он еще долго болтал всякие пустяки, завидовал лавочникам в кооперативе, работа которых была проста, советовал и Мологину перейти на работу в лавку, потому что клуб должен сушить человека. Потом ушел.

План строительства был выработан и утвержден. Он содержал в себе почти все, что когда-нибудь предлагали болшевики. Мологин восхищался смелостью замысла, масштабами. Он сам внес в этот план многое. И все же в глубине души он не мог освободиться от невольного чувства недоверия. Конечно, план будет осуществляться в зависимости от средств, но ведь сейчас таких средств нет? А почему они обязательно должны быть? Не слишком ли много во всем этом мечты, не слишком ли мало скупой, беспощадной ко всякой мечтательности реальности?

— Ну, как идут дела?.. — спросил он зашедшего к нему Каминского.

— После работы субботник. Будем разгружать стройматериалы.

— Пойдешь? — спросил Каминский, присаживаясь на край стола.

Мологину показалось, что думает Каминский не о субботнике, а о чем-то о другом. Он затруднился ответом.

«Таскать кирпичи и доски в этукую грязь! Да он никогда и не делал таких дел».

Субботники происходили в коммуне довольно часто. Они возмещали недостаток рабочей силы, им придавалось воспитательное значение. Мологин не был еще ни на одном из них. Отказаться сейчас было неловко.

— Пойду, понятно, — не очень твердо сказал он.

Они замолчали. Каминский вскользь посмотрел на Мологина и тотчас опустил глаза.

— Знаешь, неприятность у нас. Бабкина второй день нету. Говорят, ушел совсем, — сказал он, глядя на пол.

— Да что ты? — воскликнул Мологин.

Он был искренно удивлен этим. Тому, что говорил Бабкин прошлый раз, он не придавал значения — обычная легкомысленная болтовня. А вот выходит, что это было не так.

Он вспомнил, каким видел его в последний раз. Его угнетенное лицо, вздохи и жалобы, круглую жестянку с табаком. В сущности Бабкин был простым и безобидным парнем.

— Значит, ушел... все-таки!

— Да, ушел! — повторил Каминский. Теперь он смотрел прямо в лицо Мологину. — Не помогли, значит, мы ему здесь... Не сумели поддержать... Человек пожилой. Ему нелегко было, правда?

Он цедил слова еще медленнее, чем обычно. Так вот с чем он явился к Мологину! Мологин почувствовал себя глупо задетым его словами.

— Почему же? И другие, бывает, уходят, — возразил он, испытывая потребность что-то объяснить, от чего-то защищаться.

— И всегда наша вина! — перебил Каминский. Он плохо слушал Мологина. — Всегда наша вина! Никто не должен уходить. Суметь подойти к человеку, во-время его повернуть — ведь это же можно. К каждому человеку подход можно найти. Как же не наша вина?

— Быть может, это и верно, — миролюбиво согласился Мологин. Лучше всего было прекратить в самом начале этот бессмысленный спор. — Но Бабкин, я тебе скажу, человек легкомысленный и неумный... От него всегда чего хочешь ожидать можно.

Весь день до самой сирены Мологин не мог изжить неприятный осадок от этого разговора. Точно он был виноват в том, что случилось. Но он же говорил с Бабкиным, объяснял ему... Ведь это было? Что еще он мог бы сделать?

Низкий настойчивый гудок конькового напомнил ему о субботнике. Неужели там нельзя обойтись без него? Все же Мологин вышел на улицу.



Болшевики со знаменем собирались на площади. Каминский и Накатников строили их в ряды, торопили, подшучивали над запоздавшими. Все как будто забыли, что уже работали восемь часов. Конечно, у Мологина имелись основания никуда не идти. Сегодня в клубе должны выступать артисты московской эстрады. Он нужен в клубе. Да и так ли уж правильно посылать всех, даже очень квалифицированных людей, делать дело, с которым справится всякий чернорабочий! «Право же, никакого не будет греха не пойти», думал Мологин, но точно какая-то посторонняя сила подталкивала его к рядам.

Серое низкое небо отражалось в мутных лужах. Стая галок с тоскливым отрывистым криком раскачивалась на вершинах берез. Две сотни ног мерно месили грязь. Кто-то затынул:

Все пушки, пушки заряжены...

Десятки здоровых глоток дружно подхватили припев. Итти сразу сделалось легче. И, может быть, оттого, что пели эту откуда-то хорошо знакомую, хотя никогда и не певшуюся Мологиным песню, или оттого, что среди громкого и стройного потока сливающихся в одно голосов различало ухо Мологина крепкие баритоны и тенора клубных солистов, он вдруг размяк, ослабел, ему сделалось грустно.

Колонна болшевцев вышла к путям. Платформы и вагоны, расцепленные для удобства разгрузки, гуськом стояли на рельсах. Без паровоза они казались заброшенными.

Колонна расстроилась. Ребята расселись на старых шпалах около насыпи, другие толпились вокруг них, смеялись, разговаривали. Все как-то неопределенно поглядывали на пути. Кому-то нужно было распорядиться, сказать первое слово, но все ожидали чего-то. Мологин оглянулся. А что нужно делать? Разрозненные, точно приставшие к рельсам вагоны были недвижимы; кое-где между черными полосками шпал желтела промороженная трава. Правее, где станция, пыхтел не видный за поворотом маневренный паровоз. Ничто кругом не объясняло и не подсказывало, что нужно делать.

«Может быть, расходиться?», подумал Мологин, ежась, точно от холода, от острого чувства неловкости.

От станции, спеша, шагал Накатников.

— Разбивайся! Кирпич к навесу, а доски здесь будем валивать! — кричал он и для чего-то махал рукой.

Мологина оттеснили. Его толкали, не замечали. С еще более усиленным чувством неловкости он стал за чьими-то спинами. Потом сообразил: здесь Новиков, Смирнов, Осминкин.

— Давай, давай, Леха, с нами! — покровительно крикнул Новиков, заметив Мологина, и сейчас же забыл о нем.

Мологина передернуло. Он уныло поплелся следом за ними.



Закрепленные с боков деревянными стойками узкие сосновые доски высоко и продолговато громоздились на широкой платформе, исписанной мелом по рыжим бортам. Смирнов забрался по доскам на самый верх. Он бесстрашно приплясывал в своих ладных, по мерке скроенных сапожках, вскидывал согнутые в локтях руки, пел.

— Дядя Алеша, залазь сбрасывать, — перестал он плясать, увидев, что Мологин смотрит на него. — Залазь, тут просто, как по лестнице: доски торчат.

«Да, просто», едко подумал Мологин. Теперь он уже понимал, что сделал глупость. Да и отвык за эти годы от «гимнастических упражнений». Ему ли, в его ли возрасте изображать акробата, потешать мальчишек?

— Лезь, лезь, Мологин, — поторопил Новиков.

Соскальзывая и срываясь, Мологин начал карабкаться по доскам. Чьи-то руки поддерживали спину. Из пальца на правой руке потекла кровь. «Вернуться? Нет, теперь это уже невысказано». Он влез, тяжело дыша. За ним легко и быстро поднялся Новиков. На этой вышке он чувствовал себя уверенно, как в общежитии.

Он предложил Смирнову сойти вниз, сказав, что доски тонкие и наверху будет довольно двух. Смирнов подчинился неохотно, не сразу.

Первые доски с гудением и грохотом скользнули по наклонно брошенным слям. Их подхватили ребята, находившиеся внизу. Осминкин зычно распорядился ребятами, показывая, куда и как складывать.

Мологин чувствовал: работает он медленно, копаются, задерживают Новикова. Внизу над ним смеются, может быть, даже сердятся. Он почти заискивающе посмотрел на Новикова. Внезапная ярость овладела им... Он ненавидел сейчас себя за неумение работать, за эту робость перед Новиковым, даже перед Смирновым, за то, что нехватило ума избежать смешного, глупого положения, в котором оказался. Но представлялось, что виноват во всем этом не он, а кто-то другой — Каминский, Новиков, может быть, Бабкин, даже эти нескладные, вырывающиеся из рук доски. Он выхватывал их из-под своих ног ожесточенно, мстительно, едва соображаясь с движениями Новикова. Доски трещали, гнулись, и это было ему приятно. Рубаха его намочла. Запах смолы щекотал в носу, ее вкус был в глотке. Усталость, точно щипцами, сжимала мышцы рук. Никогда прежде, даже работая сверлом, он не испытывал такой лютой усталости. Он сбрасывал доску и нагибался за другой. Он сбрасывал эту другую доску и нагибался за следующей. Сколько прошло времени? Час, два часа? Должно быть, конца не будет этим проклятым доскам. Ну что же, хоть бесконечно, хоть всю ночь!



— Обожди, передохнем, — сказал Новиков и, обмахнув рукавом лоб, снял полушубок.

— Что говоришь? — не понял Мологин.

Новиков пригнулся, придерживаясь за оголенную стойку, и крикнул вниз:

— Давай, перекуривай!

— Загнал тебя Леха? — откликнулся снизу веселый голос.

— Запарился, Новиков?

Новиков добродушно улыбнулся, показав белые, квадратные зубы.

Мологин медленно опустился на доски. Он тоже улыбался — широко, счастливо — и не догадывался об этом. Он вдруг увидел, как осела вышка, как много уже сбросили. Черные от смолы ладони его горели, в отяжелевших, словно припухших пальцах ритмично стучала кровь. «Выходит, что он и в самом деле работал не хуже Новикова!» Тот торопливо докуривал папироску.

— Ничего струнули? — хвастливо крикнул ему Мологин.

Он почти любил сейчас этого молчаливого скромного парня с перешибленной переносицей. Да и не только его. И недалекий безлистный лес, и люди, работающие на путях, и поезд — важно, медленно, будто беременная женщина, движущийся от Москвы, — все было ему сейчас мило, все казалось ему хорошим.

Новиков плюнул на окурки и бросил его на пути.

— Порядком!.. Только ты, Алексей Александрович, не так хватай, так хуже — меньше сработает. И потом... — Новиков на мгновение зашнулся, словно не решаясь сказать... — когда пускаешь конец, смотри на меня, чтобы нам разом... Все руки отдергал, — добавил он с извиняющейся улыбкой.

Мологин невольно поглядел на его большие уверенные руки. Так, стало быть, все время, пока они работали, он бил по этим красным спокойным рукам! Бил, а Новиков все терпел, сносил, не сказал ни слова. Мологин имел возможность испытать на самом себе, как это больно. Новиков терпел, стесняясь сказать, а Мологин и не побеспокоился о нем ни разу. Он вдруг почувствовал стыд за свой нелепо хвастливый тон, за то, как подумал только что о своей, очевидно, неправильной и плохой работе.

— Ладно, буду смотреть, — сказал он развязно. — Мне, видишь, доски-то сбрасывать в первый раз. А ты бы не молчал, а сказал сразу.

Шум поезда заглушил его слова. Длинный состав мелькал красными пломбированными вагонами, платформами, затянутыми в брезент, из-под которого кое-где выглядывали части машин, тяжелые синеватые колеса. И как только проскользнул

последний вагон, Мологин увидел Накатникова. Он шел с каким-то парнем.

— Где зашиб, ну? Покажи, где же ты зашиб? — допрашивал Накатников своего спутника.

Тот — невысокий, узкоплечий, с большими розовыми ушами, торчащими из-под надвинутой на глаза кепки, — приподнял правую руку, придерживая ее другой, божился и клялся.

— Да ведь нет ничего! Ведь ты же врешь! — разоблачал Накатников. — Зачем ты врешь? Кого обманываешь? А еще — «Я, мол, коммунар, я, мол, жениться хочу!» Какой же ты коммунар? Коммунар не побежит с субботника! Коммунар не забудет, что каждая копейка, что мы здесь заработаем, даст нам возможность взять новых ребят в коммуну. Нет, ты плохой коммунар! Жить ты желаешь, а строить — дядя, что ли, будет?

— Накатников Костю словил... Первый филон. Сколько уж мы с ним бьемся, — общительно пояснил Мологину Новиков.

Филон говорил что-то в свое оправдание, все более снижая тон, без наигранного негодования, все более нетвердо. Потом Мологин видел его исправно работающим обеими руками — он складывал кирпичи.

На обратном пути руки и плечи Мологина ныли, спина болела, ноги дрожали от долгого непривычного напряжения. А ему хотелось двигаться, смеяться, петь, говорить товарищам о работе, о том, как сперва не слушались его доски, затем покорились, и все пошло, как нужно.

Никогда еще не чувствовал Мологин всех этих людей такими близкими. А разве не может быть так же просто и хорошо во всем, все время?

Утром Мологин встал с ясной, свежей головой, с ломотой во всем теле. Ломота не была неприятна. Он закусил наспех и пошел в клуб. Там он вынул лист чистой бумаги и стал писать.

«Дорогой Матвей Самойлович», написал он крупно и четко. Он как бы видел перед собой Погребинского, его улыбку, жесты, слышал интонации его голоса.

«Дорогой Матвей Самойлович. Я был вчера на коммунском субботнике. Ребята из актива руководили, организовали массу. Дело для коммуны как будто обычное. Но бывает так, что десятки и сотни раз видишь одно и то же, каждый день на него натыкаешься, сам делаешь и все-таки не понимаешь его. Точно слепой... И вдруг — прозреешь. И вот вчера — мы работали — прошел поезд, и я вижу, Накатников ведет одного парнишку, тот хотел «задать драчу». И мне вдруг пришло в голову: ведь это, думаю, вор. Вор Накатников ведет, агитирует вора Костьку! Да в каком чудесном мире возможно это? А завтра, может быть, этот самый Костька вот так же будет обрабатывать кого-нибудь еще. И я до такой степени почувствовал, что ком-



муна — это мы, что мы сами и воспитанники, и воспитатели, и строители ее, что чуть не слетел с платформы. А ведь я всегда думал то же самое. Выходит, можно одно и то же, да по-разному думать! Кстати сказать, я сбрасывал вчера вместе с Васей Нювиковым доски и ободрал себе большой палец, так что прошу извинить за плохой почерк. Так как же, спрашиваю: «лягавые» или строители? И так мне стало ясно, что даже самое слово «лягавые» здесь лишилось всякого прежнего смысла, что диву дался — где были мозги? И тут вспомнилось, как были мы у товарища Ягоды. Я думал: «Воры ведь, разве можно это забыть, ведь вчера еще воровали!» А он как с товарищами, как с хозяевами. Спрашивает: «На все ваших средств нехватит. Или строить баню и прачечную или новую фабрику. Решайте». И скажи мы: «баню» — голову даю на отсечение — он бы ответил: «Хорошо, пусть будет баня», чтобы мы сами убедились, сами пришли к нему и сказали: «Ошиблись, надо фабрику, баня — потом». Да, мы хозяева! Вот что я не умел прежде понять...

Коммуна не рай в том смысле, в каком выдуманно это слово попами. В ней труд, и труд иногда нелегкий. И нужно уметь быть суровым, когда это требуется, и нужно уметь жертвовать собой. Но сила коммуны в том, что каждый гвоздь вбит в ней ею самой, ее коллективом, хотя бы его и забивала рука сезонника. Сила в том, что каждым коньком, трикотажной рубашкой, выпущенной на наших заводах, коммунары участвует в общем труде страны. Так? Ну и вот... Строить, отдать себя, свою жизнь, пожертвовать собой значит ли быть «лягавым»? Тогда я хочу быть им. Колебаться в этом значит сомневаться в коммуне, сомневаться в правде и силе революции. Я не сомневаюсь. Я докажу это. Я прошу и согласен на любое испытание, чтобы доказать, что мне можно доверять, чтобы получить доверие...»

Подолгу, как нечто совершенно не знакомое ему, рассматривал Мологин план. Архитекторы Лангман и Чериковер хорошо справились с его разработкой. Голубая калька с дворцами и зданиями, садами и парками — не праздная мечта. Вот эту аллею предлагал и он, вот здесь запланировано место для будущего универмага — помнится, о нем у ребят вышел спор. Леса, сжимающие коммуны двойным массивом, отступали, болото исчезало. Прямолинейное шоссе вело от коммуны к Мытищам. Но, отеснив леса, городок курчавился изумрудными знаками парка, скверов, фруктовых садов. Он утопал в море зелени. Как удивительно, что Мологин на самом деле участвовал в разработке этого плана.

Что же будет? Монтируется обувная, начинается закладка фабрики-кухни, на очереди спортлыжная, клиника, учкомбинат, жилые дома.

Что же будет? Город? С фабриками, подсобными предприятиями — городок бывших воров. Он видел асфальтированные проспекты будущих улиц, движение на них.

А потом, а еще дальше? Исчезнет преступность. Нет воров, нет обворованных. Значит, обыкновенный социалистический индустриальный городок? И внуки уже не будут понимать дедов, рассказывающих о своем странном прошлом! Мологин мечтал.

И каждый день, идя на работу, возвращаясь с работы, ждал он, что кто-то подойдет к нему, заговорит, передаст конверт, надписанный знакомой рукой. Но письма не было. «Может быть, и не будет, — грустно думал Мологин. — Что значит это письмо среди его больших и важных дел». Но все существо Мологина протестовало против такого предположения.

Он шел с Богословским с заседания бюро актива. Синие тени берез падали на широкую прикатанную дорогу. Схваченный морозом снежок поскрипывал под сапогами.

— С Бабкиным часто встречался, разговаривал с ним? — спросил вдруг Богословский.

И сразу же вспомнил Мологин о мануфактуре, о банщике, о надеждах Бабкина когда-нибудь отыскать его, чтобы свести с ним счеты. «Неужели что-нибудь натворил!» подумал он с мгновенно проснувшейся тревогой.

— О чем же мне с ним разговаривать? Раза два видел... Я ведь и раньше его немного знал, — произнес он равнодушно.

Сергей Петрович укоризненно качнул головой:

— Напрасно. Бабкину нелегко было. Знаешь, как важен друг в тяжелые дни!

Мологин не знал, что отвечать.

— Послушай, ты извини, что я об этом говорю, — сказал опять Богословский, замедля шаг. — Почему ты не женишься? Право! Женился бы да жил семьей.

Это было уже совсем неожиданно. Хорошо, что хоть ночь и смущение Мологина не так заметно.

— Не хочу учиться, хочу жениться, — протянул он нарочито детским голоском, желая превратить все в шутку.

Богословский не был склонен шутить.

— Нет, правда! Смотри, какая у тебя личная жизнь неустроенная! Это тяжело и трудно, — говорил он, и голос его звучал необыкновенно тепло и дружелюбно. — Тебе Аня Величко нравится? Хорошая женщина. Кажется, тоже непрочь. Вот бы и в добрый час! А квартиру мы вам дадим.

Мологин вспотел. Он так редко видел Аню, так тщательно избегал всего, что могло бы дать возможность даже ей самой догадаться о его предположениях. И тем не менее о них догадывались уже все.



— Я думаю, теперь мне нельзя это, — сказал он взволнованно. — Это могло бы мешать работе. Я ведь понимаю, как много от меня требуется. Мне кажется, я не должен теперь думать об этом. Возможно — потом.

Богословский рассмеялся:

— Удивительный ты человек! Все на голову! Почему же другим — Умнову, Гуляеву, Каминскому — всем, никому не мешает, а тебе будет мешать? Как это вообще может мешать?

«А что же тут такого веселого?» уязвленно подумал Мологин. Он был готов пожалеть, что высказался так прямо.

— Вот видишь, как у тебя все выходит, — говорил Сергей Петрович. Он не смеялся больше. Не свойственная ему суровая интонация звучала в его голосе. — Бабкину помочь ты не захотел. Он вот ушел. Ведь ты, как никто другой, мог знать, как ему трудно. Это неправда, что ты его мало знал. А что ты сделал, чтобы не дать ему скатиться назад? Человек он простой, бесхитростный. Трудно ли было повлиять на него по-хорошему? Со мной, с Кузнецовым, с Каминским поговорить, вместе бы подумали... Мы вот все на тебя надеялись. А выходит, что толкуешь ты о коммуне, а думаешь об одном себе! Разодолжил — жениться не хочет! Нет, брат, так ничего построить нельзя.

— Ну, Сергей Петрович, это, пожалуй, и слишком... — возразил Мологин с натянутой улыбкой.

«Вот тебе и Сергей Петрович, вот тебе и пресловутая его деликатность и мягкость!» И почему в конце концов пристают именно к Мологину? Почему он, а не кто-либо другой, должен отвечать за Бабкина, за его тупость?

Он забыл, с чего начался разговор, забыл о Величко, о женьтибе; все это отступило, не имело значения сейчас. Ядовитое сознание его вины подымалось в нем. Конечно, он знал, что Бабкин чуть держится, догадывался, что он уйдет. Почему, действительно, он не сделал ничего, чтобы Бабкин остался? Ведь можно было поговорить о нем, попросить, чтобы его перевели на другую работу...

Но он боялся сплетен, того, что могут подумать о нем самом. Думал лишь о себе, о своем спокойствии! Прав, выходит, Сергей Петрович!

Богословский тащил его к своей квартире:

— Зайдем, посидим, чайку попьем!

Он видел впечатление, произведенное его словами. Но ведь это была нужная операция.

— Пойдем, потолкуем, кстати, у меня и дельце есть. А Бабкин еще к нам попросится, будь уверен. Кто здесь побывал, редко назад не захочет!

Почти всю ночь продолжалась так неожиданно начавшаяся беседа.

Мологин больше молчал, слушал, говорил мало.

— Нет и не может быть противоречий между здоровыми личными интересами и интересами коммуны. Ты сам это отлично знаешь, ты сам на активе толкуешь о том, как важно приучить бывшего вора к упорядоченной оседлой жизни, — твердил Сергей Петрович.

Чтобы не беспокоить жену, он сам разогрел чайник и наливал стаканы.

— Понятно, хороший коммунар, если это нужно, должен уметь поступиться и своим личным. А тут какая нужда? Это у тебя все от индивидуализма, от гордости. Верно говорю, Алексей Александрович! И Погребинский не раз говорил тебе это. «Я-де не такой, я-де особенный!» А чем таким ты особенный? Ну, постарше, поопытней. Так если ты хочешь добра коммуне, вот и отдай ей свой опыт. Помогай людям переходить на коммунические рельсы. Ведь это главное! Ты на обувной кое-что сделал, в клубе работаешь. Хорошо! Но ведь не в клубе только — на каждом шагу у нас надо делать то же. А людей сторониться — значит себя бояться... Это надо понять!

«Да, нелегко переходить на коммунические рельсы», невесело думал Мологин. Еще он думал о Бабкине, о том, что возможно он был в Москве, на Якиманке, у сестры Мологина, и та укажет, где его теперь искать.

Как-то само собой в разговоре стало считаться решенным, что Мологин женится, что кроме клуба он будет работать еще в комиссии, подготавливающей очередные наборы.

— Ну, спасибо за науку, Сергей Петрович. Пора ко двору, — говорил он Богословскому, криво улыбаясь, старательно избегая его глаз.

Богословский остановил его:

— Чуть не забыл! Письмо тебе из Уфы. Целый день таскал.

Мологин нетерпеливо, неловко разорвал конверт. Погребинский извинялся, что не мог ответить сразу — уезжал и только теперь вернулся, спрашивал о делах коммуны, о ребятах, всем посылал привет.

«Ничего, ни слова о том, что я писал, — разочарованно думал Мологин. — Ах, есть вот!» Три строки, обыкновенные, точно такие же, как и все другие. Но как обожгли они сознание: «Ты пишешь, что согласен на любое испытание, чтобы добиться себе доверия. А ты сумей сделать, чтобы тебе поверили без всяких испытаний, чтобы тебе поверили так».

Мологин сунул письмо в карман пальто, посмотрел на Богословского невидящими глазами, машинально попрощался с ним и пошел к дверям.



## ЗА КАЧЕСТВО

**В** коммуны приходили новички. Для них нехватало жилья. Они селились в наспех построенных бараках и в соседней деревне. Приезжали жены. На улице встречались незнакомые и осматривали друг друга. Потом не стали даже оглядываться. Разве можно знать всех, когда так много народу! Новички требовали работы. Старые мастерские не вмещали их. Жилые дома стали казаться маленькими, фабрички — тесными. Когда обозначилась новая строительная площадка, где были заложены новое здание фабрики и жилой дом, всем стало казаться, что уже совсем скоро наступит избавление от тесноты и неразберихи. Но площадка обманывала. Проходили сроки, а зданий не было. Сезонные каменщики и плотники работали не торопясь.

Требовалось бросить на строительство лучших, проверенных коммунаров, сколотить из них крепкую группу, которая подтягивала бы сезонников. К этому времени руководство ОГПУ решило объединить небольшую Тульскую коммуны вместе с Болшевской. С туляками в Болшево прибыл рыжеватый, широкоплечий парень Пашка Фиолетов, прозванный за любовь к чтению «Философом». Он-то и сыграл немалую роль в строительстве.

Прежняя его воровская жизнь мало чем отличалась от прошлого других болшевцев. Отца Фиолетова выгнал из Костромской губернии голод. По старой привычке он поехал подкормиться в большой город, прихватив с собой четырнадцатилетнего Пашку. Но и в Петрограде жилось не легче. Большинство фабрик было закрыто, рабочие ушли на фронт. Немногие работающие получали в день восьмушку ржаного хлеба. Пашка понял, что отцу его не прокормить, стащил у квартирной хозяйки санки и ушел на вокзал. За корку хлеба или за миллион рублей Фиолетов брался «подвезти вещички».

Друзья, с которыми ему случалось ночевать на базаре, ходили к «Петуху» — толстому мужчине с красными веками. Он покупал у воров краденое и снабжал их спиртом и кокаином.



Многие лыжники Советской страны ходят на лыжах,  
изготовленных воспитанниками Большевской коммуны



Фиолетов бросил санки и стал воровать. К отцу он больше не возвращался.

В тюрьме ему довелось прочитать несколько случайных книжек: Хаггарда, стихи Байрона. В книгах он нашел необыкновенную счастливую жизнь.

На воле Фиолетов не читал, там было не до книг. Но он любил рассказывать о далеких чудесных странах. Говорил нареспев стихи и объяснял, что сочинил их сам. Это был мечтательный вор. Он так и не получил высокой квалификации, часто попадался и кочевал из тюрьмы в тюрьму.

В камере Фиолетов обычно брал на себя обязанность библиотекаря. Он выдавал книги и следил, чтобы их не рвали. В камере же он узнал о существовании Тульской коммуны и попросился в нее один из первых. Там Фиолетов убедился, что настоящая жизнь, о которой он давно мечтал, существует не только в книгах.

«Философ» дружил с комсомольцами Тульской коммуны, пел с ними песни, ходил на собрания, читал книги и газеты и всегда был в курсе последних политических событий.

— Ты парень активный, — сказал секретарь ячейки Селин, — подавай заявление, мы тебя примем.

Фиолетов самолюбиво ответил:

— Не хочу.

— Почему?

— Я все вижу, — говорил Фиолетов. — У вас в ячейке нет демократизма. Комсомольцы только приказывают. Они приходят на собрание с готовыми резолюциями. Разве так должны действовать комсомольцы?

Селин молчал. Фиолетов ушел. Но это не было ссорой. Они встретились наутро по-обычному.

— Паша, — сказал Селин, — на тебя надежда. Сходи в деревню, сделай доклад. Все комсомольцы заняты.

— Хорошо, — смущенно ответил Фиолетов — он никогда не делал докладов, — о чем доклад?

В коммуне предстоял весенний субботник молодежи по насаждению деревьев. В клубе висел лозунг: «Зелень — друг человека».

Селин сел на подоконник и развернул газету:

— Материал к докладу здесь найдешь. Пусть они тоже проведут субботник. Посадят у школы яблони. И у сельсовета тоже. Понял, Паша?

Фиолетов выучил наизусть статью о субботнике и пошел в деревню.

В школу уже набралось много народу. Фиолетов делал доклад с конспектом в руках и не отрывал от него глаз. Кончив, он спросил:

— Кто хочет выступить?

Люди молчали. Внезапно он вспомнил, что ничего им не предлагал, говорил вообще о субботнике. Откуда они могут знать, что он предлагает им посадить у школы яблони? Значит, так ничего и не сумеет он сделать на этом собрании?

В отчаянии окинул он взглядом знакомые молодые лица в переднем ряду. На него смотрели с ожиданием. И тогда Фиолетов твердо проговорил:

— Товарищи, имеется такая резолюция: «Заслушав доклад о субботнике, мы постановляем посадить у школы яблони, а также у сельсовета...»

Резолюцию не отвергли. Считая руки, поднятые над партами, Фиолетов понял, почему Селин, вместо того чтобы спорить с ним о демократизме в комсомольской ячейке, послал его сделать доклад.

После этой первой речи минуло два года.

Со станции явился Фиолетов в Болшево с двумя связками книг, которым нехватило места на подводе. Рядом с ним шла жена с ребенком. Дорогой он остановился и долго разглядывал стройку.

— Пойдем, Паша, — торопила жена, — успеешь насмотреться.

Но Фиолетову хотелось в первые же часы приезда побывать на строительной площадке.

— Что это за гусь с книжками? — слышалось им вслед.

— Кажется, из новых, из тульчан.

Не оглядываясь на говорящих, Фиолетов шел дальше.

Вечером в клубе он произнес от лица тульчан приветственную речь большевам. Она была коротка, спокойна и отличалась строгой продуманностью.

— Парень хладнокровный, не то что наши пылкие ораторы, — заметил кто-то из большевцев, когда Фиолетов сошел со сцены.

Фиолетов, услышав замечание, повернулся и ответил:

— Волноваться я не люблю.

К нему приблизился воспитатель Северов:

— Ты где хочешь работать?

Фиолетов знал столярное дело. Не задумываясь, он сказал:

— Встану к верстаку на лыжной фабрике.

Северов предложил:

— В последнее время ты ведь был в Тульской коммуне секретарем ячейки, может, и у нас по комсомольской части захочешь?

— Нет, — отказался Фиолетов, — руководить мне у вас рано, надо на производстве себя показать.



Говорил он так рассудительно и веско, будто за много дней вперед твердо определил свое поведение в Болшеве.

Его послали на лыжную. Болванка будущей лыжи попадала ему в руки толстой и грубой, с поднятым, как у лодки, носом. Обтачивая верхнюю галтель, Фиолетов всегда что-нибудь напевал. Соседи прислушивались, но каждая песня была для них новой, с неизвестными словами.

— Что ты поешь, Павел? — спрашивали его.

— А это — свое, мои стихи, — тихо пояснял он, не бросая работу. — Вот, например, — и он речитативом произносил:

Мне, смешному парню, некрасивому,  
Неуклюжему, с большими глазами,  
Полюбилась ты, коммуны жизнь бурливая,  
В такт идущая с восстания годами.  
Прочь ушли года порока,  
Утонув в восходе новых дней.  
Полюбил тебя я искренно, глубоко,  
Трудкоммуна — фабрика людей!

Стихи хвалили. Фиолетов не смущался, принимал похвалы как должное. Он рассказывал, что очень много стихов написал в Туле, а сочинять их начал еще в тюрьме.

— Стихи работать помогают, — добавлял он.

Местных стихотворцев ребята считали людьми не очень надежными. По наслышке их звали «богемой». Газета «На новом пути» однажды высказала коммунским поэтам такое пожелание:

Эх, братцы,  
Лучше б мы имели  
Взамен богемы одного рабкора!

С приходом Фиолетова, завоевавшего звание лучшего слесаря, стали говорить:

— Оказывается, поэты и работать умеют.

Однажды Фиолетов созвал активистов Гуляева, Накатникова, Каминского и в обычной своей манере — спокойно и веско — заявил:

— Второй год пятилетки идет...

— Вот новость, — ответили ему.

— А у нас и не пахнет соревнованием, — не смущаясь, закончил Фиолетов.

Активисты переглянулись. А Фиолетов достал из кармана бумажку:

— Вот я предлагаю договор заключить между лыжной и коньковым.

Договор прочитали, обсудили и решили заключить. Это был первый договор на соревнование в коммуне.

Вышло так, что Фиолетову пришлось выпускать бюллетень соревнования, руководить кружком политграмоты, помогать

новичкам в лыжной. В конце концов никого не удивило, что после перевыборов Фиолетов стал секретарем комсомольской ячейки. После собрания к нему подошел Северов:

— Как же это ты, из столяров опять в секретари?

Фиолетов сдержанно улыбнулся:

— Большинство велело.

Вслед за соревнованием между лыжной и коньковым Эмиль Каминский и Гуляев, работавшие на обувной фабрике, объявили себя первыми ударниками.

Потом объявила себя ударной вся бригада Гуляева и Каминского — пятнадцать закройщиков. Бригада перевыполняла план. Гуляев и Каминский ходили гордые.

Слово «ударник» слышалось теперь всюду. Его повторяли на трикотажной, коньковом, лыжной, в школе, на кухне. Когда полировщик Емельянов с лыжной фабрики заявил, что не хочет быть ударником, его единогласно исключили из комсомола. Все партийные одобрили:

— Правильно сделали, что исключили.

Фиолетова приняли в партию. Вскоре его послали на строительную площадку. Работа здесь попрежнему шла ни шатко, ни валко. Бородатые сезонники подсчитывали, сколько они расходуют на харчи, квартиру и много ли принесут выручки домой, в свое хозяйство. Если цифры оказывались значительными, то сезонники выпивали. С похмелья работа шла еще хуже.

Фиолетов, побывав на площадке, поднял вопрос о том, чтобы строительство укрепили лучшими коммунарками, по возможности партийцами. Партийцы нашлись и среди немногих кадровых вольнонаемных рабочих.

— Надо сколотить на площадке ячейку, — настаивал Фиолетов. — Она будет политическим штабом строительства.

Партийное руководство коммуны согласилось на это предложение.

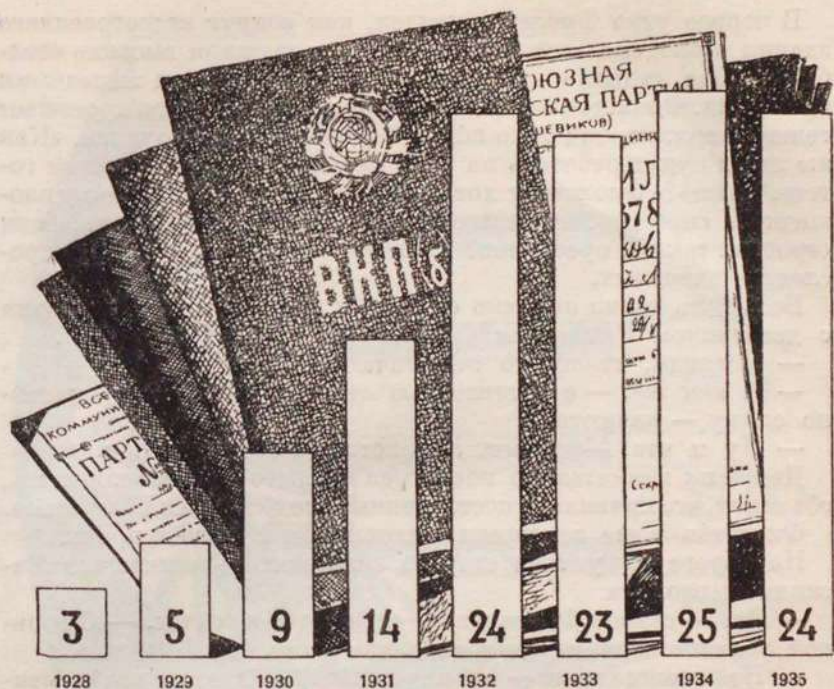
Секретарем новой ячейки был утвержден Фиолетов.

Прежде Фиолетов не раз участвовал в субботниках на площадках: таскал кирпич и копал землю. Был у него там друг, каменщик Пузанков Василий Павлович, здоровенный старик с густой седеющей бородой. Он любил рассказывать Фиолетову о своей жизни, богатой странствованиями.

Теперь Фиолетову нельзя было ограничиться переноской кирпичей и слушанием рассказов Василия Павловича — коммуна ждала от нового секретаря руководства всей работой, ускорения строительства. А Фиолетову в первые дни на площадке со многим пришлось столкнуться впервые.

Как кладется кирпич? Чем его скрепляют? Сколько нужно кирпича, чтобы построить дом? Что еще для этого нужно? Какие существуют нормы выработки?





**РОСТ КОЛИЧЕСТВА КОММУНАРОВ — КАНДИДАТОВ  
И ЧЛЕНОВ ВКП(б)**

В первое утро Фиолетов увидел, как вокруг недостроенного здания возводили леса. Основанием им служили высокие столбы: бревна ставили друг на друга и скрепляли железными крючьями. Фиолетов заметил, что когда мимо столбов проезжает телега с грузом, они тихо покачиваются. Он остановился. «Как же люди будут работать на этих лесах, коли они и сейчас готовы упасть?» Фиолетову хотелось броситься к начальнику площадки и спросить, кто возводит леса. Может быть, и весь дом строится так же преступно? Если это вредительство, надо проследить виновных.

Весь день ходил он мимо столбов и лишь вечером заговорил с десятником Ряховским:

— Погляди, столбы-то эти качаются?

— А как же, — с готовностью ответил десятник, — я давно слежу — качаются.

— Ну и что? — спросил Фиолетов, шагнув вперед.

Десятник внимательно посмотрел на него и, откашлявшись, объяснил, что правильно поставленный столб должен колебаться.

Фиолетов тоже закашлял, отвернулся и пошел прочь.

На дороге он увидел старого знакомого — каменщика Василия Павловича.

— Эх, — сказал Фиолетов, — осрамился я сейчас. — С горькой усмешкой он передал историю о столбах.

— Не помучишься — не научишься, — проговорил каменщик, — а столбы обязаны качаться.

Он рассказал, как в молодости клал фабричные трубы:

— Высокая она, высокая, а я сижу на верхушке, как воробей на шесте. И вот слышу, качается подо мной труба еле-еле, будто в сердце отдает. Ну, думаю, значит, правильно положил. А если она как мертвая, значит, вкось кирпич пошел и ломать надо.

Утром Фиолетов созвал бюро ячейки и предложил поставить отчеты коммунистов о работе на площадке.

Когда собрались слушать отчеты, он велел позвать начальника строительства.

— Да начальник-то беспартийный, — сказали ему.

— Зато специалист, он нам поможет, — ответил Фиолетов.

Каменщик Пузанков показывал ему разные способы кладки кирпича, и он, не стесняясь, спрашивал:

— Что такое замес?

— А это очень просто: две — один — три.

— Как это — один — три?

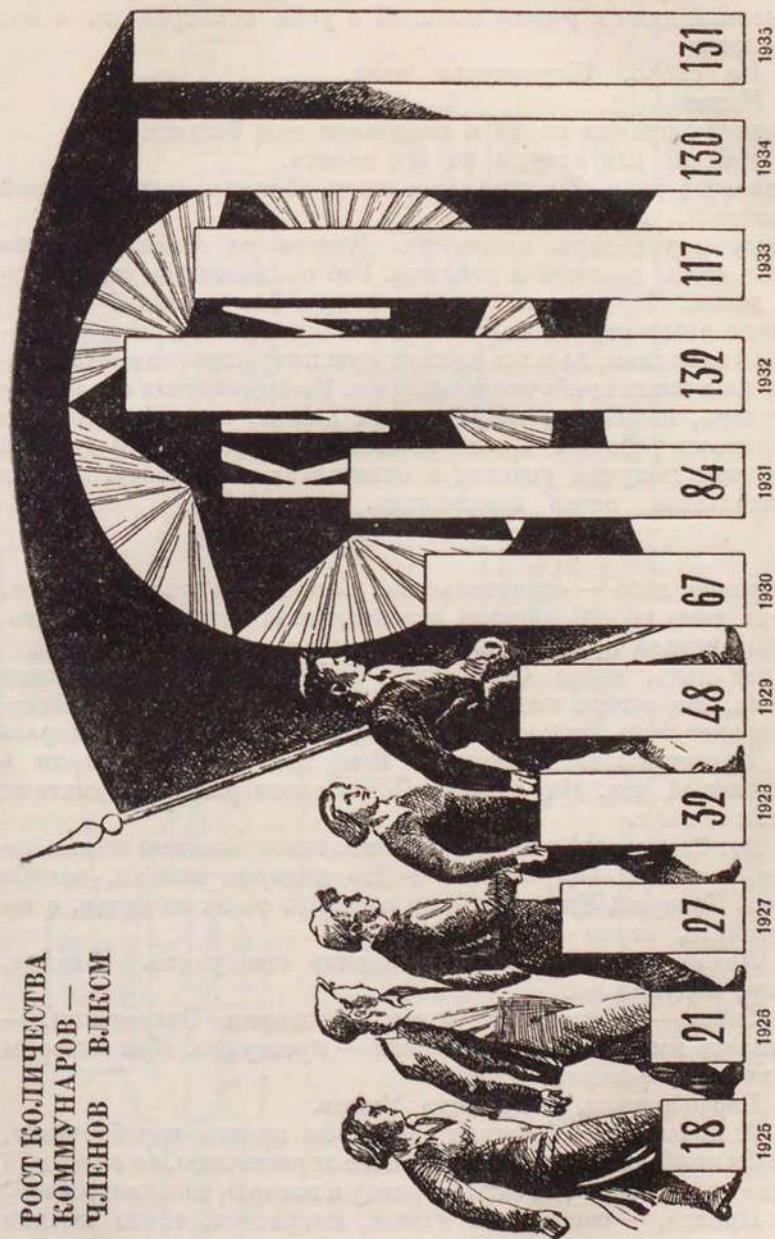
— Две части извести, одна цементу и три песку.

Шаг за шагом, настойчиво учась, он овладевал техникой строительства.

Дом стоял почти совсем готовый, с крышей, окнами и каменными ступенями. Оставалось только его оштукатурить.



**РОСТ КОЛИЧЕСТВА  
КОММУНАРОВ —  
ЧЛЕНОВ ВЛКМ**



— Не скоро еще? — спросил Фиолетов, забравшись в дом. Высокий дядя с рыжей мочалой в усах осмотрел его с ног до головы:

— Не скоро. Штукатуров мало.

— Нанять?

Дядя расправил плечи и показался еще больше:

— Найми! Штукатуры на вес золота.

Фиолетов долго смотрел, как люди обивают стены дранкой и рогожей. Он ушел молча.

Вечером устроили субботник. Вместе со всеми Фиолетов обивал стены дранкой и рогожей. Это оказалось не столь хитрым делом. Через несколько суток дом был отделан.

После этого случая сезонники начали относиться к Фиолетову с уважением, да и все коммунисты почувствовали, что авторитет их в глазах рабочих возрастает. У коммунистов спрашивали теперь, почему не выполняются планы, к ним приходили за советами рабочие. После отчетов на бюро ячейки каждый коммунист получил участок и отвечал за его работу. Темпы строительства резко изменились.

Сложное дело — строительство. Сложное и увлекательное. Как-то само собой вопросы строительства оттесняли, отодвигали на второй план все другие, часто не менее важные.

В тот день, когда Островский вызвал к себе коммунара Умнова, директора конькового завода и управляющего коммуналь, может быть, только этот последний догадывался о характере предстоящего разговора. Все трое пришли утром в назначенный час. На столе у Островского рядом с бумагами лежали коньки.

— Вот посмотрите эти «снегурочки», изготовленные вашим заводом, — сказал Островский. — Это рядовые коньки, взятые наугад. Товарищ Умнов, я буду говорить об их качестве, а вы проверяйте, верно ли я говорю.

— Ладно, — сказал Умнов. Сердце его упало. «Значит, плохо», подумал он.

— Тавот — дефицитный товар, — говорил Островский. — Смазывать им коньки сверх нормы — преступно. Как смазаны эти коньки, товарищ Умнов?

— Переборщили, — буркнул Умнов.

— А почему переборщили? Если бы просто переборщили, было бы полбеды. Тавот предохраняет от ржавчины, но он же при случае замазывает дефекты. Правду я говорю, товарищ Умнов?

— Правда, — согласился Умнов, покраснев, точно именно он замазывал тавотом дефекты.

— Попробуйте развинтить щечки.



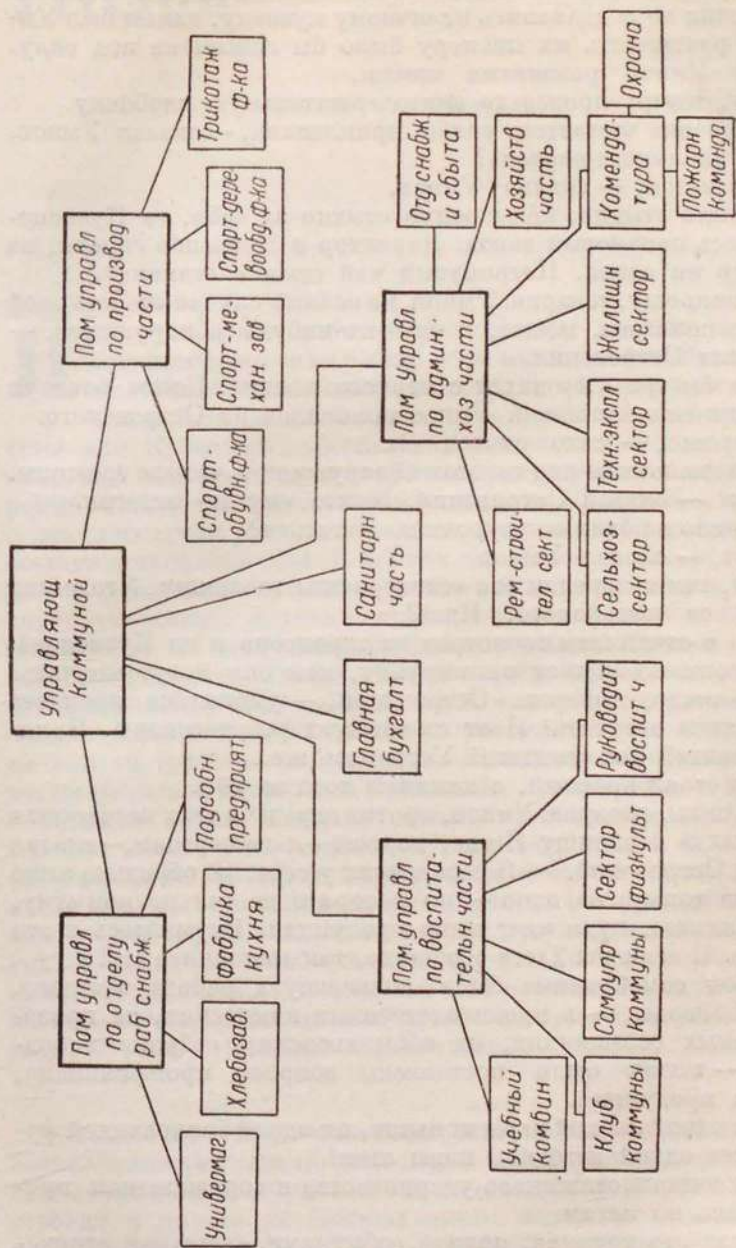


СХЕМА УПРАВЛЕНИЯ БОЛШЕВСКОЙ ТРУДКОММУНОЙ

Умнов начал развинчивать. Это оказалось нелегким делом. Если щечки не поддавались отличному кузнецу, каким был Умнов, то развинтить их пионеру было бы совсем не под силу. Кое-как Умнов развинтил щечки.

— Ну, теперь проверьте винтодержательную скобочку.

— Скобочка шатается, слабо приклепана, — сказал Умнов.

— А каблукдержатель?

— Шатается, — сказал Умнов.

Ему было стыдно, невыносимо стыдно за себя, за Кузнецова, за весь коньковый завод. Директор и Кузнецов сидели, не проронив ни слова. Нетронутый чай был в стаканах.

— Я попрошу, товарищ Умнов, на всякий случай стереть слой тавота с полозьев, может, и там что-нибудь обнаружится, — предложил Островский.

Умнов быстро стер тавот с первого конька. Полоз блеснул безукоризненной линией. Умнов покосился на Островского.

— Хорошо, — тихо сказал он.

На втором полозе под тавотом обнаружились четыре трещины.

— Ну? — сказал Островский. Никто ему не ответил.

— Можно на этих «снегурочках» кататься?

— Нет, — сказал Умнов.

— Ну, так я передам эти «снегурочки» товарищу Ягоде как подарок от конькового. Идет?

Умнов с отчаянием посмотрел на директора и на Кузнецова. Что же они не спешат на выручку, как они могут молчать?

— Не надо, товарищ Островский, — умоляюще произнес он. — Зачем огорчать! Я от имени всех ребят говорю. Наляжем, правда! Вот увидите! Устраним все...

Умнов стоял красный, с каплями пота на лбу.

— Если вы, товарищ Умнов, против передачи этих несчастных «снегурочек» товарищу Ягоде, хорошо — я не передам, — сказал товарищ Островский. — Я оставлю их у себя. Я обращаю ваше внимание только на одно — вы позорите не только коммуну, но и «Динамо», куда идет ваша продукция. Вдумайтесь в это получше. И если уж даете обещание, так выполните его.

Суровой самокритике была подвергнута работа каждого. На всех заводах — в производственных комиссиях, на производственных совещаниях, на общезаводских собраниях большевцев — всюду были поставлены вопросы промфинплана, качества продукции.

— Ни одной плохой пары коньков, ни одной бракованной фуфайки, ни одной негодной пары лыж!

Волна социалистического ударничества и соревнования прокатывалась по цехам.

Так шла эта трудная, полная событиями, обильная огорчениями и радостями зима.



# УГОЛОК

**П**рошло то время, когда Богословский, старейший работник коммуны, знал в лицо и по имени любого воспитанника. Положение изменилось. Каждый день коммуна пополнялась новыми обитателями. Не только Богословский или Кузнецов не могли знать всех воспитанников, но и сами они частенько не опознавали друг друга несмотря на широкие знакомства в старом блатном мире. Услышав о коммуне, в нее приходили уголовники-одиночки с воли. По собственному желанию являлись целые партии из тюрем и лагерей. Одних влекло давнишнее желание кончить с опасным ремеслом и начать трудовую жизнь. Другие — преимущественно молодежь — спешили сюда, не дожидаясь очередного ареста. Третьи — наиболее закоренелые — все же сознавали, что воровскому миру наступает конец, и также тянулись в коммуну. В первые дни такие больше всего доставляли хлопот воспитателям. Но коммуна уже не боялась трудностей. Руководители накопили достаточно опыта, им помогали активисты. Принципы, применяемые в коммуне, оправдали себя. Каждому вновь приходящему в Болшево хватало дела на производстве, строительстве, в культурных организациях. Воспитатели получили неограниченные возможности подхода к людям с полным учетом их индивидуальности. Еще не так давно появление первых девушек вызывало у многих опасение за судьбу всей коммуны. Теперь бывшие страхи казались смешными. Приезд опытной воровки Лели Мецерекой остался почти незамеченным, да ее и не пришлось уговаривать, как это было с Огневой и Шигаревой.

Только одно лето можно было считать счастливым в детстве Лели. Звали ее тогда по всей деревне Ольгушкой, а ребятишки еще добавляли: лягушка. В то счастливое лето отец не пьянствовал и привез из Москвы много подарков: селетки, чай, сахар, ситец, платок матери, а детям, Ольгушке и маленькому сынишке, по соломенной шляпе.

Осенью отца взяли на войну. Ольгушка подрастала без него. Мать была довольна помощницей. Потом пришло извещение что отец убит — «пал в бою», как сообщало письмо.

Мать, ставшая полноправной хозяйкой над захудалым имуществом, решила отправить Ольгушку из деревни к тетке в Питер — пусть чему-нибудь поучится.

Тетка жила в «самом конце города», как она сама говорила. «Конец» был весь из старых домов, давно предназначенных к сносу. Одинокая старуха перебивалась постирушками, ходила мыть посуду, чинила какие-то ношенные-переносные штаны и рубахи.

Ольгушка помогала ей, потом стала работать на квасном заводе — мыла бутылки.

После Февральской революции тетка устроила ее через знакомых в типографию. Ольгушка подрастала, но парни не хотели с ней гулять. Она долго не складывалась: слица была желтовата и телом костиста. По вечерам, сидя на лавочке, она тосковала. Мимо проезжали какие-то люди — мужчины и женщины — веселые, хорошо одетые. Они ехали на Стрелку смотреть заход солнца. И никому не было дела, что у Ольгушки убили отца, что мать не пишет и что тетке пора на покой, а ей, девчонке, хочется хоть раз тоже поехать на Стрелку посмотреть на закат солнца.

Пришли октябрьские события. Вся типография ходила к заставе, дрались, потом на Марсовом хоронили кого-то, а Ольгушка отсиживалась в низеньком домишке. Тетка все приговаривала:

— Не ходи, ты — маленькая, с тебя не взыщут!

С Ольгушки и не взыскали. Она так и осталась работать в типографии, где переменялось начальство, а ребята остались прежние.

Перестали ездить господа на Стрелку, мимо ездили машины с военными, людьми простыми и деловыми.

Ольгушка работала старательно. В типографии начальство стало ее выделять. Ребята вдруг заметили, что у Ольгушки красивые глаза и кудрявые волосы, стали просить вечером: «Спой, Ольгушка». У нее появились новые знакомые. Тетка предостерегала:

— Гляди, забеременеешь, тогда ищи их!

Ольгушка ходила раза два на комсомольские собрания, но там ей показалось скучно: то ли дело Жора!

Он служил в почтовой конторе, у него — всегда деньги, новый пиджак. И не раз звал Ольгушку поехать на Стрелку развлечься.

Она подумала и однажды решила:

— Поедем в воскресенье.



Они ехали на лихаче. Широкая спина ватного армяка, ременной кушак, шляпа с ворсом и лаковая коляска были совсем такие, как до революции. Жора спросил:

— А как вас мамаша звала?

— Ольгушкой, — сказала девушка.

— Ну, а знакомые?

Ольга припомнила деревенских ребятишек и постыдилась сказать, что ее звали лягушкой. Она покраснела и сказала:

— Никак.

— Тогда я вас буду звать Леля, разрешаете? — спросил Жора и взял ее руку.

Домой они вернулись под утро. Тетка, отперев дверь, только и сказала:

— Добегалась!

Из типографии Ольгушка ушла. Жора пообещал устроить ее на другую работу.

Ольгушка переехала к нему. Тетка махнула рукой:

— Ныне и невенчаных много живет.

Жили хорошо. Она иногда начинала допрашивать Жору, сколько он получает.

— А тебе мало? — отвечал он. — Могу еще дать! — и выкидывал червонцы.

Тетка ходила, как именинница:

— Ольгушке-то счастье! Бог, он — справедливый, сироту не оставляет! Была у них, одарили меня. Теперь у меня чай с сахаром не переводится. Конфеты есть...

Ольга хорошела. Платья ли делали ее лучше, счастье ли меняет человека, только на улице все смотрели на высокую стройную девушку. Лицо строгое, руки тонкие, а когда улыбалась, то даже дворники у чужих дворов здоровались.

Жора иногда пропадал куда-то на всю ночь, потом просил прощения, говорил, что в карты играть любит, и высыпал перед Ольгой кредитки. Ольга верила. Так жили месяца два. Потом Жора не явился и утром, не явился и вечером. Ольга пошла в учреждение, где работал Жора, ей сказали, что давно уволился. Сестра Жоры сообщила, что он арестован.

— За что? — спросила Ольга.

— Ты, Леля, не волнуйся, он скоро придет. Никуда не ходи, я все сама сделаю. Меня брат просил об этом.

— Разве он знал, что его арестуют?

Сестра стала что-то врать. Ольга повернулась и ушла.

Через четыре дня пришел Жора. Он ввалился в комнату грязный, небритый, но веселый и довольный.

— Загрустила, детка? Что же ты не рада, Леля?

До вечера Ольга плакала и все расспрашивала, за что его арестовали и почему ей не надо было искать его.

Жора отговаривался, потом усмехнулся:

— Ну и святая душа! Первый раз такую девчонку вижу. Ты думаешь, деньги с неба падают?

Ольга похолодела:

— Я ведь говорила, что пойду работать. Можешь не спекулировать!

— Чудачка! — опять криво усмехнулся Жора. — Если б спекуляция, так я себе руку бы отрубил.

— Если не спекулируешь, тогда что? Ведь не воруюшь же ты? — крикнула она запальчиво.

— А если ворую?

Ольгу поразила грустный жоркин голос.

Она металась по комнате и все натыкалась на Жорку, и хотя Жорка не обнимал ее, она от него отскакивала.

— Ты не мучайся, я уйду! — он встал и шагнул к двери, прошел длинный коридор и звякнул цепочкой. Ольга крикнула:

— Жора! Куда ты?

Она уже хорошо знала его товарищей. Понемногу начинала понимать воровской жаргон. Потом ходила по тем квартирам, которые должен был Жора обобрать. Звонила, и если кто-нибудь выходил, она спрашивала первое попавшееся имя. Ольга чаще всего спрашивала своих деревенских, которых помнила. Было легче сказать: «Здесь ли живет Василий Терентьевич?»

Так началась ее воровская жизнь.

По шалманам Ольга не скрывалась. День-два переждет у тетки, старуха всегда встречала племянницу с плачем и не радовалась уже пышным подаркам. Жорка был в ссылке. Леля решила переменить место работы. С «липой» выехала в Москву. Явки были, связи крепкие, и жизнь закружилась. Леля «бегала» уже «по городской». Сашка Шишка уговаривал начать совместную жизнь — Ольга ждала Жорку. Сашка не приставал — Лелю уважали как женщину серьезную и положительную.

На Сретенке в ресторанчике, где зачастую встречалась она со своими компаньонами, сбытчиками краденого, с извозчиками, которые возили на «дело», Леля узнала о смерти мужа. Говорили, что расстрелян, кто-то сказал, что убит при перестрелке. Леля хрустнула пальцами и сказала:

— Пойдем куда-нибудь!

Они наняли извозчика в Марьину рощу. Шишка и еще один вор, Барин, везли ее к знакомому «Каину» — они знали, что и водка и закуска всегда готовы у доброго человека.

Дверь отворила осторожная хозяйка.

— Свои, — Сашка Шишка подмигнул и протиснулся вперед.

Леля заметила в углу комнатухи портновский стол, утюги,



на стене висели большие ножницы, похожие на те, которыми стригли овец. Ольга усмехнулась:

— Это тут?

— Проходите, проходите, рада очень, — лебезила хозяйка, поглядывая на Шишку. — Сейчас и сам будет.

Шишка шепнул ей что-то, и хозяйка с готовностью провела Лелю в другую комнату. Эта комната была побольше, светлее, оклеена обоями, на стенах висели картинки из журналов, абажур лампы был украшен бумажными розами.

Но Леле и здесь не нравилось. На столе была постлана грязная, в коричневых пятнах скатерть. В комнате стояли табуретки, новенькие, свежеструганные, но уже заляпанные, залитые чем-то густым и клейким. У фикуса из семи листьев шесть пожелтели.

— Хоть бы цветов полили! — сказала Леля.

Шишка бросил гитару и выбежал в другую комнату. Он принес ковш воды и начал изо рта прыскать на фикус.

— Брось ломаться, — попросила Леля. — И пусть водки дадут. Жжет!

Шишка опять выскочил из комнаты.

Барин — с ним Леля встречалась всего третий раз — подошел к ней.

— Вы такая интересная вдовушка, зачем скучать? — и взял ее за руку.

— Брось, — отодвинулась в угол Леля. — Чего ты лезешь?

В комнату разом ввалились Шишка, хозяин и два молодых парня. Принесли бутылки, банки консервов. Перед Лелей поставили коробку с конфетами.

Леля налила стакан водки и залпом выпила.

— Селедочки, — пододвинул хозяин тарелку.

Леля усмехнулась и налила еще стакан.

Леля пила. Ей казалось, что она не пьянеет. Шишка давно сидел с ней рядом. Он вытирал слезы с лелиного лица сначала платком, потом руками, потом опять платком. Леля плакала, широко открыв глаза. Плакать под гитару было легко.

Ночью приехали еще какие-то люди. На рассвете Леля попросила Шишку:

— Помоги выйти, мне плохо. — Но Шишка спал.

Лелю мутило. Барин помог ей выйти.

«Господи, какая жизнь!» не то сказала, не то подумала Ольга, шагая через порог.

Аресты в Ленинграде, Москве, Казани, Сызрани, Томске, приводы, изоляции, суды, приговоры, лагеря, побег.

И Леля Счастливая, так называли ее знакомые воры за удачу в кражах, сидела последние дни в МУУРе, дожидаясь отправки в Соловки.

Голос ее огрубел, под настороженными глазами морщины. У нее даже волосы перестали виться. В камере шумели девушки, молодые воровки, только начавшие «работать». Они с уважением уступали Лельке лучшее место в углу. Она покорно, как ей казалось, готовилась в дальний путь. И в Соловках люди живут.

В МУУР на отбор приехала комиссия из Болшева. Комиссия работала под председательством товарища Вуля.

Девчонки в камере волновались.

— Вы что? — строго спросила их Ольга. — Чего вы кричите?

— Леля, Лелечка! Приехали из Болшева, — и девушка схватила Лелю за плечи.

«Рада, дура», подумала Ольга, но не захотела огорчить девушку. Пусть хоть этому порадуются.

Леля легла на койку и отвернулась к стене.

Девчонки кричали, бегали, их вызывали, они возвращались, кричали: «Меня берут!»

Леля страдала, что никуда нельзя уйти от этой оравы, заткнуть уши, закричать, пожаловаться. Почему ее никуда не берут, никто за ней не приходит и ей один путь — в Соловки? А может, и она прехала бы! Лелька Счастливая заплакала. Она плакала тихо, чтобы никто не мог подумать, что им, «сывкам», завидуют.

В камере притихли. Кто-то сказал:

— Она спит.

— Разбудите. Ее зовут на комиссию.

Леля пальцами протирала глаза, она притворялась, что только что проснулась. Она не знала, зачем ее зовут туда, к Вулю. Может, сегодня ей дадут приговор? Может, сегодня и ее «обрадуют»: три года Соловков, а может быть, все пять!

Леля длинным коридором прошла в кабинет Вуля.

Перед ней стояли еще какие-то девушки. Леля отстранила их: — Пропустите, меня вызывали.

За столом сидел Вуль, рядом с ним незнакомая черноволосая женщина, потом Нюрка Огнева, неплохая воровка, в «Новинках» сидели вместе, и Маша Чекова, тоже из «Новинок».

— Вот она, — сказал Вуль.

Огнева, не здороваясь, с любопытством посмотрела на Ольгу.

«Ишь, сволочь, — озлилась Лелька, — какую святую стала разыгрывать! Чорт с ней, мне ее поклон не нужен».

Женщина, сидевшая рядом с Вулем, что-то тихо зашептала. Вуль покачал головой и сейчас же спросил Лелю:

— Хочешь, Счастливая, в коммуну?





Одна из улиц коммуны

«Что он, смеется, что ли?» насторожилась Леля.

— Сколько тебе лет? — спросила деловито Огнева.

«Будто не знает, подлая», еще пуще обозлилась Леля, но все же ответила:

— Двадцать шесть.

— Да что ты? — удивилась Огнева. — Да тебе же меньше. Леля! Ты меня узнала? — И Огнева улыбнулась.

— Узнала. А лет мне все-таки двадцать шесть.

Женщина опять что-то тихо сказала, но Огнева начала оспаривать громко:

— Нина Николаевна, надо обязательно взять. Я же давно ее знаю. Она подходящая, честное слово.

Женщина повернулась опять к Вулю.

И Леля вдруг поняла: она боится, что ей откажут. Она не сводила глаз с женщины: «Ну, что тебе стоит? Почему же ты не хочешь?»

Женщина согласилась:

— Хорошо, давайте возьмем. Хотя по возрасту она не совсем подходит.

Женщина говорила, а Лелька бежала уже по коридору и, ворвавшись в камеру, закричала, как девчонка:

— Девушки, милые, меня тоже берут!

Они выехали под вечер на грузовике; ехали по бульварам, свернули от Трубной к Самотечной.

«Мимо Сухаревки», определила машинально Леля, и действительно грузовик свернул к Сухаревке. С грузовика площадка казалась маленькой и грязной. Леля всматривалась в толпу, пытаясь найти знакомое лицо, но автомобиль свернул на Мещанскую, и Сухаревка гудела где-то позади.

«Зачем я туда еду? — задала себе вопрос Леля. — Чорт ее знает, что это за коммуна».

Переступая через ноги девчат, к Леле пробиралась Огнева.

— Послушай, — наклонилась она к Леле. — Ты знаешь, Леля, что я за тебя поручилась. Тебя в коммуны не хотели принимать. Мне пришлось тебя отстаивать, так ты смотри, если что, так мне скажи... Понимаешь?

«Что она болтает?» нахмурилась Леля, ничего не поняв.

— У нас в коммуны теперь строго стало. Ребята друг за друга ручаются, — продолжала Огнева. — Я за тебя поручилась, понимаешь?

— Ничего не понимаю. Но ты не бойся, тебя я не подведу.

Проехали последние домики города. Постепенно начался лес. Стало темнее. Леля обрадовалась: пусть никто не видит, что она плачет.



Подъехали к дому. Дом деревянный, раскидистый. У дома — ребята. Грузовик дальше не идет. Значит, здесь.

— Привезли?

— Привезли, иль ослепла? — задиристо отвечала Огнева. Девчонки выпрыгивают из грузовика. Леля стесняется выходить: она такая высокая, взрослая, самая большая. Она соскакивает с другой стороны, где меньше ребят.

— Так и убить можно! — говорит парень, отряхивая рукав белой рубахи. Леля задела его.

— Простите! — Леля стесняется. Парень помогает ей достать чемодан, и они вместе идут к крыльцу.

Ужин, песни, разговоры, смех, знакомые, наконец, чистая постель — вот первый вечер.

«Беззаботная жизнь», подумала Леля. Но она долго жила на свете и знала, что так не бывает.

Утром проснулась рано. Солнце вставало ясное, но холодное. Леля открыла окно. Девчата просыпались и смотрели на новенькую.

— Можно мне выйти? — спросила Леля.

— Иди, куда хочешь! — ответили ей.

Леля вышла из дома и пошла по дорожке в лес. Лес был пустой. Леля шла и думала. Когда она вернулась, то хотела рассказать, как хорошо в лесу. Ей казалось, что на обратном пути пели птицы, но вспомнила, что осень, птиц нет, и засмеялась. Девчонки бегали к умывальнику, растирали тело мокрыми полотенцами, долго расчесывали волосы. Те, кто работал утром, спешили пить чай. Леле показали умывальник, дали кружку, хлеб. Она всех благодарила.

Позже в спальню пришла Нина Николаевна. Она поздоровалась с Лелей, осведомилась, все ли у нее есть.

«Сухарь, а не баба», определила Леля.

Она все еще помнила, что Нина Николаевна не хотела ее брать в коммуны.

Три дня гуляла Леля по коммуне, по лесу.

На третий день вечером Нина Николаевна спросила, куда Леля хочет идти работать.

Леля обрадовалась. Работать ей хотелось. И утром следующего дня она пошла на трикотажку.

Теперь дни стали будто еще лучше. Друзья в Москве не знали, где Леля. Она решила пока им не писать. Посмотреть, что выйдет из этой жизни. Она все еще не верила, что выйдет толк. Дали ей работу на одноигольной машине, обещали перевести потом на двухигольную.

Говорили, что скоро будет заседать конфликтная комиссия. Леля решила пойти. Ее и Нина Николаевна позвала:

— Леля, сегодня вечером приходи на конфликтную.

Леся попла.

Разбирали скучные незначительные конфликты. Кто-то влез в чужую тумбочку, стащил кусок сахара, рылся в вещах.

Воровки рассказывали про воровок, какие они сделали проступки. В президиуме сидели тоже воровки, и они разбирали все дела. Но тут же сидели и Нина Николаевна и Богословский — дядя Сережа. И воровки, не стесняясь никого, будто даже радуясь, что могут при чужих рассказывать о всяких мерзостях, срамили и обличали подруг. Леся все хотелось крикнуть: «Замолчите, проклятые, тут чужие, лягавые! Разве мы не можем сами проучить? Кто вас за язык тянет? Перед кем выслужиться хотите?»

Уйти ли сейчас же, прямо с собрания, или поговорить на чистоту со всеми в спальне, высказать, что она о них думает, и тогда бросить коммуны?

И тут встала Бесфамильная, воровка с большим стажем, и вдруг сказала:

— Товарищи, а у меня есть еще один вопрос, но посерьезнее: это относительно пьянок. Я ставлю вопрос о Шурке Кузьминой. Она из Москвы вчера приехала опять выпивши.

Леся вскочила и, с силой расталкивая подруг, выбежала из комнаты. Нина Николаевна посмотрела ей вслед без всякого удивления.

Леся все ясно и просто было в домзаке, ясно и просто представляла себе Соловки, но коммуна вывернула вдруг весь воровской мир наизнанку, и Леся показалось, что дальше идти некуда. Это то самое поганое место, которое для честного вора хуже смерти.

Леся в спальню пришла поздно, когда все спали.

— Набегалась? — спросила ее Бесфамильная. — Настралась, девушка? Это полезно. С каждым человеком должно такое произойти.

— А ты разве человек? Откуда тебе знать, что со мной делается?

— А как же? Ты думаешь, мы не бегали? Ты думаешь, со старой жизнью легко рвать? Нет, милая, еще помучаешься.

Бесфамильная повернулась на постели и затихла.

— Что ты, как ворона, каркаешь? Мне мучиться? Я здесь не останусь!

Леся кричала на всю спальню.

Просыпались девчата.

Шурка Кузьмина спросонья спросила:

— А куда пойдешь?

— И ты, и ты с ними! — обозлилась Лелька. — И тебе не стыдно?



— Чего? — совсем проснулась Шурка. — Что пила? Стыдно! Мне дядю Сережу стыдно. Он уж сколько раз меня просил!

— Просил! — передразнила Лелька. — Скажите пожалуйста, он ее просил! А ты его слушаешь!

В комнату вошла Нина Николаевна. Она еще не ложилась. Кофточка была застегнута, и вязаная шапочка не снята с головы.

— Не шуми, Леля, — остановила она, — спи и другим дай спать. Завтра работать. А если взволнована чем-нибудь, спать не можешь — иди ко мне.

— Я спать буду! — отрезала Леля и, не раздеваясь, кинулась на постель.

Отношения с девочками портились не по дням, а по часам. Все свободное время Леля проводила где-нибудь вне общежития. Девушки раздражали ее. Особенно она ненавидела тех, которые приехали вместе с ней. Они уже обживались, шептались по углам, называли имена каких-то парней, хихикали, навивали челки, пудрились.

«Вот они, воровки! — думала Леля. — Показали им мужиков и хватит! Мажутся, поют, пляшут».

С Ниной Николаевной Леля не разговаривала вовсе. Она и девочек презирала больше за то, что они перед воспитательницей как будто заискивали. Леля была уверена, что они наushничают.

«Сплетницы! Предательницы!»

Леля перестала с ними разговаривать. Уйти из коммуны она еще не решалась. Ее останавливал страх — а вдруг все-таки следят, сразу схватят и в Соловки. Она аккуратно ходила на работу, не пила — впрочем, она и раньше пила не часто. Только с людьми разговаривала грубо и насмешливо.

В Москву Леля написала, сообщила, где она находится, и, когда ее приехали навестить, она отвела душу. Она рассказала о коммуне, о тех, кто в ней живет и что она, Леля, о них думает.

Приезжие из Москвы слушали Лелю относительно спокойно:

— А ты что хотела? Коммуна — не шалман! Разве ты не знала, куда шла?

Леля и с ними поругалась. На прощанье она только и сказала:

— Пришлите мои вещи и деньги, которые еще остались.

Деньги ей прислали по почте. Денег было сто рублей. Повестьку Леле вручили в конторе. Она обрадовалась: с деньгами легче пуститься в путь. На почте денег не выдали, сказали, что надо будет повестьку заверить в коммуне. Леля побежала обратно. Она попросила Нину Николаевну получить деньги и, не раздумывая, подписала доверенность.

Она уже строила планы: куда поедет, с кем будет «бегать», отдала в починку туфли. Прошло три дня, а денег Нина Николаевна ей не отдавала. Леля спрашивала каждый день.

И всегда один ответ: «Не было времени, получу, куда тебе спешить?»

«Куда спешить? — подумала Леля. — А что мне тут торчать?»

Потом Нина Николаевна деньги получила и все же выдала Леле только пять рублей.

— Тебе больше не надо, у тебя все готовое. Ты новенькая, мы тебя еще не знаем! Не проверили!

— А вам какое дело? — кричала Леля. — Если коммуне нужны мои деньги, пусть возьмут. Чорт с ними. Я могу больше достать!

— Коммуне твои деньги не нужны, но и тебе сразу столько не нужно.

Лелю взорвало:

— Позвольте мне знать, сколько мне нужно. Может, вы привыкли на пяточки жить, а я нет.

Нина Николаевна пожала плечами, а денег все-таки не дала.

Общежитие собиралось переезжать в новый дом. Девчонки гладили простыни и белые пикейные одеяла. Леля была равнодушна ко всей этой суетне: «Плевать на новый дом! Мне в нем все равно не жить!»

И когда надо было перебираться, Леля свернула кое-как в узел постель, сложила чемодан и вместе с остальными потащи-лась к новому дому. Ее не радовали ни свежие стены, ни промытые стекла, ни длинные коридоры, ни теплые уборные: «Тожке, обрадовались, эка невидаль!»

— Ты будешь спать тут, Леля!

Леля машинально бросила узел с постелью и только потом посмотрела на свою кровать. Кровать стояла второй от двери, на самом ходу.

— На тычке? Меня, старую воровку, кладут спать на тычке?

Леля, схватив тумбочку, со злобой гулко опустила ее на пол.

— Эх, чтоб ей гроб такой на том свете! — пожелала она от всего сердца Нине Николаевне.

Та молча стояла в дверях. Леля даже не оглянулась. «Чорт с ней, пусть лопают!»

Леля кое-как накрыла постель. Она решила твердо, что сегодня же уйдет из коммуны.

Девчонки побежали в старый дом за какими-то столами. Они даже не позвали Лелю, и это ее обозлило: «Что я, хуже их, что ли?»

В спальне осталась она одна. «Не все ли равно, в каком углу спать», подумала Леля.

В комнату вошла Нина Николаевна.

— Леля, вот тебе из МУУРа прислали, — и она отдала ей бумажку.

Леля развернула листок. Читала и тряслась. Пришел приговор: пять лет Соловков.



— Не ко двору пришлась, Нина Николаевна? — губы у нее задрожали, она села на кровать.

— Леля, ты что? — Нина Николаевна наклонилась над ней. — Ты что волнуешься? Ты же ведь не получала приговора, так вот его и прислали в коммуны. Ты думаешь, тебя высылают? Нет, тебя в коммуне никто не тронет. Ты не волнуйся, хочешь воды?

Леля пила воду и смотрела на черноволосую Нину Николаевну. Та вдруг улыбнулась, и Леля подумала: «А ведь ей меня жалко».

Она долго еще всхлипывала и незаметно для себя уснула. Нина Николаевна тихонько вышла.

— Пора вставать, принцесса! За хлебом бегать мальчиков нет! Леля поняла, что это ей говорят. Она плотнее закрыла глаза: «Ну их к черту и с хлебом».

— Слышишь? Я тебе говорю! — Огнева толкнула Лелю. — Пора за хлебом бежать!

— Не толкай, за хлебом бегают только поросята, а я не пойду.

— Что?

— Не пойду, поняла? Ни за что не пойду.

— Ты что, белены, что ли, обьялась? — спросила ее грубовато Бесфамильная. — Что ты с утра психовать начала? Сон, что ли, плохой видела?

— Тебе какое дело до моих снов? Какие хочу, такие и вижу!

— Вставай, вставай, девушка, пора! Из-за тебя и мы голодные на производство пойдем.

И эта мирная, казалось бы, фраза окончательно вывела Лелю из терпенья.

— Вы проклятые! Вы все проклятые! — кричала она, стоя на постели. — Я сказала, что не пойду, и не пойду. Кто смеет меня посылать?

Вошла Нина Николаевна и, не взглянув на Лелю, обратилась ко всем, кто был в комнате:

— Вот какая история. Мы уже много говорили об устройстве красного уголка. Надо, чтобы это было сделано: вы сами подумайте, девушки, ведь ни посидеть, ни почитать, просто спокойного места нет. Может на днях приехать товарищ Погребинский. Ведь стыдно будет? А там мы уберем, украсим, летом живые цветы будем ставить! Я вот все думала, кому поручить это дело? Мое предложение, чтобы сегодня же взялась за украшение Леля: дело ответственное, нам нельзя ударить лицом в грязь перед мужскими корпусами, тут надо вкус иметь и выдумку.

Леля села на постели и закрылась одеялом.

Девчата молчали.

— Как же вы все-таки думаете?

— Ее нельзя, — строго заговорила Чекова. — Она, Нина Николаевна, в быту нехорошая.

— Чем? — озлилась Леля. — Чем я в быту нехорошая? Пью? Нарушаю порядок?

— Нарушаешь, — отрубил Чекова. — Сегодня твоя очередь за хлебом идти, а ты все еще лежишь. Нам на производство надо, а из-за тебя без завтрака идти приходится. Это порядок по-твоему?

— Пойдите, — остановила Нина Николаевна. — Ты почему не пошла за хлебом, раз твоя очередь?

— Не хотела!

— Это не ответ, Леля. Сегодня ты не пойдешь, завтра — другая... Впрочем, это мы сейчас уладим. Я все-таки думаю, что это дело надо поручить Леле. За хлебом она ходит. Тут только вопрос: сумеем мы сами сделать лучше, чем другие, или нам придется попросить помощи. Как вы думаете? — И Нина Николаевна посмотрела в упор на Лелю.

Леля хотела ответить, но ее перебили:

— А что те знают?

— Сами сумеем!

— Ни за что не надо просить помощи!

Леля подумала: «Чего они-то волнуются, если мне поручают это дело?» Она ответила:

— Я думаю, Нина Николаевна, что мы сами справимся.

Красный уголок украшали старательно. В два часа ночи Нина Николаевна настойчиво потребовала, чтобы девчата пошли спать. Леля уприсила оставить ее еще на десять минуток, чтобы забить последние гвоздики. И когда все вышли, Леля заперла дверь и с порога оглядела комнату: некоторые лозунги висели криво и явно не на месте, полотнища комкались и мялись, их надо было натянуть и задрапировать, чтобы они сузились у портрета Ленина, и портрет надо чуть-чуть наклонить, тогда лицо будет выделяться яснее. И она решила переделать все по-своему.

Утром ее хвалили, восторгалась. Из соседних общежитий прибегали мальчишки посмотреть. Они всячески исхитрялись заглянуть в замочную скважину, в завешенные окна. О красном уголке женщин заговорила вся коммуна.

Нина Николаевна принесла Леле отпущенную:

— Можешь до вечера ехать в Москву.

Леля заторопилась. Она достала самое нарядное платье, то, в котором она в последний раз ходила на «дело». Она его гладила, и вся спальня наблюдала за ней — был выходной день.



Леля попудрилась, подкрасила губы.

Бесфамильная жестоко похвалила:

— Ишь собралась, прямо хоть на «дело»! Городушница!

Леля оглядела себя еще раз. Сбоку мотался какой-то нелепый кусок. Ей он казался особенно шикарным, она помнит, что когда шла по Петровке, то легкий шелк отлетал и опять прилипал к юбке. Короткие рукава обнажали ее тонкие руки.

Леля молча стянула платье, скомкала и бросила в корзину. Опять надела синюю юбку и белую кофту, в которых ходила на производство, и вышла из спальни.

— Строптивая девушка, — сказала Бесфамильная.

Из Москвы Леля возвращалась с большевцем Любарским. Впрочем, они и туда поехали вместе. Они шли со станции. У Лели навертывались слезы.

Любарский уговаривал ее:

— Брось ты, Леля, тосковать. О плохом тоскуешь.

— Отстань, у нас поп такой был. Он тоже все гнусавил!

Любарский смутился. Леля остановилась среди дороги.

«Что мне с ней делать! — растерялся Любарский. — Сказать: пойдём, — она ни за что не пойдёт. Сказать, что в клубе новая пьеса идет, — она смеяться будет, пошлет к чорту. Просто взять за руку и потянуть, она оттолкнет и тогда уже непременно уедет обратно в Москву». Он не знал, что сказать, и когда отчаяние достигло предела, спросил сердито:

— Неужели для тебя так и нет ничего в коммуне хорошего?

Леля засмеялась и, слегка толкнув его в спину, сказала:

— Идем, найдетсЯ!

Лелю назначили заведывать красным уголком. Она ходила счастливая, гордая, но несколько смущенная. Она опять была на конфликтной. Необыкновенные мысли переполняли ее: вот она стала заметной работницей, ей доверяют, ей дают поручения. Она не слушала, о чем говорят выступающие товарищи, но когда Бесфамильная закричала с обычной горячностью, что Манька Русая хочет бежать из коммуны, Леля насторожилась.

Бесфамильная рассказывала о переживаниях Маньки, как о своих собственных. Леля удивилась: «Откуда она это так хорошо все понимает?»

Весь вечер говорили с Манькой, та вначале расплакалась, потом повеселела и пообещала:

— Никуда я не пойду, ладно! Просто настроение такое было.

В спальне Леля похвалила Бесфамильную:

— А здорово ты людей знаешь!



Болшевские физкультурницы

В женском общежитии





— Наука небольшая, надо только о них думать побольше, все станет ясно. Ты помнишь, в первый раз с конфликтной убежала, а сегодня самой понравилось. Меня последним человеком считала, а сегодня вон — хвалишь!

— Ладно уж, опять начал каркать!— сказала Леля сердито, хотя на душе у нее было легко и весело.

# МИХАЙЛОВ

1

Уход в коммуны пахана Мологина заставил многих старых воров, гулявших на воле, крепко задуматься. Иногда какой-нибудь вор в пивной за бутылкой кислого пива унылым шопотом передавал своему приятелю:

— Сегодня опять Мологина встретил.

— Ну, как?

— Да ничего. Говорит — некогда. Всего только парой слов перекинулись. Приезжал за костюмами для спектакля в ихнем клубе.

Болшевцев видели свободно гуляющими по улицам столицы. Они попадались в кино, театрах.

Задумался и Николай Михайлов. Младший брат его Костя давно уже был в коммуне и неоднократно уговаривал старшего бросить грязное ремесло.

Николай крепко держался за свою кустарную швейную мастерскую, которая не столько приносила ему дохода, сколько служила ширмой для прикрытия воровских делишек.

Сегодня Костя опять пришел к брату. Николай послал девочку из мастерской за водкой и поставил на примус эмалированный чайник. Водку и закуску он подал на маленьком черном подносе.

Костя любит отдохнуть от коммунской жизни в такой обстановке.

— Ну, Коля, скоро к нам приедешь? — спрашивает он.

Николай сердится. Нет, он не пойдет в эту богадельню.

— Хороша богадельня! — без обиды отвечает Костя. — Посмотри-ка на мои руки, — и он показывает брату огрубевшие за полгода руки.

Николай смотрит и брезгливо морщится:

— Грош цена этим мозолям.

Костю задел за живое этот пренебрежительный тон:

— А ты знаешь, что для нас коньковый завод с заграничным оборудованием построили?

— Представляю себе, каких вы наляпаете уродов.



Николай свысока посматривает на брата. Изредка он на минутку выбежит в мастерскую — распорядиться, подтянуть болтливых швеек.

— Хозяйский глаз много значит во всяком деле, — многозначительно говорит он Косте.

— Теперь у нас уже со многих сняли судимости, — продолжает свою линию Костя.

— И выдали паспорт? — интересуется брат.

— Профбилеты!

— Ну, и они ушли из коммуны?

— Многие остались.

— Подумаешь, райская обитель!

Николай принимает насмешливый, высокомерный вид. Это совсем не идет к его простому лицу.

«Ну что же, пусть, пусть поерепенится, — думает Костя. — На то он и старший брат».

Костя далеко не примерный коммунар. Вот он у брата водку пьет, а был случай — к теще зашел и «дельце» с ней состряпал. Не так-то уж легко сживаешься с коммунистскими порядками. Но он все-таки гордится коммуной.

— Напрасно ты хорохоришься, Коля, мастерская тебя не спасет. Ты теперь хозяйчик, распоряжаешься швейками, — кивнул он на мастерскую. — Но разве ты уверен в завтрашнем дне? Ведь ты лишенец! Подумать только — буржуй и лишенец!

— И жизнь у тебя беспокойная, — продолжает Костя, — живешь ты по липе — это раз, за тобой лет двадцать неотбытых тюремных сроков — это два... И чего ты раздумываешь: Мологин — и тот в коммуне...

— Не уживется, сбежит. Я знаю эту рыжую лису, — сказал Николай.

Но когда Костя собрался уходить, Николай остановил его:

— Я, может быть, к вам приеду на днях. Любопытно взглянуть, как чекисты честных жуликов дурачат.

Костя вернулся из отпуска довольный собой.

— Скоро Коля Михайлов приедет посмотреть коммуну, — говорил он.

И все понимали, что когда старый вор едет что-либо посмотреть, то он это делает не ради пустого любопытства.

После нескольких поездок в коммуну Николай подал заявление в приемочную комиссию, но ему отказали как переростку.

— Неужели в мои годы люди не поддаются переработке? — не без ехидства спросил он у председателя приемочной комиссии.

Председатель не сразу нашел, что ответить. Наконец он вынужден был намекнуть, что теперь многие склонны смотреть на коммуну, как на тихую бухту...

«Так вот в чем дело — не верят!» подумал Николай.

Да и в самом деле, не отмежуйся от белошвейной мастерской. Не открестись от агентов МУУРа, которые вот-вот придут и сделают свое дело. Наступит день, когда ничем не отвертись от тюрьмы. Но Николай решил не сдаваться.

Он побывал у Богословского, чистосердечно рассказал ему все. Этот человек так умел слушать, что невольно говорилось больше, чем хотелось.

— Ты привык жить душа нараспашку, — сказал Богословский, — а в коммуне-то прославленную душу придется ущемить. Больно ведь будет?

— Возьмите, стерплю.

Богословский обещал кое-что сделать для него.

## II

Председатель постучал карандашом по графину и сказал: — Общее собрание членов трудкоммуны ОГПУ считаю открытым.

Николай сидел в заднем ряду. Ему были видны лишь одни затылки да длинный стол на сцене, покрытый красным сукном. Председатель и секретарь держались серьезно и важно. «Точь-в-точь, как судьи», подумалось Николаю. Кроме судебных процессов ему не доводилось бывать ни на каких других больших собраниях. Он оглядывает ряды крепких стриженных затылков: вряд ли среди этих огольцов найдется хоть один, равный ему. Он представляет себе, как твердой походкой пройдет через весь зал и под гром аплодисментов остановится у красного стола.

В клубе тихо. Председатель, важно открывший собрание, сказал вдруг обиженным голосом:

— Займемся, ребята, Грузинцевым.

И Николай обиделся, что вопрос о его приеме как будто позабыт. Однако он с большим любопытством прислушивался к делу Грузинцева. Грузинцев обвинялся в самовольных отлучках в Москву и в воровстве. Ничего особенного. Но с Николаем повторилось то же, что и с каждым новичком в подобных обстоятельствах. Прежде всего он испытывал презрение к «слягавившим» против Грузинцева. «Вот их-то и нужно судить — за лягавство». А большевики выходили к красному столу и повторяли: «Снять с Грузинцева почетное звание коммунара».

— Ребята, что же вы делаете? Вы меня опять в шалман посылаете, — жалобно говорил Грузинцев.

И Николаю хотелось заступиться за него. Что же это, в самом деле, за безобразия!



Он предполагал, что большевцы хранят законы блатного мира. Но, видимо, ошибся. И ему захотелось, чтобы вопрос о его приеме сняли или по крайней мере отложили бы на самый конец. Нужно собраться с мыслями, приспособиться к новой обстановке. Председатель опять постучал карандашом по графину, хотя теперь уже никто не шумел.

— Михайлов здесь? — спросил он и поглядел именно в тот угол, где прятался Николай, точно он давно присматривал за ним.

Николай оробел и почувствовал, что, пожалуй, не сумеет держаться так же сухо и самоуверенно, как на обычном суде. Он прошел к столу.

— Повернись лицом к собранию, — заметил ему секретарь. Председатель читал характеристику:

— Михайлов, двадцать девять лет, пятнадцать судимостей. Имеет высылку, по кличке...

«Точно лошадь продает!» оскорбился Николай.

— Кто знает Михайлова?

Наивный вопрос! Николая знает каждый вор! В зале нашлось много ребят, которым довелось сидеть с ним в тюрьмах.

— Такой человек, как Коля Михайлов, — говорили они, — не подведет! Золотой товарищ!

— Есть ли у него документы? — кричали другие.

Николай положил на стол удостоверение личности.

— Липа? — спросил председатель.

— Настоящего вора с настоящим паспортом не найдете!

Всем понравился этот откровенный ответ. Тогда слово взял старый коммунист активист Ровинский.

— Михайлову приходится выбирать между коммуной и тюрьмой, — сказал он. — Он берет лучшее... Но, может быть, он идет к нам отсидеться от непогоды? — Ровинский посмотрел на Николая, но тот не посмел встретиться с ним взглядом.

— Ты, Михайлов, взрослый человек, и мы тебе говорим прямо: если темнишь — уходи! Уходи сейчас, иначе добра не будет ни тебе, ни коммуне.

«Нужно уйти, — подумал Михайлов. — Мне не ужиться со здешними порядками». Но тут же вспомнил, что уходить некуда.

Ребята теперь один за другим требовали слова. Секретарю пришлось составить списочек ораторов. Большинство соглашалось с Ровинским. Такой человек, как Коля Михайлов, может крепко повредить коммуне. Он соберет вокруг себя всех неустойчивых и как пахан будет пытаться противопоставить себя активу и руководству коммуны. Нужно воздержаться от приема — тем более теперь Михайлов не вор, а мелкий хозйчик, лишенец... Николай почувствовал страх за свою судьбу. Он так много надежд возлагал на общее собрание... Видимо, он

переоценил свой авторитет в воровском мире. Нужно принимать меры. Сейчас же, смело и быстро. И, овладев собой, он попросил слова:

— Мне трудно говорить. Многие здесь смотрят на меня, как на лживого пройдоху... Но я прошу выслушать меня... Тогда вы поймете, что не только страх перед тюрьмой привел меня сюда... Я вам расскажу случай из своей жизни... — Николай впервые взглянул в глаза собравшимся и увидел, что его слушают. — Несколько лет тому назад я сидел в одиночке, и меня по амнистии освободили как раз в октябрьскую годовщину. Писарь, как водится, выписал мне ксиву — освобожден из такого-то домзака. Сидел за кражу. «Видом на жительство служить не может». И я пошел. Ну, куда можно пойти с ксивой?

— В шалман!

— Да, в шалман. Я шел весело, посвистывал. Дело было утром. После камеры приятно вздохнуть на вольном воздухе. Шел и посвистывал. В шалмане будет веселая встреча! Но до шалмана случилась еще одна встреча. Вот о ней-то я и хочу вам рассказать...

Михайлов не привык говорить длинных речей. У него пересохло в глотке, он выпил воды и от смущения накрыл графин вместо пробки стаканом. Секретарь снял стакан и закрыл графин пробкой.

— На перекрестке — оркестр, — начал опять Михайлов. — Гляжу, из заводских ворот демонстрация выходит. «С праздничком вас, честные пролетарии», ехидно говорю. Прислонился к водосточной трубе, стою, посматриваю... Сколько, мол, шуму и красных тряпок! Жду, когда пройдут. «Многие из этих охотно дали бы мне в зубы», думаю я и злюсь... И вот из колонны выходит человек, смотрит на меня, улыбается. «Коля, это ты?» спрашивает он. Смотрю — знакомое лицо. Да ведь это друг детства! Я с ним выкурил первую папироску! Грамоте по одной азбуке учился! Такой же оголец фабричного двора! Жмем друг другу руки, вспоминаем, смеемся, а на сердце — дрянь. Он сейчас спросит, где я работаю? Стало страшно этого вопроса. Узнаю, что он директор завода. «Это рабочие нашего завода... Солидная колонна?» спрашивает он меня. Узнаю, что и остальные ребята с нашего двора большими людьми стали. Один — летчик, другой — редактор, третий — партийный работник. А я — вор! И так мне стало стыдно за свою жизнь. Я взял да и сбежал от друга детства... «Нужно изменить жизнь, нужно изменить жизнь», только одна эта мысль и вертелась с тех пор в голове. Но как это сделать, если в кармане ксива? Думаю — наворую побольше денег и займусь чем-нибудь, мастерскую, что ли, открою... Человек я упрямый — я добился своего... И вот, видите, расшиб на этом лоб... Теперь я пришел к вам... как к ста-



рым товарищам... Я хочу вместо ксивы получить профбилет. Тогда я пойду к другу и объясню, почему я убежал от него. И я скажу: «Возьми меня на завод!»

Николай разволновался, махнул рукой, дескать, и без слов все понятно, и пошел в дальний угол на свое место. Но болшевыц остановили его, пожимали ему руки. Кто-то зааплодировал, и он, смутившись, сел на первый подвернувшийся стул. «Молодец», шепнул ему на ухо Костя. Секретарь, не дожидаясь голосования, записал в протоколе: «Принять».

### III

Николая поставили к револьверному станку.

— Будешь точить стойки, — сказал ему Таскин — инструктор конькового завода.

— Попробую, — снисходительно ответил Михайлов.

Инструктор ему все-таки понравился. Лицо у него крупное, на первый взгляд чуть грубоватое, но глаза и улыбка теплые и скромные. Предлагая Николаю работать на револьверном станке, он как бы стеснялся того, что такому большому человеку, как Михайлов, придется делать такие пустяки — стойки для коньков. А работа Николаю и в самом деле не понравилась.

— С тоски сдохнешь! — сказал он Таскину.

— А ты старайся, чтобы поисправнее станок работал, чтобы браку поменьше было. Тогда интереснее будет. Нам всем туго вначале приходилось.

Но у Михайлова от работы руки отваливались. Утомительно стоять у станка и смотреть, как он брызжет мутной водой и выплевывает дурацкие стойки. Николай представлял труд веселым и ярким, а он оказался сереньким, скучным. Настроение от этого труда не поднималось, а падало. Чтобы скоротать время, он старался куда-нибудь улизнуть. Он стал чаще, чем обычно, курить, то-и-дело бегал взглянуть на часы или же околачивался в сборочном цехе, наблюдая, как собирают коньки. Эта работа ему нравилась больше. По крайней мере из рук товар выходит. «Снегурки» и «нурмисы», сложенные в сверкающие никелем горки, веселили глаз, напоминали о детстве, о веселых, звонких катках...

Николаю было стыдно перед Таскиным за халатное отношение к работе, но он ничего с собой поделывать не мог. А Таскин молчал, заботливо налаживая ему станок, и, казалось, ждал, когда Михайлов образумится.

«Оказывается, в коммуне не так уж сладко живется», думал Николай и все сильнее тосковал по Москве. Хотя бы на денек вырваться туда, вдохнуть полной грудью! Но в Москву не пускали. «Это же совсем, как в тюрьме!» возмущался он.

— Нечего сказать, напел ты мне! — ругал он брата.

Но он, конечно, понимал, что коммуна не тюрьма. Из тюрьмы сразу бы все разбежались — только открой дверь. А Николая никто за руки не держит, а в Москву он все-таки не едет.

— Уехал бы, — говорил он, — да ребят подводить не хочется!

А Костя теперь форсил перед братом, как «старичок», разными шалостями, которые он позволял себе в коммуне. Иногда он притворялся больным и не выходил на работу или же самовольно уезжал в Москву. Из Москвы он приезжал пьяным, хвастался тещей, у которой две дочери и обе воровки.

Особенно маялся Николай в ночные смены. В прошлом он часто проводил бессонные ночи. Бывали такие времена, когда малейшая оплошность грозила арестом. Но простоять ночь за станком было труднее. Костя приходил к нему на помощь.

— Работа дураков любит, — говорил он, — идем спать!

Они выкрадывали табельный номер и шли в сборочный, который по ночам не работал, и там спали, спрятавшись в ящиках. Однажды под утро Николая разбудили. Перед ним стоял Таскин. Он застенчиво улыбнулся, кашлянул в кулак и сказал:

— Михайлов, за тебя Пушкин работает?

— Не могу, Таскин, спать охота, — отвечал Михайлов и хотел было повернуться на другой бок, но Таскин оказался настойчивым парнем:

— Спать всем охота! А работать кто будет?

— Пушкин, — попробовал отшутиться Николай, но Таскин не был расположен к шуткам.

— Ты свою работу не сделал. Придется за тебя другому делать. «Чья это работа?» спросят меня. «Коли Михайлова, — скажу, — проспал он».

«А ведь и в самом деле неудобно», подумал Коля, и ему вдруг стало совестно перед Таскиным, что вот он, Михайлов, спит украдкой от товарищей в каком-то грязном ящике.

— Мы здесь на заводе не ради баловства. У нас план! Мы должны сдать заказ в срок. А если все спать лягут, что тогда будет? — укорял Таскин.

Прислушиваясь к его тихим словам, Николай подумал, что коммуна держится, пожалуй, не только заботой ребят друг о друге, но и заботой каждого коммунара о хозяйстве коммуны. Хозяйский глаз много значит во всяком деле. И Николай невольно сравнил Костю с Таскиным. Ему стало стыдно за брата.

В это утро он впервые работал за станком, не скучая. Ему хотелось нагнать упущенное, сделать стоек столько, чтобы все говорили: «Посмотри, как Николай вкальвает!»

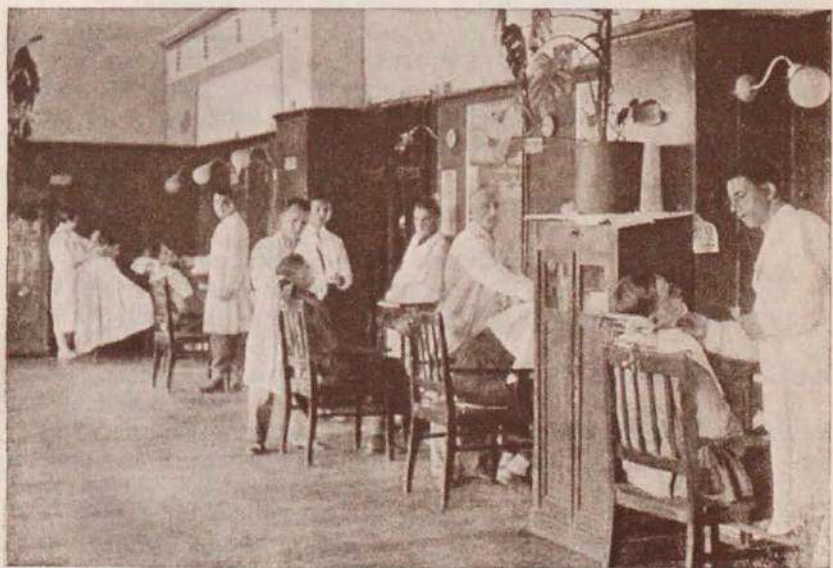
Когда резцы стало заедать, он сбегал за Таскиным и внимательно следил, как инструктор точил их и заправлял. А в сле-





Вечернее кафе в коммуне

Парикмахерская



дующий раз он попытался все это проделать сам. Таскин, наблюдая перемену, сказал заведующему воспитательной части:

— А Коля-то Михайлов начинает вникать!

В одну из следующих ночей к Николаю вновь подошел Костя. Он развязно сказал:

— Работа не волк, в лес не убежит!

— Ну и здоровый же ты лодырь, Костька! — с укоризной ответил Николай.

#### IV

«Нужно чем-то занять Михайлова в часы отдыха», думал Смелянский, воспитатель корпуса, в котором жил Николай. И он предложил Михайлову оборудовать столовую, которая теперь с трудом вмещала всех воспитанников.

У Николая прибавилась новая забота. Необходимо было раздобыть столы, скамейки. Ему пришлось завербовать себе помощников. Вскоре столы и скамейки раздобыли, но они требовали починки. Новая забота! Михайлов отыскал среди болшевцев хороших столяров, и мебель вышла не хуже новой.

Его радовало это тесное деловое общение с людьми, и Смелянский, наблюдая за ним, решил, что из него выйдет хороший организатор.

Однако тоска по Москве у Николая не пропадала. Хотелось хоть один вечерок пожить «с треском» — потряхнуть старинной. Он придумывал, как бы получить увольнительную.

Не откладывая дела, он пошел к Смелянскому. Тот встретил его, как всегда, приветливо.

— Нам нужно теперь, — говорил он, — вызвать на соревнование четырнадцатое общежитие. Пусть подтянутся! Не мешало бы в красном уголке выпустить стенную газету. Вообще работать на широкую ногу. Работы здесь надолго хватит! Сразу не проворотишь.

— У меня предложение есть, — перебил его Михайлов.

— Да?

— Радио в красном уголке установить.

— На это дело монета нужна.

— Обойдемся! — хитро улыбнувшись, ответил Николай.

— А именно?

— У меня в Москве четырехламповый приемник есть. Я хочу подарить его.

«А Москва-то все-таки из головы у него нейдет. От приемника нет смысла отказываться, но и Михайлова никак нельзя еще отпустить», подумал Смелянский.

— Может быть, приемник жене нужен? — спросил он.

— Никому он не нужен — давно весь паутиной оброс.



«Хитрая bestия», опять подумал Смелянский, а Николай, облокотившись на стол, ждал ответа.

— Ты делаешь ценный подарок нашему корпусу. Ребята будут довольны, — говорил Смелянский.

И Николай ждал, что вот он сейчас спросит: «Ну, а когда тебе удобнее будет съездить за ним?» Но Смелянский неторопливо оторвал листок из блокнота и подал его Николаю:

— Ты напиши, пожалуйста, свой адрес, Теронский поедет, захватит!

Николай никак не ожидал, что дело примет такой дурацкий оборот. Отступать было поздно. Он написал адрес и даже нашел в себе силы сказать Смелянскому:

— Пожалуйста!

Но, захлопнув за собой дверь, он дал волю гневу. «Скотина! Фрайер несчастный!» Коля готов был перегрызть горло этому коварному воспитателю. Как он смеет издеваться над ним! Что Николай — мальчишка? Теперь Смелянский сидит и ухмыляется: «Вот, дескать, как я ловко одурачил этого знаменитого жулика».

И, конечно, он будет повсюду хвастаться и рассказывать про эту смешную попытку купить отпуск. Теперь при встрече все будут говорить: «А ну-ка, расскажи, Коля, как ты приемничек проморгал». Михайлов так расстроился, что незаметно для себя вышел в лес.

Ему в коммуне до сих пор не верят, помыкают им. Долго ли терпеть все это? Так, размышляя, он бродил по сугробам, царапал еловыми ветками лицо. Да, жизнь в коммуне оказалась суровой. У него теперь нет даже денег на билет до Москвы, и вот уже несколько дней он сидит без папирос. Это он, Николай Михайлов, у которого в руках были тысячи! И в довершение всего над ним может издеваться каждый воспитательница!

«Я откровенно объяснюсь с ребятами. Простите, скажу, но я не могу больше жить здесь. Здесь мне не верят ни на грош, помыкают на каждом шагу. Пусть лучше Соловки, но зато я буду знать, что широко и весело пожил».

С таким решением Николай пришел к Мологину. Он хотел попросить у него денег взаймы, чтобы расплатиться перед отъездом с мелкими долгами в коммуне.

Мологин заботливо взгляделся в него и спросил:

— Ты что невеселый?..

— У тебя не найдется пятерки на несколько дней?

— Да что с тобой, Коля, на тебе лица нет?

— Тяжело мне, Алексей. Я с удовольствием бы поколотил всех этих воспитателей и хваленых активистов.

— Дело плохо. Садись, потолкуем.

— Этот номер с коммуной, видимо, не для меня приготовлен. Мне здесь не верят, смотрят, как на мальчишку. В таком случае — счастливо оставаться!

— Наоборот, — ответил Мологин, — я слышал, как все здесь хвалят тебя за активную работу. Тобой довольны, Коля!

— Я убедился сегодня, как мной довольны, — горько улыбнулся он и рассказал Мологину историю со Смелянским.

— Молодец!

— Больше мне ничего не остается делать.

— Да не ты молодец! Не ты, Коля, а Смелянский. Честное слово, молодец. Я теперь уверен, что он из тебя человека делает.

— Брось зубоскалить, Алексей, говори делом!

— Делом, Коля, делом! В Москву тебе еще рано. Сейчас тебя Москва сожжет!

— Думаешь, воровать пойду? Или напьюсь?

— Не зарекайся! Это — ох, как соблазнительно!

— У меня в Москве жена молодая! Все время одна думка: а как бы там чего не вышло...

— Если любит — не изменит, а изменит — жалеть нечего. А Смелянский тебе не враг, а друг. Напрасно ты на него взъелся. Со временем ты сам поймешь, что он прав. Чем ты чванишься? Тем, что двадцать лет воровал? Но здесь ведь не шалман. Вот когда ты начнешь сверх плана свои стойки вырабатывать — тогда тебе почет.

— У меня со станками что-то не ладится, — пожаловался Николай. — Недавно как-то всю ночь просидел: и соберу и разберу, а никак не налажу.

— Таскина попроси.

— Самому хочется. Я даже стихи с горя на эту тему написал. Почитать? «Больной станок» называется.

Мологин выслушал стихи и сказал:

— Поработай еще немножко над ними, может быть, и напечатаем.

— Где?

— В коммуне скоро свой журнал будет. Глядишь, Коля, из тебя заправский поэт вырастет.

— Поздно расти-то, мне уже тридцать!

Беседа с Мологиным затянулась. Как обычно, они вспоминали прошлое, сравнили его с сегодняшним днем и поговорили о том, как бы сложилась их жизнь, если бы не было коммуны.

— Для меня, — сказал Мологин, — она бы, пожалуй, никак не сложилась...

— Похоже, — согласился Николай.



# НОВИЧКИ

**В** актив коммуны входили уже не единицы, а десятки людей, помогающих воспитателям работать с новичками. К каждому активисту прикреплялся один или несколько новичков. Шеф отвечал за поведение своего прикрепленного в быту, на производстве, в Москве во время отпуска. Деятельностью активистов руководило особое выборное бюро, оно же регулярно контролировало их.

Всякий вновь прибывший в коммуну так или иначе сталкивался с Накатниковым. Так произошло и с Давидзоном. Коммуна ему не понравилась. Первые дни он ходил по общежитию, критически ухмылялся и даже предметы неодушевленные озирали с явным недоброжелательством. А люди его раздражали.

В первый же вечер он присутствовал на общем собрании и слышал выступление Накатникова. «Штатный оратор» коммуны говорил, как всегда, страстно и, может быть, поэтому произвел на новичка невыгодное впечатление.

— Что за хлюст? — спросил Давидзон у соседей. — Что он здесь разоряется?..

— Активист наш, — ответили ему, — законник коммунистский. За порядки в огонь и в воду лезет. А раньше, как и мы, грешные, домушником был...

Давидзон посмотрел на Накатникова, надменно прищурившись. «Ишь ты, нос-то какой, — подумал он. — Ну и нос, семерым чорт нес». Сделав такое открытие, Давидзон ухмыльнулся и, потеряв к оратору интерес, начал глядеть по сторонам.

Коммуну он всерьез не принимал и свое пребывание в ней рассматривал как временный отдых: все-таки лучше, чем в домзаке сидеть. Не слушая выступления, он равнодушно оглядывал ряды большевцев. Неожиданно совсем неподалеку приметилось как будто знакомое женское лицо.

«Так и есть!» Это была Нюрка Двойная, полная и рыхлая блондинка с добродушными выпуклыми глазами. До коммуны она была наводчицей и проституткой, и Давидзон хорошо был с ней знаком. Теперь он подмигивал ей как старому приятелю, но

женщина, словно нарочно, не замечала знаков и внимательно смотрела на сцену.

После собрания у выхода из клуба Давидзон подошел к Нюрке и приятельски толкнул ее локтем в бок.

— Здорово, Двойная! — радушно сказал он. — Оказывается, мы с тобой на одних харчах пребываемся. Ну, как живем?

Давидзон ожидал дружеского приветствия и потому изумился, когда женщина, пожившись, быстро от него отстранилась.

— Чего толкаешься? — холодно произнесла она. — Прежние привычки оставлять надо.

Отмахнувшись от Давидзона не свойственным ей брезгливым жестом, она спокойно пошла в сторону.

— Ах, корова холмогорская! — возмутился Давидзон. — Ты что же, своих не признаешь?

Догнав женщину, он бросил ей в лицо похабную кличку. Впрочем, у него не было намерения обидеть Нюрку, и поэтому он еще более удивился последствиям своих слов.

Женщина остановилась и посмотрела на парня растерянным, жалким взглядом. Всклипнув, она закрыла лицо руками и быстро, насколько позволяла ее полнота, побежала к обществу.

Накатников видел со ступенек клуба всю эту сцену. Он подошел к Давидзону и сказал укоризненно:

— Зачем ты обидел Нюрку? Женщина в человеческий вид приходит, а ты к ней с похабщиной лезешь!

Давидзон посмотрел искоса. Он не понимал, чего хочет от него этот непрощенный моралист. В поступке своем он искренно не видел ничего предосудительного.

— Убудет, что ли, ее? Что я, не знаю, кем она была?..

— Все знают, кем она была, — возразил Накатников, — но зачем нужно об этом напоминать? Нюрка пожила в коммуне, почувствовала себя другим человеком, а ты обращаешься с ней так, как будто ничего не изменилось. Посуди-ка сам! Вот, положим, ты станешь честным советским гражданином, а тебя попрежнему кто-нибудь назовет вором — приятно тебе будет?..

Накатников сделал паузу, как бы давая Давидзону подумать над своими словами.

— Ты дай мне обещание, — продолжал он, — что этого больше не повторится. В коммуне к своим товарищам надо относиться бережнее.

На этом разговор кончился. Давидзон не успел даже рассердиться, и только, когда ушел Накатников, ему пришло в голову: «Учитель нашелся! Продался и другим того же хочет!»

Прежних своих навыков Давидзон оставлять не намеревался. При первом же отпуске в Москву он начал по-старому воровать.



Чрезмерное обилие денег он иронически объяснял так: «Тетка умерла, наследство оставила».

Товарищи уже намекали Давидзону, что от «тетки» добра не будет, но он равнодушно махал рукой или отшучивался.

Однажды в общежитие к Давидзону пришел Накатников и холодным тоном приказал:

— Пойдем-ка со мной.

Догадываясь о смысле неожиданного вызова, Давидзон собирался неохотно. Он долго зашнуровывал ботинки, долго причесывал разлезавшиеся во все стороны вихры.

Они вышли из общежития и пошли вдоль опушки леса.

— Я давно хотел с тобой поговорить, — сказал Накатников после длительного молчания, — да все откладывал: думал, что, может, ты сам за ум возьмешься. Мне уже давно сообщили, зачем ты в Москву едешь, да я все не верил. Вчера я узнал доподлинно, что ты прежнего не оставил. Вот об этом я и хочу с тобой побеседовать.

— Кто тебе наврал? — возразил Давидзон. — Что ты цепляешься понапрасну? Какими я такими делами занимаюсь?

— Брось! — оборвал Накатников. — Будто я не знаю, где вы вчера с Хлыщом были?

Удар оказался верным и неожиданным. Давидзон с ужасом посмотрел на Накатникова. Хлыщ был московский вор, с которым он встречался последнее время.

Вчера вместе с ним он «поработал», и вот сегодня это уже известно.

— Я тебе добра желаю, — продолжал Накатников. — Брось это дело, Давидзон, иначе плохо будет. В коммуне нужно быть или честным коммунарком или лучше уйти...

Давидзон слушал плохо и думал про свое. Он жил в коммуне два с лишним месяца и уже привык к ее сытным хлебам и размеренной жизни. Теперь ему было бы жалко расстаться с ней, и он досадовал на себя, что не сумел спрятать концы в воду. Теперь он не сомневался, что Накатников расскажет все управляющему коммунной. При мысли, что, может быть, завтра он будет отправлен в Соловки, Давидзону стало не по себе. Он не прочь был уже покаяться, но Накатников неожиданно ушел.

На следующее утро Давидзон проснулся с тяжелым ожиданием неминуемой кары. На работу он не пошел и, сидя на койке, уныло смотрел в окно. Шел час за часом, а за Давидзоном все не приходили. В конце концов он начал уже сердиться.

«Чего тянут? — думал он. — Отсылать, так отсылать! Решали бы, да и дело с концом».

Весь день Давидзон бродил по коммуне с видом человека, которому предстоит тяжелая хирургическая операция. Случай-

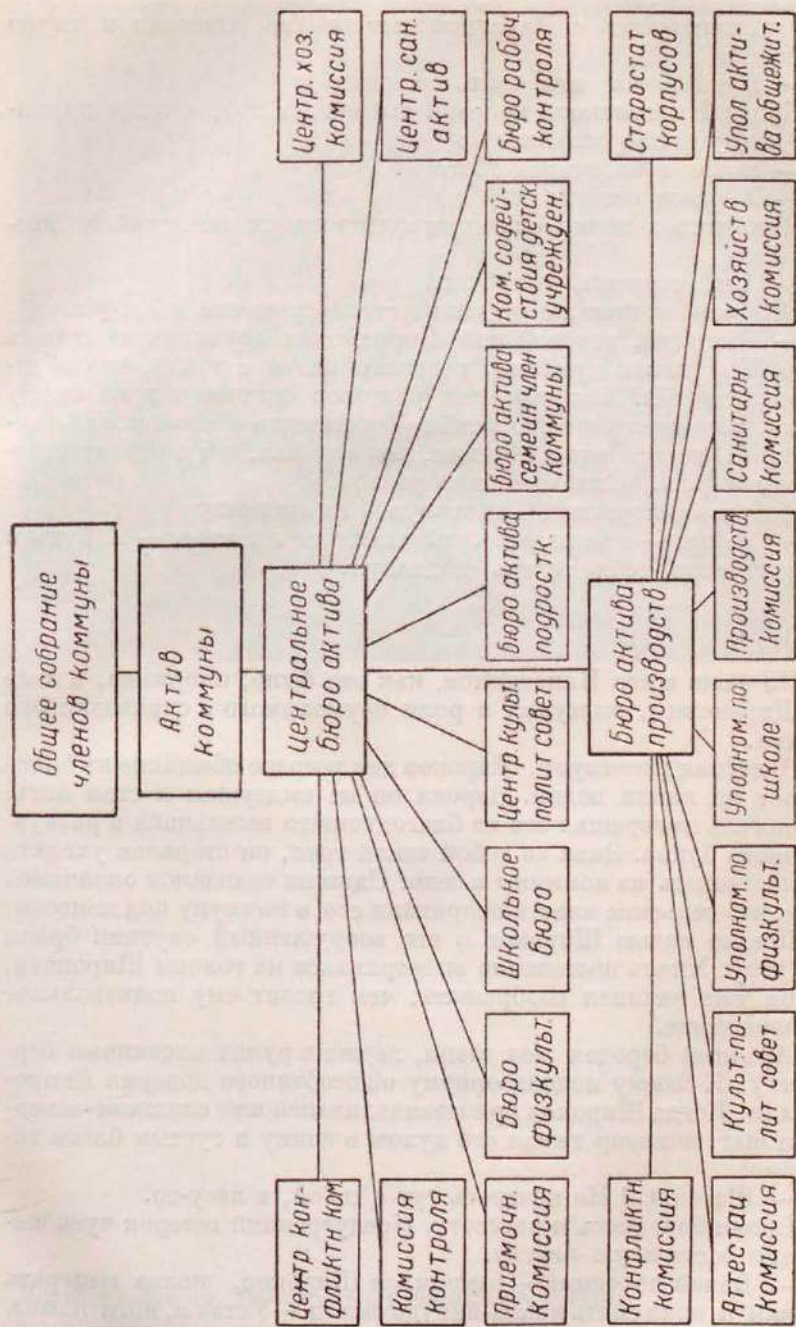


СХЕМА САМОУПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАННИКОВ БОЛШЕВСКОЙ ТРУДКОММУНЫ



но столкнувшись с Накатниковым, он не вытерпел и хмуро спросил:

— Куда меня отправить решили?

Брови Накатникова полезли высоко на лоб, и лицо приняло недоуменное выражение:

— Разве тебя отправляют?

— А разве нет?

Накатников понял смысл давидзоновских опасений и рассмеялся:

— Ага, струсил, голубчик!

Впрочем, тотчас же он снова стал серьезным и сказал:

— Балда ты, дорогой мой! Порядков коммунистических не знаешь еще. Ты что же думаешь, разговаривал я с тобой, чтобы застрашать тебя? Вот что: наш разговор останется пока между нами, потому что я верю в тебя. Ты станешь настоящим коммунарком. Понял? Ведь и я таким, как ты, был, и я не сразу человеком вырос... Иди, но помни уговор.

Давидзон порывисто протянул Накатникову руку.

— Миша, — сказал он чуть осипшим голосом. — И будь я гадом, если тебя теперь подведу...

## II

Но чаще всего Накатников, как это было, например, в деле с Широковым, выступал в роли неумолимого и справедливого судьи.

Поступая в коммуну, Широков дал твердое обещание не брать в рот ни капли водки. Зарока он не выдержал и стал пить. Алкоголь превращал его из благодушного весельчака в разнузданного буйана. Зная за собой такой грех, он старался уходить пьянствовать из коммуны в село. Один из скандалов окончился тем, что сельские власти отправили его в коммуну под конвоем.

Поздно ночью Широков и его вооруженный спутник брели по лесу. Хмель постепенно выветривался из головы Широкова, и он уже начинал соображать, чем грозит ему подневольное возвращение.

Мрачный бородач шел сзади, держа в руках охотничью берданку. К своему поднадзорному он особенного доверия не проявлял. Когда Широков приостанавливался или слишком замедлял шаг, конвоир тыкал его дулом в спину и густым басом говорил:

— Шевелись! Не ночевать тут с тобой, в лесу-то.

Время близилось к рассвету. Предутренний ветерок чуть шевелил застывшую листву.

— Давай посидим! — взмолился Широков, желая выиграть время и придумать какой-нибудь выход. — Устал я, ноги ломит.



Новая профессия. Большевики-термитчики на заводе,  
изготавливающем коньки



Они уселись на траву. Широков смотрел на нелюдимого спутника и мысленно сулил ему всяческие напасти. Хмель прошел совершенно. Явись Широков в коммуну без конвоя, могло бы все пройти незаметно и безнаказанно. Теперь же осложнения были неизбежны.

— Благодать! — нерешительно умилился Широков. — Хорошо в лесу летом!

Он искательно улыбнулся. Бородач безучастно смотрел в сторону и не промолвил ни слова.

— Ты, дядя, семейный? — продолжал заискивать Широков. Провожатый издал неопределенный звук.

«Вот идол, — с досадой подумал Широков. — Из этого колом слова не вышибешь!»

Он решил подействовать на него испугом.

— А знаешь ли ты, борода, куда меня ведешь? — спросил он, переходя на грозный тон. — Эх ты, кулема! В коммуне-то у нас полторы тысячи таких головорезов, как я. Нас в тюрьмах не держат из-за нашей отчаянности. Вот придем мы с тобой туда — только тебе и жить. Свистну — и растащат тебя по руке и ноге.

Широков смолк. На лбу конвоира зашевелились складки, запрыгали густые брови. Он беспокойно оглянулся по сторонам. Широков решительно поднялся на ноги:

— Пойдем, нечего тут расслаживаться! Чем скорее до коммуны дойдем, тем скорее взбучку получишь!

Широков повернулся к конвоиру спиной и быстро зашагал дальше. Он рассчитывал, что мужик испугается и отпустит его. Но за спиной Широкова послышался мрачный бас.

— Стой! — кричал конвоир. — Стой, говорю, а то стрелять буду!

— Ишь ты, — удовлетворенно вздохнул Широков, — заговорил, мохнатый чорт! Ну что ж ты встал? Пойдем!

Конвоир, держа берданку наперевес, мрачно приказал:

— Ложись! Вставать будешь — заряд получишь! Дождемся утра — тогда и дальше пойдем!

Бородач повел берданкой столь выразительно и недвусмысленно, что Широков счел за лучшее не прекословить. Улегшись на траву, он жалобно попросил:

— Да отпусти ты меня, оглобля! Чего тебе со мной путаться? Теперь я трезвый — сам дойду.

— Не приказано! — отрезал мужик. — Отпусти тебя, а потом отвечай! Лежи!

Сколько Широков ни пытался с ним разговаривать, он упрямо и сосредоточенно молчал.

Под утро Широков был сдан на руки одному из возвращавшихся из города воспитателей, а через три дня он уже стоял перед судом коммуны.

Такого шумного и веселого собрания не видели уже давно. В клубном помещении то-и-дело раздавался смех. У стола президиума стоял Широков и рассказывал подробности события.

Забываясь о живописности повествования, он корчил выразительные гримасы и потешно жестикулировал. Выставив вперед ногу, он шевелил носком новенького ботинка. Он походил не на обвиняемого, а на юмориста, рассказывающего забавный анекдот. Он уснащал историю веселыми подробностями, переразвивал своего конвоира.

Воспитанники последних наборов, люди с пылким воображением и склонностью ко всему острому, слушали Широкова с нескрываемым удовольствием. В наиболее интересные моменты они шумно выражали одобрение умелому рассказчику. Походило на то, что Широкову вынесут порицание, и дело с концом. В таком духе и поступили предложения в президиум.

Тогда на сцену вышел Накатников. Некоторое время он смотрел в зал, молча усмехаясь.

— Чему радуетесь? — спросил он наконец. — Человек опозорил всю коммуны, а вы ему чуть не аплодируете? Что скажут теперь крестьяне, которым Широков представил нас бандитами и головорезами? Есть такие шутки, что хуже всякого преступления. Разве мы на самом деле несправимые воры, какими нас называл Широков?

По мере того как говорил Накатников, замолкали смешки, стихал шум, мрачнели лица. Многие, повидимому, только сейчас начинали понимать смысл широковского балагурства.

Осуждающий голос Накатникова звучал отчетливо и твердо. Вслед за ним выступило еще несколько старых болшецов, требуя для Широкова сурового наказания.

Широков стоял с понурым видом.

Маневр не удался ему, балагурство не помогло. Собрание вынесло решение о передаче дела Широкова в МУУР.

### III

На Накатникова, Каминского, Мологина постоянно действовал тот пример выдержки, настойчивости, организационной предприимчивости, который из года в год подавали коммунарам воспитатели Богословский, Штеерман, Кузнецов.

Как много извлек, например, Накатников для себя из случая с Забалуевым.

Пришел Забалуев в коммуны по своей доброй воле и стал просить, чтобы его приняли. Нашлись свидетели его воровского прошлого, и Забалуев был принят. Здоровенный, кряжистый детина с огромными руками и развалистой походкой, с крупными веснушками на грубом, точно вырубленном из камня, лице —



он производил впечатление умственно недоразвитого человека. Он был тих, задумчив, исполнительен, но доверчивость его и рассеянность не имели границ. Однажды его послали в Костинский сельсовет узнать, не найдется ли желающих возить в коммуну строительный материал. По дороге ему встретился крестьянин из села, расположенного от коммуны километров за десять. Разговор между ними начался с того, что встречный попросил закурить. Забалуев щедро отсыпал попутчику махорки, узнал, откуда он, и сам принялся рассказывать о коммуне, о своем прошлом. Собеседник не оставался в долгу и поведал хозяйственные свои нужды. Разговор тек спокойно и непрерывно; опомнился Забалуев лишь у околицы незнакомого села, когда отмахал с крестьянином все десять километров.

— Что же это я заговорился как, — спохватился Забалуев и спокойным шагом направился обратно.

Нередко приятели пользовались его недостатками ради личных выгод и развлечений. Они заставляли его вне очереди выполнять дежурства по хозяйству, гоняли по коммуне с мелкими поручениями. Некий шутник отвел его в лес, поставил на дороге и приказал:

— Пойдет здесь, Ефим, женщина с узлом, ты ее забери и доставь в управление — так приказано.

Ефим ждал до вечера. Прошло за это время несколько женщин, но с пустыми руками. В сумерках уже показалась проходящая, но все-таки не с узлом, а с чемоданом. Исполнительный парень повел ее на всякий случай в коммуну. Хорошо, что встретился один из воспитателей, он извинился перед женщиной и велел отпустить ее. А виновника грубой шутки Забалуев так и не назвал, приняв взыскание на себя.

Вдруг этот послушный, тихий парень жестоко напился, разбил в спальне окно. Усилиями нескольких человек силача едва удалось водворить в один из классов: там он продолжал буянить, поносил невозможными словами руководителей коммуны, грозился сжечь дом. Конфликтная комиссия решила поставить Забалуева перед судом общего собрания. Предполагался суровый приговор.

Накануне общего собрания Забалуева позвал к себе Богословский и стал разговаривать с ним в присутствии нескольких активистов, среди которых был и Накатников.

— Ты же непьющий, — сказал Богословский.

— Нет.

— А с чего напился?

— Так, — односложно ответил Ефим.

— Тебе коммуна зло причинила?

— Врать не буду на коммуну.

— А зачем сжечь ее собирался?

— Сжег бы, только спичек не было.

Ответы Забалуева при внешней анекдотичности их носили характер невеселый. Богословский продолжал расспрашивать:

— За что воспитателей бранил?

— Не помню.

— Чем я тебе не понравился?

— Так...

На первый взгляд — перед большевиками сидел закоренелый преступник, прикидывающийся простачком. Казалось, он просто издевался над спрашивающим. Чем скорее избавится от него коммуна, тем лучше. В таком, примерно, духе и собирался уже высказаться Накатников...

Богословский вызвал всех, кто жил с Забалуевым, и долго их расспрашивал... Выяснилась неприглядная картина, как мало-помалу шутки над простодушным, неумеющим постоять за себя парнем незаметно для самих шутников перешли в форменную травлю. Различными проделками Забалуеву мешали спать ночью, ему портили за обедом пищу. Из человека сделали забаву, игрушку.

На собрании было решено наиболее ярых «затейников» подвергнуть взысканию. Забалуева послать к Накатникову на механический завод и обязать Накатникова научить Забалуева хорошо работать.

Забалуев доставил Накатникову немало хлопот. Он туго воспринимал то, чему его учили. И когда Накатников, вышедший из терпения, готов был ругаться, кричать, он вспоминал внимательность Богословского, его упорное стремление вникнуть и оценить все обстоятельства и детали — и брал себя в руки. Через год Забалуев считался хорошим рабочим.

Новые партии, прибывающие из домзаков или из Соловков, на вокзале встречал оркестр. Шествие в коммуны превращалось в торжество. Вновь прибывшие распределялись по общежитиям и мастерским. С одной из новых партий в коммуны пришел Валерий Зыбин.

Сын врача, довольно развитой, Зыбин относился ко всему с усмешкой и никого в коммуне не уважал. В прошлом Зыбин торговал («на фармазона») бриллиантами, а восемь лет заключения получил за продажу Нефтесиндикату его же керосина.

Работать он не хотел, а когда увидел, что в коммуне нельзя не работать, пожелал стать ночным сторожем.

— Ты же культурный человек! — удивился Каминский, работавший в бюро актива.

— Это мое дело, — ответил Зыбин уклончиво. И добавил посмеиваясь: — Работа удобная — сидеть по ночам, думать.



Как-то вечером Каминский вошел в спальню. Подушки на кроватях были аккуратнo взбиты. Ночная смена ушла на работу. Двое ребят спали, уютно завернувшись с головой в одеяла.

Валерий валялся на постели, закинув ноги на спинку железной кровати, и курил.

— Добро пожаловать, — иронически кивнул он Каминскому и принужденно улыбнулся.

— Где Иванов? — спросил Каминский, называя первую вспомнившуюся фамилию.

— На работе.

— А ты почему здесь валяешься?

— Думаю! — развязно ответил Валерий.

— Полезное занятие, — усмехнулся Каминский. — Ну, а о чем же ты думаешь?

— Да вот, с чем будут котлеты завтра — с картошкой или с макаронами?

— Интересная мысль.

— Интересная, — мрачно согласился Валерий и с напускным равнодушием выпустил кольцо табачного дыма.

— Отчего сидишь дома?

— Захотелось поговорить с тобой, — насмешливо сказал Валерий, — знал: не выйду на работу, пожалуешь ко мне в гости.

— Значит, нянька требуется, — отметил Каминский.

— Нянька? — Валерий неожиданно вскочил с кровати. — Все вы няньки! Ходите тут, мешаете жить! Не смыслите ни черта! Строители! Построили десять домов в лесу! Подумаешь, Нью-Йорк! А, может, мне скучно!

«Кричит, — подумал Каминский довольно, — парень не так уж плох».

Валерий швырнул окурок в угол:

— Ходят по пятам! Опекают!.. Не упади! Не ушибись! Не пей!.. Бай-бай!.. Окурок бросил — небось, скажешь «подними».

— А конечно, надо поднять... Не хлев, — спокойно сказал Каминский.

Крик разбудил одного из спавших ребят. Он высунул голову из-под одеяла и сонным голосом заворчал:

— Звонарь! Дай спать!..

— Даже поорать человеку не дадут! — сказал Валерий с горечью и лег ничком на кровать.

Каминский ушел.

Несколько дней подряд он думал о Зыбине. Как зажечь этого опустошенного парня?

Конечно, можно было вызвать его на конфликтную комиссию и хорошенько взгреть, но Зыбина это могло толкнуть на

уход из коммуны. Тут требовалось что-то другое. И это другое пришло неожиданно со стороны.

В коммуну приехал Анри Барбюс — старинный друг коммуны, посетивший ее еще в 1927 году.

Каминский сопровождал Анри Барбюса по сияющим корпусам новых фабрик, выстроенных вместо виденных раньше французским писателем кустарных мастерских.

Замечательно водить зарубежного товарища по коммунал Барбюс, восторженный и молодежавый, разговаривал с коммунарами, рассказывал о жизни французских рабочих. Привычные и, казалось, незначительные вещи, оттененные сравнением с жизнью буржуазной страны, вдруг освещались новым светом, становились важными и большими. Каминский оглядывал коммуну глазами Барбюса, и гордость за нее переполняла его сердце.

Когда они выходили из здания поликлиники, Каминский заметил Валерия Зыбина. Он молчаливо и одиноко шел следом за ними. Напряженная складка на лбу и блеск глаз выдавали его волнение.

И, как это часто бывало с Каминским, идея родилась внезапно, даже сам он не сразу оценил всех ее достоинств.

Он подозвал Зыбина и деловито сказал ему:

— Будь другом, покажи Барбюсу учкомбинат. Меня Сергей Петрович ждет.

Минут двадцать спустя Каминский пришел в учебный комбинат. Еще на лестнице он услышал громкий голос Валерия.

— Картина эта, — возбужденно говорил Зыбин, — написана нашим коммунарком Масловым. Бывший вор, Маслов теперь — освобожденный художник коммуны. Работы его уже пользуются известностью в Москве.

«Молодцом», подумал Каминский. И, взглянув на разочарованное его приходом лицо Валерия, сказал добродушно:

— Вали, рассказывай!..

Он пошел вместе с Барбюсом и Зыбиным. Они побывали в художественной мастерской, в лаборатории, осмотрели расписанный фресками спортивный зал.

Зыбин говорил о коммуне умно и интересно.

«Хорош будет парень, — думал Каминский, прислушиваясь к словам Зыбина, — сотворим из него такого культработничка, только держись!..»

Вечером, сидя у Сергея Петровича, Каминский читал отзыв Барбюса о коммуне, написанный им перед отъездом в книге впечатлений.

«Какая громадная разница, — писал Барбюс, — между здешним преподаванием и теми методами, которые применяются



всюду за границей по отношению к юным правонарушителям, совершившим ошибки!

Это та разница, которая существует между старым, капиталистическим строем, губившим людей, принося их в жертву немногим привилегированным властителям, — тем старым строем, которому были присущи непрерывная война человека с человеком, эксплуатация и гнет, и социалистическим строем, которому свойственно уважение к человеческой личности и стремление к совершенствованию.

Как я говорил только что некоторым из вас, — любите же, охраняйте и защищайте тот строй, который воплощается в Советском союзе, тот строй, который спас вас и сделал из вас людей, тот строй, который, будьте в этом уверены, спасет в будущем все человечество земного шара, сделав людей тем, чем они должны быть.

Я приветствую тружеников и тружениц коммуны.

Я приветствую их заведующего и руководителя.

Я приветствую ГПУ, которое создало это крупное учреждение в целях перевоспитания и которое управляет им, приветствую от имени французских революционных рабочих и коммунистов.

Анри Барбюс

#### IV

Письмо Каминскому передал воспитатель Николаев. Оно было в мятом конверте, и адрес был написан химическим карандашом.

«Эмиль Петрович! — писал кто-то незнакомым раскосым почерком. — Обращаюсь к вам от имени нескольких заключенных Таганского исправдома.

Наша биография в жизни очень маленькая, ибо она вся проведена в тюрьме. Не имея на воле родителей, которые частью умерли, частью отказались от нас, мы невольно пугаемся нашего приближающегося срока.

Что делать? Куда идти? Как уголовники-воры мы оторваны от рабочих масс и брошены на плоскую дорогу уголовного мира и преступности.

Теперь очень жаль бесполезно прожитых годов, нас тянет нормальная трудовая жизнь, опротивел и блат и мат, хотим просто жить, квалифицироваться, смело смотреть в глаза людям, не бояться, что каждую минуту может меня кто-то продать.

В нас нет сильной воли. Эта воля расслаблена нашим прошлым, в котором золотые горы денег, реки, полные вина, и нездоровая половая жизнь. И эту нашу волю нам возможно воспитать лишь в коммуне.

Коммуна, потому что она существует, давит здесь на нашу психологию. Это я знаю, главное, потому, что подмечал у многих моих товарищей. Я не был в коммуне и не видел ее, я только слышал о ней от двух потерпевших крушение коммунаров — А. Струнникова и Л. Зайцева. И имею теперь представление о ней, как будто я прожил там долгое время. Я знаю имена ваших руководителей, выдающихся коммунаров. Ваши порядки, дисциплину. Знаю, какие корпуса и заводы выстроены, какие будут строиться. Коммуна на бывших в ней оставила прекрасный след. Вот сейчас пробежал мимо меня, как ветер, со своим баском Саша Струнников. Бывало, раньше он всегда против, все ему нипочем. Его старый лозунг — «Были б только девки да вино». Между прочим, коммуна совершенно изменила этого бесшабашного Сашу. Тот Саша, который ездил в столицу, напивался до бессознания и почти открыто воровал, вопреки порядкам коммуны не хотел ни работать, ни учиться, — заговорил другое.

Этот Саша — тюремная головка, «большой урка», — когда говорят против коммуны, — чуть не в драку лезет и сознает, что не так жил в коммуне и потому ее потерял.

В Таганке среди воров появилось новое течение.

Вы ведь изучили, Эмиль Петрович, воровскую жизнь на себе. Вы знаете психологию вора. Вы знаете, чем вор может похвастаться. Сколько краж он сделал, как обманул лягавых, как он прокутил, пропил краденое. И еще похвастаться, как он развратничает. Вот основное, для чего жил и живет вор. И раньше этим хвалились. И я когда-то с удовольствием рассказывал о своих приключениях.

Но уже это стало не в моде. Рассказчика, как холодной водой, обольют из угла едким словом. И вот такой же урка начинает раздевать этот шик.

Но почему раньше никто не смеялся, не язвил эти наши сказки, которые рассказывали нам?

Эмиль Петрович, это ваши двое коммунаров принесли в Таганку новые мысли.

Вот Леша Заяц уже который раз рассказывает, как он жил в коммуне, как его вы и Сергей Петрович упреждали, говорили: «Не ездь в столицу». А он, дурак, не послушал, и вот...

А Володька Карташев, который никогда не бывший в коммуне, закоренелый рецидивист, первый игрок, который день и ночь, склонившись, тасовал карты, — вот он уже целый месяц, как носит сапоги и брюки, которые дал слово не проигрывать.

Саша С. и Леша З. организовали год назад культурную камеру из восемнадцати человек, потом бригаду, которые были все исключительно рецидивисты.

И все эти люди, раньше не имевшие доверия, теперь рабо-





На месте болот и ветхих лачуг большевцы построили  
просторные светлые дома

#### Фабрика-кухня



тают, выполняют промфинплан на 112 процентов, попали на красную доску, я получил от начальства благодарность.

Исходя из всего этого, камера просит, как только окончится срок, принять нас в коммуну, всю бригаду, где мы надеемся оправдать доверие и стать достойными жить и работать в нашей Советской стране.

Очень трудно писать под шум в коридоре и пение «Ты не стой на льду», а то написал бы больше.

Жду ответа.

Моя настоящая фамилия Егунов. И еще Петров, Собакин, Крынкин, Зорин, Залесский, и больше не помню. Есть еще фамилий штук пять кроме этого.

Г. Р. Егунов».



# ДВА СОБРАНИЯ

I

**И** опять имя Мологина стало одним из самых популярных в домзаках и шалманах. Но это была не прежняя популярность. В блатном мире произошел сдвиг, первым наметком на который для Мологина был еще приход Бабкина. Исчезли наёмники, покончено с безработицей. Не здесь ли коренились причины перемен?

Из Бутырок, из лагерей, с «воли» получались в коммуны письма на имя Мологина.

«Прости за беспокойство, но я принужден обратиться к тебе с просьбой, — писал, не признавая точек, Сашка Колосков, вор-городушник, с которым Мологину случалось водить компанию. — Дело моей жизни, в прошлом ты ведь на себе испытал все прелести и знаешь и меня и мое счастье в жизни, обращаюсь к тебе, если есть у тебя хоть искра сознания, то прошу, сделай все возможное, чтобы спасти меня, я получил три года и в настоящее время сижу в Бутырском изоляторе, работаю на обувной, вспомни старину и протяни руку помощи. Тебе даю слово, что я оправдаю себя как на производстве, так и в быту, к тому же у меня дочь подрастает, скитаюсь по тюрьмам, и что обиднее всего, что я в настоящее время сижу без дела, но до свидания, не буду затруднять, но если можно, то еще раз прошу не оставить. С почтением Соловей, жду и надеюсь.

Рабочий 8-й кам. Колосков».

А было время — Соловей посмеивался над Болшевым в Бутырках, не допуская и мысли, что когда-нибудь захочет «завязать».

Были письма и другого рода:

«Если ты надеешься, что сносишь свою шкуру, то горько ошибаешься, ты ответишь еще за все свои преступления. Неизвестный».

Но таких писем было мало, они не волновали теперь Мологина, и не в них было главное.

Многие воры приходили в коммуны лично. Они отыскивали управляющего коммуной, комиссию по наборам, Мологина.

Мологин старался помочь всем. И для десятков вновь пришедших в коммуну людей, знавших о прошлом Мологина только по наслышке, он был не «медвежатник», не «пахан», а «дядя Алеша» — руководитель клуба, внимательный и умный человек, немало сделавший для их начинающейся новой жизни.

Как-то по-другому стал подходить теперь Мологин к своей работе в клубе. Задачи приемочной комиссии и клуба сливались в его сознании в одно. Взять в коммуну парня — ведь это и значило же «завязать», закрепить его. На заседании тройки Мологин невольно прикидывал в уме не только сведения о возрасте, происхождении, о судимости, но и то, с какой стороны мог бы «зацепить» клуб того или иного кандидата.

И работа клуба, перебравшегося в новое здание, все более радовала Мологина. Драмкружок, балет, синеглазники, учебные группы при духовом и струнном оркестрах, библиотека, пополненная новыми книгами, литературный, шахматный, фото- и радиокружки — все многочисленные отпочкования клуба, на которые ушло столько забот, втягивали сотни людей, приобретали для большевцев все возрастающую привлекательность. На фабриках, в цехах, в общежитиях создавались красные уголки, выходили стенновки, выступали агитбригады, велись читки и собеседования. Клуб приобрел гибкость, проникал во все поры жизни.

Мологин жил теперь вместе с Анной в новой квартире. Маленькая и тесная, она казалась ему большой и уютной. По вечерам после собраний, после кружков к нему приходили ребята, они усаживались на стульях, на подоконниках, разговаривали о делах. Разумеется, разогревался чайник. Аня сердилась, если кто-нибудь рассыпал пепел на скатерть или, забывшись, кидал окурок не в зеленую стеклянную пепельницу, а на пол. По правде сказать, Мологин слегка подражал Богословскому в этих вечерних чаепитиях. Но если даже и так — наслажденье выпить вместе с друзьями по стакану крепкого горячего чая в чистой опрятной комнате от этого не становилось меньшим.

Большевцы соревновались с коммуной в Люберцах. Был заключен договор на досрочное выполнение полугодового плана. Монтаж обувной, в котором участвовал Мологин, и положение дел на производстве были главной темой всех бесед. Мологин не скрывал тревоги за исход соревнования. С приемом большого количества новых увеличилось отсев, число прогулов и случаев пьянок. Выполнение договора было нелегким делом.

— Не осрамиться бы! Как там, в четырнадцатом корпусе, подтягивается народ? — спрашивал он.



Но то, что происходило в четырнадцатом корпусе, было неутешительно. Уже не один парень из этого корпуса «солировал на сцене». Пьянки и мелкие кражи свили там прочное гнездо.

— Раньше хоть прятались, пили тайком, а теперь вовсе обнаглели — пьют в открытую, по пять человек! На производстве у них сплошной брак, — мрачно говорил Каминский.

— Так как же будет?

— Одни не выполняют, другие перекроют, — оптимистически рассудил Гуляев. Все, что не касалось монтажа обуви, представлялось ему несложным делом.

Мологин молчал. Нехорошее чувство поднималось в нем. Актив прилагал столько усилий для выполнения плана. Все было предусмотрено и учтено, чтобы обеспечить победу. Он сам организовал несколько агитбригад, помог кружку поставить новое обозрение. А кто-то тупой и злобный упрямо стремился свести на-нет все их труды. И вовсе это не так просто, как представлялось Гуляеву. Новички не только в четырнадцатом корпусе — болезнь может пойти вширь. Не выполнить план! Хорошо тогда будет выглядеть коммуна! И, конечно, тогда отменят выпуск. Он не ждал ничего лично для себя от предстоящего выпуска. Но одна мысль о возможности его срыва перевертывала все внутри.

— По-моему конфликтная здесь спит, — резко сказал он.

— По одному таскаем, а в общежитии шалман. И надо посмотреть, что за народ там подобрался.

Члены конфликтной обиделись:

— Разве может что-нибудь сделать одна конфликтная? Тут нужно, чтобы вся коммунская общественность... А если найдутся такие, которые любят критиковать...

Получился крупный разговор. Злые, раздраженные коммунары пошли от Мологина к Кузнецову. Было уже два часа ночи. «Болтливые сороки, — сердито думал Мологин. — Общежитие загуляло, а им как будто и дела нет». Он был сильно раздосадован, иначе не подумал бы так несправедливо.

Кузнецов встретил активистов в одном белье. Он ничему не удивился. Четырнадцатое общежитие беспокоило и воспитателей.

Экстренное общее собрание состоялось на следующий день. Оно открылось речью Кузнецова. Кузнецов заговорил о том времени, когда коммуна представляла собой несколько домишек, когда в ней не было света, столовых, клуба, и все-таки те люди, которые пришли в нее тогда, не бежали, не пьянствовали, помнили свято правило: «В коммуне живут воры-рецидивисты, но никто чужого не берет». Это были настоящие люди, и теперь они — передовики, строители.

Слушая его, забыл Мологин, что он застал коммуны уже другой. Он видел освещенные керосиновыми лампами хибарки, мастерские, распаханные по сараям и чердакам, точно сам когда-то был в них. Сколько потребовалось усилий и воли, чтобы сделать коммуны такой, какой она стала теперь. Ему казалось, что он жил в коммуне с первых ее дней.

Потом Кузнецов заговорил о случаях воровства и пьянках, о филонстве и рвачестве некоторых новичков, о людях, чужаками пришедших в коммуны и чужаками живущих в ней. Он говорил о грязи в общежитиях, приводил случаи бесхозяйственности, безобразного отношения к имуществу коммуны, и каждый случай, который приводил он, отдавался болью в сердце Мологина.

— Четырнадцатый корпус — наш позор! Коммуны не может и не станет терпеть дальше такое положение, — закончил Кузнецов.

Восемь человек из четырнадцатого общежития один за другим вышли на сцену. Они признавались в своих ошибках, безропотно принимали наказание — задержку в выплате зарплаты, надбавку в сроках кандидатства. Новичок Быстров рассказал о своей вине так:

— Не помню, какого числа я пришел с работы и лег спать. Тогда пришел Панский и начал со мной разговаривать, потом предложил «взять» тут одного фрайера. Раз фрайера — я согласился. Когда «взяли», то он мне сказал: «Поди спрячь». Тут увидел меня Смирнов и свел в контрольную будку. А что до одеял, в этом я не при чем. Я Панскому заявил: коммунское не трону! Ну, он их загнал на водку.

На конфликтной Быстров не называл фамилии. На общем собрании его чистосердечный рассказ никого не удивил. Это бывало. Поразило другое. Панский! Он выделялся среди новичков своей активностью. Когда в спальне пропали одеяла, Панский первый заявил об этом. Подозрение в краже пало на кандидата Савостьянова. Правда, активность Панского была какой-то уж слишком навязчивой, воспитателям она не внушала доверия. Но чтобы Панский мог взять одеяла, пойти обирать «фрайера» — этого никто не думал.

А не бросал ли рассказ Быстрова новый неожиданный свет на происходящее в четырнадцатом корпусе? Не в том ли причина неискоренимости творящихся там безобразий, что попадают бесхитростные и простоватые, а тот, кто действует их руками, скрыт от глаз?

— Где Панский? — громко спросил Мологин.

И сотни голосов взревели вслед за ним:

— Панского!

— Где Панский?



— На сцену!..

Панский — парень лет двадцати, с мелкими кошачьими чертами лица и постоянной улыбкой — неторопливо шел между рядов.

— Своими бы руками его уничтожил! — кричал ему вдогонку Савостьянов, вскочив на стул и потрясая кулаками. — Я спал с ним рядом. Спрашиваю: «Кто бы это мог? А?..» А он притворным голосом, голосом невинности: «Не знаю». А ведь я оставался там один! Могли подумать на меня. У меня сердце окостенело даже!

Панский поднялся на сцену. Казалось, он не был ни встревожен, ни огорчен. Он заговорил с улыбкой, приятным мягким голосом:

— Сейчас здесь показательный суд над всем четырнадцатым корпусом. Меня в этом случае избрали жертвой. Быстров врет, чтобы оправдаться, а меня угробить. Вот и все.

— Панский — гад! — крикнул Быстров. — Я не хочу оправдываться. Но и тебе мной не оправдаться! Лысенко, тебе дали три месяца невыхода. Что же молчишь? Панского прикрываешь? Говори!

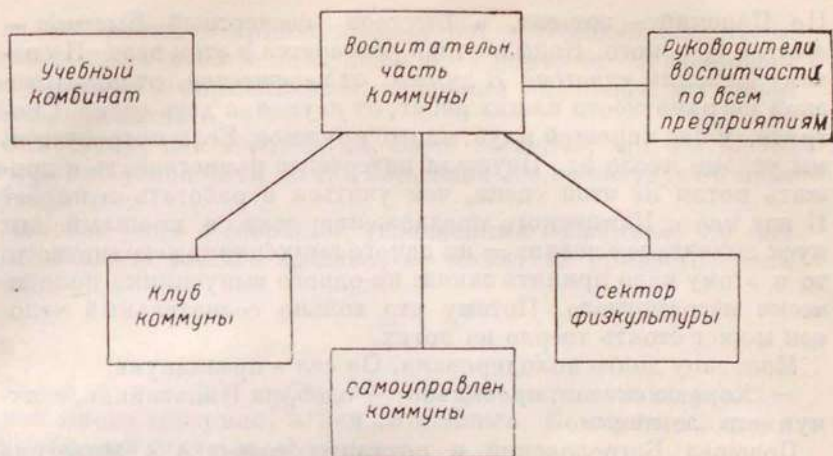
— Лысенко — не ты, он врать не будет, — с внезапной торпливостью перебил Панский.

— Нет, это правильно! Ты за вином послал, — крикнул Лысенко.

Мологину было ясно все. Конечно, Панский — вожачок, тонко и ловко обдeldывающий свои дела. Он был душой всех безобразий в общежитии, а Лысенко и Быстровых посылал «на сцену». Мологину хотелось крикнуть, выругаться. Но когда он заговорил, голос его звучал тихо:

— Нам только что напомнили здесь, как начиналась и строилась наша коммуна. Было болото, глушь. И такой же глухой и беспросветной была наша позорная воровская жизнь. И вот пришли люди умные и сильные. Они выпустили нас из тюрем, вложили нам в руки инструменты и сказали: «Стройте, мы верим вам». И так открылась для нас дверь в человеческую жизнь, — голос Мологина задрожал. Сотни теплых, сочувствующих глаз устремились на него.

— Коммуна — наш родной дом, — продолжал он. — Как нам не любить, не беречь его? Как можем мы терпеть, чтобы кто-нибудь разрушал наш дом? И вот приходят Панские... Им ничего не дорого, ничего не жаль. Они ненавидят нашу новую жизнь, ненавидят нас за то, что мы боремся и хотим ее. Они разводят пьянство, рвачество, всякий разврат. Подлые, скользкие, они знают, чего хотят, но не желают рисковать своей шкурой. Они посылают на край гибели других и радуются, если кто-нибудь их стараниями полетит в пропасть.



**СХЕМА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ БОЛШЕВСКОЙ ТРУДКОММУНЫ**



Не Панский — жертва, а Быстров, несчастный Быстров — жертва Панского. Конфликтная разберется в этом деле. Но почему Панским удается? Я думаю, от невежества, от политической неграмотности наших ребят, от неумения дать отпор. Смотрите, у нас хороший клуб, много кружков. Если потребуется, мы утроим число их. Неужели интереснее пьянствовать и дрожать потом на этой сцене, чем учиться и работать в клубе? И вот мое и Каминского предложение: если в прошлый выпуск выдвигался лозунг — ни одного выпускника неграмотного, то к этому надо принять такой: ни одного выпускника политически неграмотного. Потому что только сознательный человек может стоять твердо на ногах.

Мологину долго аплодировали. Он сел в президиуме.

— Хорошо сказал, правильно, — одобрил Накатников, толкнув его локтем.

Подошел Богословский и похвалил тоже. А у Мологина было ощущение неудовлетворенности: так тускло и бледно прозвучало все. Но думать об этом сейчас не было времени.

— Панский заявил, что он — жертва, — сказал Кузнецов. — Кому нужна такая мерзкая жертва? Вам, мне, товарищи?.. Этот номер, что он — жертва, не пройдет. Передаем на конфликтную, товарищи?

Собрание выразило согласие сдержанным гулом голосов.

— Весь четырнадцатый корпус прошу встать! — сказал Кузнецов, повышая голос.

В зале задвигались стулья, шум возрос. Обитатели четырнадцатого корпуса, недоумевая, оглядываясь друг на друга, поднимались в разных концах зала. Их было немного среди плотных рядов сидящих. На них смотрели с любопытством и насмешкой.

— Конфликтная предлагает всему четырнадцатому корпусу дать один месяц невыхода, — сказал Кузнецов.

Из зала откликнулись:

— Больше!

— Два месяца.

— Предлагаю всем месяц, а «активистам» — три!

— Дать только «активистам», а остальных — на первый раз простить! — выкрикнул кто-то из четырнадцатого корпуса, прячась за спинами.

Ему ответили смехом. Предложение конфликтной было утверждено.

Ребята из четырнадцатого переминались смущенно и растерянно. От них отделился Петров. Он не участвовал в пьянках, никогда не имел прогулов. Бледный, сосредоточенный, с большим красным рубцом на лбу, он вышел на сцену.

— Товарищи, — хрипло сказал он. — Невозможно, чтобы наш корпус считался позорищем всей коммуны. Невозможно! Мы изживем ненормальности, заслужим прощение, мы смоём это черное пятно...

И по тому, как говорил он, было очевидно, что уж он-то, Петров, не успокоится до тех пор, пока все не забудут об этом горьком дне.

Мологин ушел с собрания, успокоенный сознанием, что сделано много и то, что сделано, не может не принести своих плодов.

## II

Зимой в коммуне собиралась родительская конференция. О ней много говорили, к ней готовились. Коммуна в первый раз собирала такую конференцию.

В связи с прибытием новой большой группы правонарушителей возросло количество проступков, нередки были случаи, когда парень, уйдя в отпуск к родственникам, встречая старых друзей, воровал с ними; случалось, не возвращался совсем.

Нужно было, чтобы родственники — отцы и матери, дядья и тетки — хорошенько узнали, что такое коммуна, посмотрели бы ее сами, стали бы ее друзьями и помощниками. Вряд ли родственник мог как следует судить о коммуне по рассказу парня, который, придя домой, спешил повидать старых блатных приятелей.

Было морозно. Ветер нес снег — колючий, мелкий, точно песок. В клубе собралось человек шестьдесят гостей, в большинстве — женщины.

Задребезжал колокольчик. На сцену вышел Кузнецов. Он заговорил об отцах и детях — о детях, сменивших финку и отмычки на молоток и плоскогубцы, и об отцах, впервые организованно пришедших сюда проведать детей и потребовать отчета у воспитателей.

Говорил он о коммуне ладно и просто, не умаляя трудностей, показывая неудержимый рост ее.

Он всматривался в лица родителей. Его внимание привлекла пожилая женщина с молодыми карими глазами. Она ловила каждое произнесенное слово.

Ее сын, большевец Гасин, был в тот вечер дежурным и не мог повидаться с матерью.

Мологин председательствовал.

Когда Кузнецов кончил, он предложил родителям высказаться. Кареглазая женщина, не торопясь, развязала пеструю шаль.



— Я — мать Гасина, воспитанника здешней коммуны, — заговорила она свободно, без смущения. — Я — работница, живу в Москве. Муж у меня расстрелян по постановлению полевого суда за то, что выступал против царской войны. Какое я могла дать воспитание сыну? Пока я на фабрике — он на улице. На улице он испортился, стал поворовывать. Конечно, я, товарищи, виновата: как ни занята я, а должна была присматривать за ним.

А сын мой — разве он виноват, что отца у него убили, что рос он, как крапива, как беспризорник? Одна подушка моя знает, какими слезами я заливалась, когда сына за кражу повели в милицию. «Все пропало, — думала я тогда, — нет мне больше спокойной жизни на земле».

У меня и сейчас бегут слезы, но на это не обращайтесь внимания.

У вас тоже есть дети, вы понимаете, как тяжело, когда единственное дитя по материнскому недосмотру сворачивает на плохую дорожку...

Нелегко, товарищи, было терпеть это мне, честной работнице. И вот, когда я уже махнула рукой и в душе похоронила своего сына, попал он в вашу коммуну. Я думала, что так, вроде как баловство или опыты разные.

Но вот когда я приехала сюда в первый раз и увидела моего парнишку за станком, я прислонилась к стене, будто ноги из-под меня ушли, а сама дрожмя-дрожала. Вот какая была мне радость! Что я еще могу сказать? Сын мой был вор. Теперь он рабочий. Спасибо мое материнское советской власти и вам, дорогие товарищи!

Под горячие шумные аплодисменты Мологин подал разволновавшейся Гасиной воды.

Потом выступал отец болшевеца-новичка рабочий Ковалец, заявивший, что «если в огромном размахе работ коммуны не хватает средств и рабочей силы, ребята обязаны помочь своей родной коммуне субботниками».

Старая рябоватая работница с Трехгорки говорила о своих житейских невзгодах:

— Муж у меня горький пьяница. Весь дом на моих плечах. Как свихнулся сынок — не усмотрела. Как узнала, что сын — карманник, вонзился шип в сердце. С шипом в сердце ходила на фабрику, работала по хозяйству дома. А вот теперь вынули у меня шип из сердца. У меня сердце поет песни! Говорят, есть омоложение. Вот я и омолодилась с тех пор, как узнала, что сын мой в Болшевской коммуне стал честным человеком. Он здесь только шесть месяцев. А его не узнать. Он был карманником, стал ударником. Он был моим позором, а сейчас я гордиться буду им.

Один за другим выходили на трибуну родители и родственники большевцев. И все говорили о своей радости за ребят, благодарили коммуну, обещали помогать.

«Собирать чаще, держать постоянную связь с этими людьми, повысить их чувство ответственности за детей, за родных — может получиться немалый результат», думал Кузнецов.



# СОРЕВНОВАНИЕ

## I

**Н**иколай Михайлов настолько овладел своим станком, что мог теперь работать самостоятельно.

— Твоя башка дорого стоит,— похвалил его Таскин. —

Теперь тебя нужно в какую-нибудь бригаду включить.

Но включить Николая в бригаду было не так-то просто. Болшевцы — старые производственники — поглядывали на новичков свысока.

— С новичком на черепаху сядешь, — говорили они.

И Михайлов не избежал общей участи.

— Вор он, конечно, первоклассный, — сказали Таскину, — но за станком завалится.

Таскин думал, что Николая обидит такое отношение ребят. Но Николай пришел к простому выводу:

— Организуем бригаду из новичков!

Когда бригада была организована, она изумила весь завод своей смелостью.

— Вызываем «старичков» на соревнование! — заявил Михайлов.

Даже Константин, за последнее время чуждавшийся брата, пришел поневыть ему:

— Напрасно ты эту кашу заварил, Николай. Не позорь фамилию.

Таскин подбадривал Михайлова:

— Не робей! Не беда, если они вас обставят, зато, на вас глядя, весь завод подтянется.

«Старички» вызов приняли. Они ухмылялись, подтрунивали над Николаем и делали вид, что Михайлов своим вызовом их здорово потешил.

Таскин желал победы своему ученику. Он пораньше пришел в цех, внимательно проверил станки молодой бригады, сам наточил для них запасные резцы и подобрал первосортную заготовку. В начале соревнования «старички» еще подтрунивали:

— Вы бы каши побольше поели, натошак замаетесь.

— После смены видно будет, кто мало каши ел, — отвечал Николай. — Главное, ребята, не суетитесь, — говорил он бригаде. — Не ладится — беги за мной. Не курить, по окнам не глазеть!

Первые часы работалось легко и весело. Николай даже посвистывал. Машина безотказно кусала заготовку, точила ее и выбрасывала в желобок. Груда стоек росла. Но во вторую половину смены он понял, что станок выносливее его. Хотелось присесть, передохнуть... Рубашка стала мокрой. Он снял ее и работал голый до пояса. «Покурить бы», тоскливо думалось ему, но, оглядываясь, он видел, как его соперники уже теперь не скоморошничали, а работали, стараясь подальше уйти вперед. Это подстегивало. Николай умоляюще покрикивал ребятам:

— Голубчики, поднажмите! Ребятки, не сдавать!

Им овладел азарт, как во время картежной игры. Теперь масло текло не только по станку, но и по груди, по рукам, и ему казалось, что станок и он — одно целое. Николая захватил ритм работы. Заправляя в станок заготовку, он весело сам себя подбадривал:

— Николаша, не подкачай!

И вдруг завывла сирена. Выключили моторы. Станок омертвел. Николай вытер рубахой лицо и, зажмурившись от удовольствия, сел на ящик. В глазах тотчас же вновь заработал станок, и в желобок со звоном посыпались стойки. В эту минуту он забыл про соревнование — так приятно было отдохнуть.

— Жив? — весело спросил Таскин.

— Еле-еле!

— 500 и 475, в вашу пользу, — сообщил он, как истый арбитр.

Радость охватила Михайлова. Он, смеясь, пожимал руки своим помощникам. Слава бригады новичков раскатилась по всему заводу, и даже те, кто подсмеивался над храбростью Михайлова, теперь заговорили:

— Ну, знаете, у него золотые руки!

Побежденные «старички» тоже пришли поздравить нового ударника.

— Ну и работали вы — как черти, — сказали они с почтением.

— Честное слово, я здесь не при чем, — отвечал он всем. — Ребятки поднажали.

## II

С каждым днем все легче и свободнее чувствовал себя Михайлов в коммуне. Успехи в работе увлекали и радовали его. Он уже совсем обжился на новом месте, для полного спокойствия не хватало лишь Маруси. Жена была значительно моложе его, он



боялся ее потерять. И однажды Маруся неожиданно приехала в Болшево вся в слезах.

— Что случилось? — испугался Николай. Он никак не мог добиться от нее толкового слова.

— Лучше умереть, чем такая жизнь, — говорила она, всхлипывая, — я не могу, у меня измотались все силы.

— Тебе скучно одной?

— Хуже, Коля. Мать узнала, что ты жулик. От попреков некуда спрятаться. «За вора вышла — так ступай, с ворами и живи». Коля, погляди, как я вся извелась, — и она ласково добавила: — И все ведь это из-за тебя, глупышка!

— Но чем я тебе могу помочь, Маруся?

— Поедем со мной в Москву. Мы вместе успокоим мать. Ты ей все объяснишь. Ведь на один денек тебя отпустят?

— Отпустят, — уверенно ответил Коля и со стесненным сердцем пошел к Смелянскому.

После случая с приемником он часто с ним виделся, но, конечно, о Москве не заикался.

— А я к тебе с просьбой, Павлыч. — За последнее время Николай так сработался со Смелянским, что иначе, как Павлычем, его не называл.

Николай хотел уже было рассказать ему историю с женой, но подумал, что это не причина для неотложной поездки в Москву. Смелянский может отложить поездку до выходного. Тогда он собрался с силами и сказал:

— Жена приехала... Говорит, что комнату отбирают... Вещи выбросили, нужно бы съездить. Как ты думаешь?

Смелянский молчал. Михайлов, стараясь предотвратить отказ, все более и более яркими красками расписывал выдуманную им историю:

— Вещи на улице. Они мокнут, их растащат!

А Смелянский думал о том, что все это, конечно, очень серьезно, но может быть поправлено и другим путем. Во всяком случае судьба Михайлова дороже вещей... С другой стороны, если Николай все время пробудет с женой, то ничего опасного в этой поездке нет.

— А когда тебе на работу? — спросил он.

— Вечером.

— Прогуляешь смену?

— Ничего не поделаешь, Павлыч!

— Ну хорошо, поезжай. — И Смелянский выписал ему увольнительную.

Николай почувствовал благодарность к этому человеку.

В последнее время Николая занимала судьба Кости. В комнату приезжала костина теща — Каинша — и звала его жить к себе.

— Ты здесь за сто рублей в месяц молодость губишь, приезжай ко мне жить — будешь как сыр в масле кататься.

Костя соблазнился. Николай его много и настойчиво уговаривал, стыдил, ставил себя в пример, но тот, похоже, решил в ближайшие дни переехать к теще. Теперь Николаю захотелось рассказать эту историю Смелянскому.

«Слягавлю», подумал он, и ему на минуту стало жутко. Но он все же рассказал.

— Мы займемся Костей, — ответил Смелянский. — Может быть, придется его на общем собрании проработать. Ты поможешь нам?

— Ну, конечно.

«Хорошо сделал, что отпустил его», подумал Смелянский, а, прощаясь, сказал:

— Все-таки жаль, что ты прогуляешь смену. Если бы не такое дело, ни за что бы не отпустил.

Маруся шла на станцию гордая, счастливая, под руку с мужем. Она говорила, что хорошо бы вечером сходить в кино, потом вместе, по-семейному, поужинать, и мать, увидев их любовь, может быть, смягчится. Николай слушал ее и думал, что нехорошо все-таки из-за женских слез прогуливать смену.

— Года два проживешь здесь, — продолжала мечтать Маруся, — а там поступишь в Москве на завод.

— Да, ты потерпи немножко, — отвечал он, — я знаю, тебе несладко живется. Но зато после будет хорошо.

Когда они пришли на станцию и Маруся хотела купить билеты, он вдруг остановил ее и сухо сказал:

— Я не поеду.

Он уже был зол на себя и на жену.

— У тебя же увольнительная на руках? — изумилась Маруся.

— Все равно не поеду. Подождешь до выходного. Я из-за твоих слез в дурацкое положение себя поставил.

Маруся, не простившись, вошла в вагон. Михайлов поспешил на завод. Поздно вечером по цехам проходил Смелянский. Увидев Михайлова, он удивился:

— Почему же ты не уехал?

— Прости, Павлыч! Совесть замучила! Из-за бабьих слез я тебя обманул...

Смелянский ему ничего не ответил, но шел дальше по цехам с довольной улыбкой.

### Ш

Перед выходным днем Смелянский сказал Михайлову:

— Твой приемник сломался, завтра тебе придется съездить в Москву — отдать в починку.



Николай побывал в Москве. Но эта поездка не принесла ему радости.

Отправляясь туда, он неожиданно в поезде встретил брата. Константин смутился. Вечером на общем собрании должно было разбираться его дело, и Николай спросил:

— К собранию ты вернешься?

— Вернусь, — угрюмо ответил Костя.

В Москве с женой тоже неприятности. Ее мать оказалась сварливой и упрямой женщиной. Она не верила в переделку воров и разговор об этом считала сказкой. Весь день она только и делала, что кричала Марусе:

— Нет тебе материнского благословения!

В такой обстановке Марусе долго не прожить, нужно было что-то придумывать. В довершение всех несчастий Николай, опаздывая, второпях сел не на тот поезд. И это было тем более неприятно, что он обещал Смелянскому обязательно выступить на общем собрании по делу Константина.

В коммуны Михайлов вернулся поздно. В клубе было темно. Он прошел в спальню, но и там ребят не оказалось. Только в красном уголке былолюдно. Кое-кто читал, кое-кто играл в шашки, но большинство сидело, сбившись в кучку, о чем-то задушевно разговаривая. Увидев Николая, ребята не удержались, чтобы не подшутить над ним:

— Заигрался? — спросили его.

— Погорчил? Ну-ка, дыхни...

— Заиграться — заигрался, но не погорчил, — ответил он и объяснил причину опоздания.

Ему не поверили:

— Выдумываешь все, просто погулял в Москве!

— А ты знаешь новость? — вдруг спросил Таскин.

— Нет.

— Твой братишка распростился с коммуной.

— Письмо Сергею Петровичу оставил, чтобы назад не ждали.

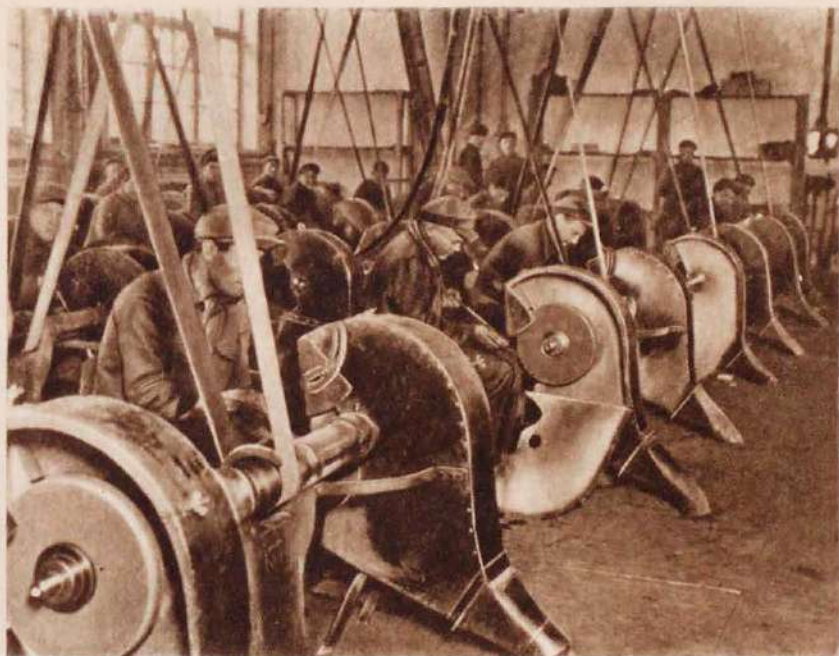
— Мы здесь сидим и поминки справляем!

— Царство ему небесное, — попробовал позубоскалить кто-то.

Николаю стало горько. Он считал себя виноватым. «Нужно было быть поближе к Косте», думал он. Таскин понял его настроение.

— Винить всех нужно, — сказал он. — Мы все видели и знали, какой Костя коммунар, но молчали, вот и угробили человека.

Ребята ругали Костю за легкомыслие, гадали, долго ли продержится Костя на свободе? И все сходились на одном выводе: Соловков ему не миновать.



Новая профессия. Механический цех; шлифуют коньки



Ложась спать, Николай думал о том же: «Только здесь мне можно спокойно и бодро жить». Неожиданно — уже в полусне — он нашел выход и для Маруси. Ее нужно перетащить в комму-ну. Да, это самое правильное. Он уже не хотел спать. Всю ночь размышлял, рисуя себе, как они устроятся здесь с Марусей вместе. Маруся будет работать на трикотажной, а пока закончат строить корпус для семейных, поживет в Костине...

# «НАТУРАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ»

## I

**В**ечер. Низкие лучи солнца багряно освещали окна четырехэтажного дома, лохматые тени надвигались на землю. Вороны раскачивались на верхушках листв и берез.

Богословский внимательно смотрел на убегавшую из-под ног дорогу. Прохладный ветерок поднимал пыль. Навстречу двигалась кучка ребят. «На прием, — подумал Сергей Петрович. — Группами пошли сами. А давно ли каждого приходилось уговаривать!»

А по широкой вымощенной дороге уверенно приближалась стайка ребят. Одному из идущих была уже знакома эта дорога, но сердце его было беспокойно.

— Шалавый, может, твоя коммуна похожа на тебя? Может, ты на пушку берешь? — спрашивал его низенький парнишка с красным носом, похожим на луковицу. Это был Кнопка — карманный воришка, приятель побывавшего уже в коммуне Сашки Шалавого.

— А зачем мне брать на пушку? — отвечал Шалавый. — Говорю — руки не свяжут и ноги не закуют.

— Нет, ты скажи нам по совести, жил ты в коммуне или трепишься? — интересовался другой парень, взломщик квартир Ванька Чубастый.

— Жил-то я жил, да как волк, одним глазом в лес смотрел. Не пускали меня в Москву из-за вина, а я самовольно уехал и на Грачевке остался...

— Да-а... Что ж — теперь концы в воду? — допытывался Ванька.

— Зачем так... Я насчет натуральной жизни хочу. Все обстоятельства обрисую Сергею Петровичу.

— А это кто же такой Петрович? — заинтересовался Кнопка.

— Человек такой — воспитатель. Фартовый дядя!.. Понимает тебя насквозь. Его вся Москва знает... У него при необходимости для нашего брата глаза на затылке...

— Значит — лягавый! — пробормотал губастый Кнопка.



— Похоже...

— Что ж, живет там брашка-то, не ворует? — спросил Чубастый.

— Если Леха Мологин крест поставил... Он ведь какой, и то...

— Это рыжий? — удивлялся Чубастый. — Да что ты! Ведь я с ним сидел! Да он с малых лет...

— С малых, с малых! — подтвердил Кнопка. — Жизни-то нет?.. Куда попрешь?..

— Это верно. А ведь крупный вор, — согласился с доводами Кнопки Чубастый.

— А уж прочие и вовсе махру покуривают, привыкли!.. — гордился Шалавый, точно это было его личной заслугой.

— Ну, а ты? — припер его Кнопка.

— Что ж я?.. Ты уясни... Я сомневался. Думаю, жизнь для жулья что-то больно широко раскинули... Заводов не пожалели, сами собой управляют. Думаю, что-нибудь тут не так. Вот после таких мыслей я и попал обратно в пропасть, — философствовал Шалавый.

— Что-то ты чудное лепишь... Прямо и веры нет, — процедил Чубастый.

— Зря... Тут ведь надо понять... Я сам только в тюрьме как следует разобрался.

Чубастый сплюнул и не ответил. Кнопка подмигнул ему: «Посмотрим».

Три спутника свернули на тропинку и пошли молча. Ветер утих. Ели протягивали ветки, как бы показывали дорогу. Трава под ногами была мягкая, как ковер... Ребята шли один за другим, изредка перекидываясь словечками. После шумного города здесь так покойно и тихо... Хотелось мечтать, и они мечтали, каждый по-своему, о какой-то перемене, о новой необыкновенной жизни.

В деревне, скрытой за парком, заиграла гармонь, поднялись звонко вечерние песни... И, точно соревнуясь с ними, хлынула торжественная музыка из огромного рупора коммунаского радиоузла.

Пришельцы остановились в двух шагах от Богословского. Кнопка высморкался, повернул голову к спутникам и, убедившись, что они не возражают против его инициативы, вышел вперед, но заговорить оказалось труднее. Главное — с чего начать?

— Ты из каких будешь? Из наших? — набравшись храбрости, спросил он.

— Из ваших на все сто, — с улыбкой сказал Богословский.

— Ты — Сергей Петрович?

— А вы откуда меня знаете?

Кнопка смутился.

— Мы... отсюда... слышали... Шалавый рассказывал, — выпалил он.

— Сам-то Шалавый где?

— Не знаю...

Сергей Петрович заметил смущенье ребят. Он стал пристально рассматривать каждого. Шалавый спрятал глаза под козырьком кепки, съежился, стараясь укрыться за спиной Кнопки. Богословский узнал его.

— Так... Вернулся!.. — тихо сказал он.

Сашка через силу выдавил:

— Пришел...

— Надолго? — поинтересовался Сергей Петрович.

— Навсегда, веришь?

— Что ж не верить, я-то, вот, видишь, верю, а вот как коллектив — не скажу.

— Знаю, Сергей Петрович, знаю, что коллектив — сила... Доказать надо, чем хошь, докажу!..

Чубастый и Кнопка впервые слушали такой разговор.

— Вернемся, — шепнул Чубастый.

Но Кнопка слушал Сергея Петровича.

— Вернемся! — еще раз прошептал ему на ухо Чубастый.

Кнопка повернулся к нему и так же тихо ответил:

— Валяй. Я не пойду!

Сергей Петрович подошел к Кнопке:

— Ну, что замолчал? Говори, как тебя зовут?

— Кнопка! Из Таганки кличка пошла. Как к собаке, пристала...

— А человеческое имя есть у тебя?

— Зови любым, у меня их, как блох. Вот Сигизмунд — имя хорошее. Сидел я с одним поляком: деловой парняга, грабитель. Его Сигизмундом звали.

— Ну, а родное твое имя? Как мать звала?

— Чорт паршивый — вот как она звала.

— А ты кто? — обратился Сергей Петрович к Чубастому.

— Я? Обыкновенный человек, не имеющий паспорта. Пришел сюда потому, что в жизни коренная ломка произошла. Ни законов, ни честности у нашей брашки не стало. Да и родных — хоть шаром покати...

— А на судах только и слышишь: «Отец у тебя рабочий, а ты — паразит!..» — дополнил, хихикая, Кнопка.

Богословский развернул переданный ему Кнопкой клочок бумажки и прочитал вслух: «Видом на жительство служить не может».



— Ну что ж, пойдем, Сигизмунд? — сказал он, поворачиваясь к коммуне.

— Пойдем...

Сквозь густые заросли парка пробивались электрические огни общежитий. Узкие полоски света скользили по лицам ребят. Было легко дышать, легко идти по лесной недавно проложенной дороге.

В комнате заседаний приемочной комиссии на столе среди вороха разных «дел» лежал вырванный из тетрадки клочок бумаги. На нем было неразборчиво нацарапано:

«У приемочную комиссию

От Александра Шалавого

### З а я в л е н и е

Прошу разобраться в моей просьбе, как я еще раз в коммуне и раньше жил в ней, как золотая серединка. Потом ушел как малосознательный, а завалился как паразит. К тому же прошу сделать из меня человека для натуральной жизни. Сам я обязуюсь на прошлое не оборачиваться и в приеме же прошу не отказать».

Из цехов доносились стальные голоса машин, солнце играло на стенах, зайчиками прыгало по потолку. В коридоре толпились ребята. Кнопка с замиранием сердца заглядывал в механический цех. Ему было и радостно и тревожно: он впервые видел завод.

Шалавый и Чубастый тоже были здесь. Они пошли втроем меж длинных рядов блестящих, покрытых лаком револьверных и токарных станков. И за каждым станком мерещились им знакомые лица, узнающие их глаза.

Грохот трансмиссий и вагонеток, лязг барабанов, удары парового молота, клеткот машин, человеческие голоса — все сливалось в одну чудесную, никогда не слышанную Кнопкой песню.

У большого пресса Кнопка остановился. Он узнал одного из недавних своих товарищей. Тот узнал его тоже. Из-за грохота прессов и жужжания моторов голосов не было слышно. Они улыбнулись друг другу, пожали руки. Товарищ что-то прокричал Кнопке, но тот не понял. Потом они оба стали рассматривать громадную машину. Этот пресс был раза в три больше Кнопки.

Вот если бы Кнопке когда-нибудь научиться управлять им!

Кроме Шалавого и двух его спутников в коммуну пришло еще несколько девушек и парней. У каждого из них было здесь много знакомых. Почти все они знали Гуляева, Накатникова, Новикова, Огневу. «Старики» советовали «новичкам» осмотреться, не торопиться в выборе квалификации.

Кнопка уже не удивлялся вслух, а переживал все, что видел, молча, внутри.

Вечером, после окончания работы на фабриках, он пришел на приемочную. Первым обсуждался вопрос о Шалавом. Председатель комиссии зачитал его заявление... Саша стоял и тербил в руках серую, слишком большую для его головы кепку. Ему нечего было сказать сверх того, что он написал в заявлении. Но вопросы сыпались со всех сторон. Он хотел сразу ответить на все, недоговаривал, глотал концы последних слов:

— Кто я!.. Ясно — паразит. Одно ваше товарищеское... И вообще. Честное слово! Поверьте еще раз! Докажу!.. Вот увидите!

— Докажешь? — перебил его член приемочной комиссии, токарь седьмого разряда Дима Смирнов. — А если за твоей спиной есть которые еще ни разу в коммуне не были? Только мечтают. А ты вот опять только место займешь?

— Да я! Эх! Не сам я! Нутро, нутро!

— У нас у всех нутро ремонтировать надо, — сказал председатель комиссии, мастер цеха Георгий Бутырин. — Только одни сразу честно идут на это, а другие рассчитывают как-нибудь без ремонта — на скорость оборота госспирт — коммуна! И так прогниют, что и ремонтировать невозможно! Ты, брат, тоже, ох, какой гнилой!

— А ты разве не был такой же? — обиженно ответил Шалавый председателю, бывшему своему корешку.

— Кто у тебя был тогда прикрепленный? — спросил Бутырин после раздумья.

— Не было никого... Слаб был и в жизнь натуральную плюнул.

— Ты плюнул, а нам — коллективу — отвечать досталось. Ты думаешь что? Там о каждом человеке помнят, каждым интересуются. Краснеть за тебя пришлось, — горячо говорила девушка, только на днях выдвинутая женским собранием в члены приемочной комиссии.

— Ну, смотри, Саша! Я твой характер знаю... Из-за твоего характера сколько мы с тобой горя еще в прежнее время имели. Смотри же, опять здесь не наделай чего, — сказал Бутырин. — Можешь идти, — добавил он.

— Ну, а как же — слово товарищеское?..



— Иди, иди, на собрании услышишь.

Следующей проходила комиссию девушка. Как обычно, первые вопросы задавал председатель:

— Настоящая фамилия?

— Бубенчикова... Серафима.

— Сколько лет?

— Восемнадцать.

— Чем до прихода занималась?

Серафима скользнула лукавым взглядом по лицам членов приемочной комиссии и, слегка покачиваясь из стороны в сторону и улыбаясь, сказала:

— Воровала.

— Кто тебя выучил?

— Подружка с Усачевки и Петька Гриб. Он у вас в коммуне. Уже несколько месяцев. Они все здесь за дверями.

— Родные у тебя есть?

— Мать.

— Где она?

— Должно быть, живет где-нибудь.

— Где?

— Не знаю. Она меня восьми лет из поселка в городской детдом отдала. Там мне было плохо, я ушла, в кочегарке на станции у деда два года жила. А потом в хлебные края с ним уехала и там... с деревенскими ребятами в горелки играла. А когда возвращались оттуда, дед мой дорогой помер... Ну, потом на вокзале околачивалась, в женских уборных, уборщица была знакомая — Наташа. Я у ней сумки с деньгами прятала. А по вечерам к ней в комнату гости ходили, там я с Петькой схлестнулась. Он меня на Усачевку свел, там тоже такие были. Ну и все...

— А кто тебе про коммуну рассказывал?

— Никто... Петька. Он меня с Усачевки привез и заявление это писал.

— Что же он тебе все-таки о коммуне рассказывал? — интересовалась выдвиженка.

— Что? Я, говорит, Сима, кроме тебя никого не любил. Всех посторонних людей боялся и ненавидел. А теперь ко всем доверие чувствую. Даже деньги, говорит, свои имею. И прячу их от греха. Потому они честно заработаны. Я теперь, говорит, каждой честной копейке цену знаю...

— Правильно он сказал? — спросил третий, молчаливый член комиссии, парень с голубыми глазами.

— Правильно. По себе создаю. Как украдешь, никакой цены деньгам не чувствуешь.

— Дорогие, значит, для Петьки деньги стали, это хорошо, — сказал Бутырин. — Скажи нам, Сима, что ты можешь делать?

— Я? Петь могу.

— А еще?

— Еще... еще... шить...

— Когда же ты шить научилась? — поинтересовалась выдвигенка.

— Шить я научилась, когда с дедушкой в хлебные края ездила. А в коммуне Петька обещал на работу устроить.

— А куда бы ты хотела пойти?

— К Петьке. Я с ним хочу.

— С ним нельзя... Он кочегаром в большой котельной. Там тебе тяжело будет.

— Нет, я хочу к нему...

— А если мы пошлем тебя на трикотажную к машине?

Сима опустила голову и задумалась. Ее золотые волосы завитушками свисали на лоб, щеки горели. Она попрежнему покачивалась из стороны в сторону. Из приоткрытой двери высунилось чумазое лицо Петьки. Сима увидала его.

— Ну, как же, пойдешь к машине? — спросил еще раз Бутырин.

— Ладно, пойду! — И Сима почти бегом рванулась к дверям.

Кнопку тесно окружили товарищи. Советы, пожелания и поучения не помещались в его голове. Он не помнил, как очутился перед столом, за которым сидели ребята — в большинстве знакомые ему по домзакам и «воле». Он поражался их перемене. Так ли разговаривали они когда-то в пивных, в шалманах, в камере? Он не знал, что рассказывать, как держать себя. Выручил Сергей Петрович. Он вошел в комнату и прямо направился к Кнопке.

— Сюда ты пришел, мы знаем — зачем, — сказал он. — Мы верим тебе и хотим только вот что сказать: отныне ты не Кнопка... И не Сигизмунд! Вот твое личное дело. — Сергей Петрович протянул ему документы. — И будешь ты теперь называться Николаем Петровичем Новостроевым. Это мы тебя по-настоящему назвали и хотим, чтобы также по-настоящему ты и жил. А что у тебя есть сказать, выкладывай сейчас.

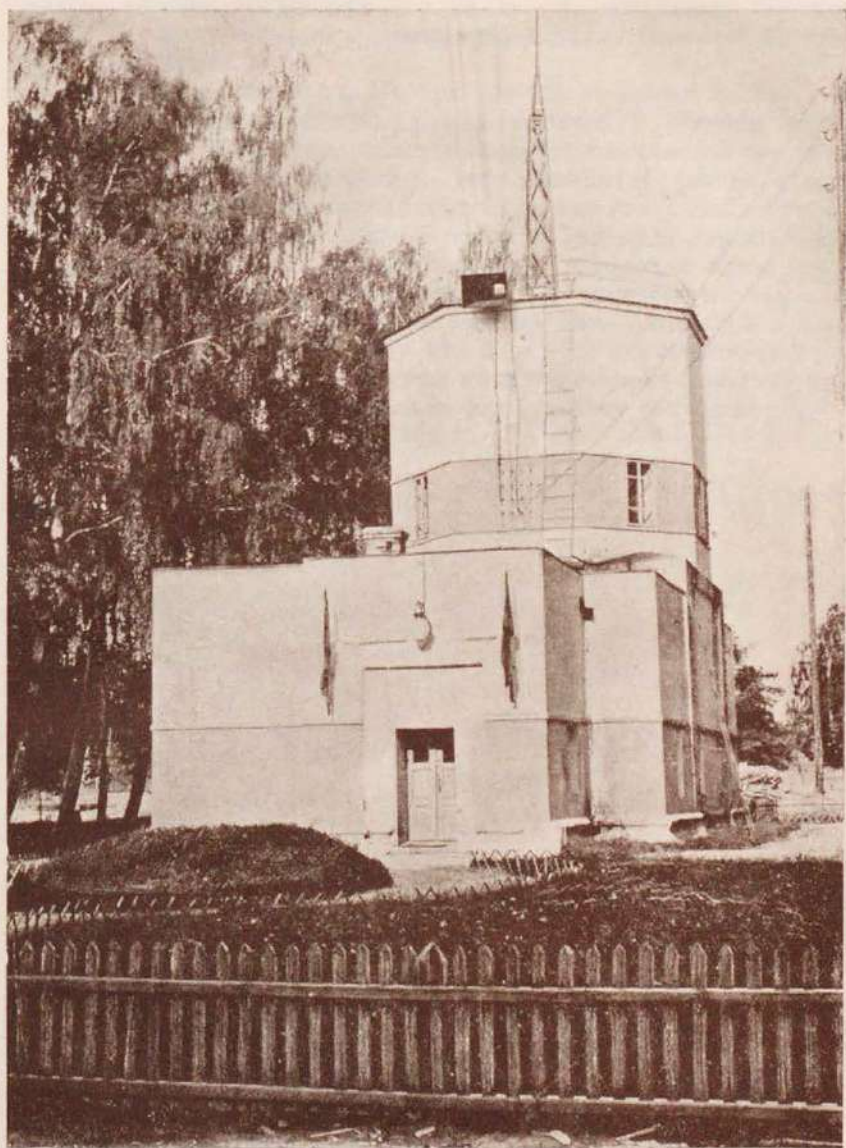
У вновь нареченного Николая на лбу выступил пот. Все происходящее было чудом. Он поднял голову и несколько секунд смотрел на членов комиссии, на Сергея Петровича.

— Спасибо, — едва прошептал он. — Спасибо! Умру, а докажу!

### III

Прием новичков утверждался общим собранием. Председатель приемочной комиссии зачитал список и предложил каждую кандидатуру обсудить в отдельности. Две с лишним тысячи людей сидело в зале. На кандидатуре Шалавого задержались





Церковь д. Костино переделана в радиоузел коммуны

долго, горячо обсуждали его поступки, остальные прошли легко. В заключение от новичков высказался Николай Петрович Новостроев.

— Ребята, я вот что... Не зря вот эти бумажки пишут... — И он дрожащими от волнения руками развернул домзаковскую справку. — Тут вот говорится: «Видом на жительство служить не может...» И верно, не может... и не должно! Я пришел, чтобы получить право на настоящий документ, вот как у Лехи Гуляева, по которому можно жить и по которому куда хочешь ступай — не задержат. Вы вот тут Сашку ругали, а я его хочу благодарить: он меня привел сюда... Вы сами знаете, как мне сейчас. Как будто десять лет в бане не был и вымылся... Мне здесь фамилию дали. Потому что я до сих пор человеческого имени не носил... Ну, я больше не могу говорить, потому что уж очень все ясно. Я вот только эту бумажку сейчас порву.

И в ответ бурно зашумел зал...



# ГОСТЬ

**К**оммуна выполняла полугодовой план. Ничто не могло помешать этому. Давно с торжеством освободинлось оздоровленное четырнадцатое общежитие от позорной славы. Дейтельно готовились к празднику. Мологин мало спал, забывал обедать, почти не уходил из клуба. Разве могли иметь значение «мелочи жизни» теперь, когда от клуба зависело столь многое? И это была его прощальная работа: он уходил в цех новой обувной.

Он еще спал, когда в комнату постучались. Мологин накинул пиджак и открыл дверь. Высокий человек в куцем демисезонном пальто с блестящими глазами на сухом втянутом лице перешагнул порог и бегло осмотрелся:

— Не узнаешь, что ли?

Этот дребезжащий голос, эти жесты, улыбка.

— Димка! Загржевский! Ты?..

Мологин рванулся к нему навстречу.

— Я самый, — подтвердил пришелец, приятно улыбаясь, и одновременно быстро, пытливо осматривая все в комнате.

Анна причесывалась, недовольно, подозрительно поглядывая на гостя.

— Жена, что ли? — спросил Загржевский таким тоном, как спрашивают не о живом присутствующем человеке, а о фотографии.

— Да, знакомься, — сдержанно сказал Мологин.

Загржевский неловко, не сняв шапку, пожал руку Анны и сел возле стола, протянув ноги в чиненных башмаках.

Вот кого не ожидал к себе Мологин! Он разглядывал Загржевского, его до смешного куцое, точно на ребенка сшитое пальто, худые длинные руки.

— С Урала притопал, — рассказывал, поминутно оглядываясь, Загржевский. — Слышу — Алеха в коммуне. Э-э, думаю, двину туда! Тут, думаю, все как-нибудь...

— Ты иди, Анна, не волнуйся, — сказал Мологин, успокаивая ее взглядом.

В последнее время она сделалась очень нервной. Вероятно, в этом была повинна ее беременность.

— Пей чай, — предложил Мологин гостю. Он почти не слушал Загржевского.

Какую бездну давно похороненных воспоминаний расшевелил своим появлением этот человек! Тревоги бессонных воровских ночей, похмелье горячего разгула, судороги страха — там, на даче в Филях, в проклятой лисьей норе, в которой пытался Мологин отсиживаться от неизбежного... Это вошло вместе с Загржевским, как его тень. Зачем явился он к Мологину!

Анна ушла. Загржевский придвинул ближе стул. Он округлил глаза и заговорил таинственным полушопотом:

— Не знаю, что делать. Завязался бы, да как? Заметут в момент, сам знаешь! Ушел, а оно выходит все то же. Цыганка видел в Москве. Помнишь? Говорит: «Может быть, поживем». Прямо не знаю.

«Ушел из лагеря, должен был чем-нибудь существовать, наверное, есть свежие дела», соображал Мологин. Ах, как знакома ему эта безвыходность, это кольцо, имя которому безнадежность. А парень-то не плохой! Уж и тогда, и в те годы, помнится, он тосковал об иной жизни.

— Присоветуй, Алеха, ты более опытный, — шептал Загржевский. — Итти мне сейчас с Цыганком в дело?

Мологин на секунду заглянул в его глаза. В них была загнанность, не задумывающееся доверие. Мологину вдруг сделалось смешно. Поистине трудно было вообразить большую наивность. Человек не догадывался даже о том, что Мологин теперь же должен и не может не рассказать всем об его приходе.

— Смеешься, — глухо произнес Загржевский.

— Ты — чудак! — Мологин слегка хлопнул Загржевского по костлявому плечу. — Ты бы еще мне самому предложил пойти с тобой на дело. Ведь я же в коммуне, понимаешь? Я завязался окончательно. Неужели так трудно тебе это понять?

— Ну что ж, «завязался». Это я знаю. А почему не посоветовать? Язык не отвалится, — мрачно бурчал Загржевский.

Нет, он не понимал таких тонкостей.

Мологин думал: Загржевский — энергичный, толковый парень. Он всегда восхищал Мологина предприимчивостью, ловкостью, умением организовать «дела». Каким полезным работником мог бы стать такой человек в коммуне! Конечно, с ним бы пришлось немало повозиться. Кто знает, насколько твердо его желание «завязаться», как устояло бы оно против привычек. Но ведь коммуна для того и существует, чтобы менять



человеческие привычки. И если мог сам Мологин... А как бы замечательно было посадить когда-нибудь Загржевского в бюро, в актив!

Загржевский оглядывал неласковое, помолодевшее лицо Мологина, волосы, аккуратно зачесанные на лысину, узко подстриженную бороду.

— Ничего живешь, фрайером! Картин даже навешал... Мологин перебил его.

— Вот что, просись в коммуну, — внезапно строго сказал он.

Загржевский покраснел. Смущенная улыбка скользнула по его щекам. Может быть, это и было его затаенным намерением? Может быть, только для этого он и пришел?

— Понимаешь, сюда ведь молодых берут. А я уж старый, — сказал он мужественно.

— Я старше, — перебил Мологин.

— Выйдет ли?

— У меня же вот вышло. Выйдет, если от души пойдешь.

Загржевский медленно, торжественно поднялся со стула. Он показался Мологину огромным.

— Будь я лягавый, последний гад! Ноги, руки отрежу. Только возьмите! Жизнь мне откроется.

Загржевский не договорил, махнул рукой.

— Да ты пей чай, — сказал Мологин.

Загржевский вздохнул и сел.

— Ну, смотри, Дмитрий. Сделаю все, что в силах. Но не потому, что мы — корени. В коммуне корешей нет! А потому, что знаю, верю: идешь в коммуну — старому крест, — говорил Мологин, деля по-братски с Загржевским приготовленные Анной бутерброды.

Загржевский кивал головой, его рот был полон, он не мог ответить иначе.

Проводив Загржевского, Мологин пошел в клуб. До выпуска оставался день. Клуб был готов к празднику. Но всегда накануне подобных дней у всех возрастала нервность, начинало казаться, что подготовились недостаточно, все торопились использовать оставшиеся часы. Драмкружок в последний раз репетировал пьесу, синеблужники твердили куплеты, сочиненные поэтом-коммунарком, художники спешно дописывали плакаты, монтировали фотографии лучших ударников производства, кандидатов на выпуск. Все требовали у Мологина указаний.

Мологин стал помогать художникам. Он пересматривал еще не смонтированные фотографии, откладывал ненужные, думал о выпуске, о переходе в цех. Он был при обсуждении списков на выпуск и премирование. Активисты выдвигали и Мологина. Они говорили о клубе, о работе комиссии. Но ведь он был «десятилетник». Нет еще и трех лет, как пришел в коммуну.

Понятно, его кандидатура на выпуск была снята. Вероятно, будет снята и на премирование. Конечно, он кое-что сделал, но ведь и все делают. Как-то пойдет работа на обувной? Его посылали в цех, чтобы он хорошенько освоился с производством, с практикой; уже был предreshен вопрос о назначении его в дальнейшем директором всей фабрики. Большая, нелегкая работа!

Мологин указал художникам, как нужно разместить отобранные фотографии, заглянул к киномеханику, к буфетчику, проверил еще раз, все ли в порядке. Все было в порядке. Потом вымыл руки и пошел в правление. Предстоящий разговор слегка волновал его. Вопрос о Загряевском не был обыкновенным, подобным тем, какие десятками решались на приемочной тройке. Переросток, медвежатник и «десятилетник», как и Мологин, вдобавок беглец, обремененный кучей дел. Его нелегко взять, да можно и не захотеть брать. Но ведь это было бы крупной ошибкой, — Мологин должен доказать это.

Богословский разговаривал с Каминским и Фиолетовым.

— Завтра не отобьешься: газетчики, кинооператоры! — с шутливым ужасом говорил он. — Вы уж смотрите, друзья, чтобы не толкались, не было суетни.

В белых летних брюках, в открытых рубашках собеседники были образцом чистоты и аккуратности.

— Погодите, дело есть, — напористо сказал Мологин, кладя свою шапку рядом с белой кепкой Сергея Петровича на горячий от солнца железный шкаф, в котором хранились денежные документы коммуны.

— Что еще такое? — заинтересовался Богословский.

Он ожидал каких-нибудь новых осложнений в подготовке к празднику. Последние два-три дня он только подготовкой к празднику и занимался.

Мологин рассказал об утреннем посетителе.

— Загряевский? Дмитрий? Знаю, — важно заметил Фиолетов.

— Мечтает парень завязаться. Надо бы взять в коммуну, — решительно сказал Мологин.

Несколько секунд длилось молчание.

— Это дело серьезное, — задумчиво произнес Каминский.

Мологин согласился:

— Конечно, с ним легко не будет. Может, и не разогнется. А парень — фартовый, боевой парень. Такого разогнуть — за дюжину потянет! Лестное дело.

— Ты как его знаешь? — спросил Фиолетов.

Мологин усмехнулся:

— А ты как его знаешь?

Фиолетов засмеялся.



Известно всем, откуда знает Мологин Загржевского. Но разве он потому хлопочет о нем? Мологин ждал, что скажет Сергей Петрович. Тот молча тер переносицу. Дело действительно большое и ответственное. Но если Мологин хочет взяться сам... Вряд ли Загржевский оказался бы труднее Мологина, а комуна же справилась! Воздержаться, поосторожничать — Мологин принял бы это как недоверие.

«Нужно делать», подумал Сергей Петрович.

— Так разогнем, говоришь? — сказал он.

Мологин тряхнул головой:

— Надо попробовать.

— Будешь ручаться?

— Поручусь.

— Ну и заматано, — сказал Сергей Петрович. — Поставим на актив. Верно, Каминский? Будем просить коллегю. Думаю, согласятся. Ну, а как там у тебя клуб?

— В грязь не ударим!

— Смотрите.

Мологин надел шапку и, не прощаясь, ушел в клуб.

Он взял на себя сейчас большую ответственность. Он понимал это, но был уверен в успехе.

# ПРАЗДНИК

1

**О**ткрытие обувной фабрики приурочили к 23 июня — дню досрочного выполнения коммуной полугодовой производственной программы.

Ночью прошел густой теплый дождь. Утром из-за темного гребня леса ударило солнце. Слегка колыхались красные полотнища на фасадах корпусов, земля была влажная и свежая. Над коммуной взлетел высокий звук флейты и поднялся до безоблачной синевы. Хлопнула дверь, и по мягкой хрустящей дорожке пробежало несколько человек в белых теннисных туфлях.

Так начался день 23 июня, праздник, устроенный коммунарами. Подготовкой к нему были страдные зимние дни субботников, борьбы за монтаж фабрики, за высокое качество продукции, за воду. Каждый болшевец надевал свое лучшее платье. Разве не было труда каждого в досрочном выполнении плана? Разве не блестит уже стеклом крыша новой обувной, ожидая часа открытия? И право же, можно надеть шелковый галстук веселой расцветки в такой радостный, необыкновенный день.

К десяти часам площадь возле управления коммуны была уже переполнена. Кроме болшевцев сюда пришли колхозники и единоличники из соседних деревень. Праздник стал праздником не только одной коммуны. У трибуны, сооруженной против нового корпуса обувной, оглушительно прочищали свои ярко сияющие пасти басы, контрабасы и тромбоны, залиvisto перебирала клавиатуру медная завистливая мелкота. Торопливо прибывали полотнища с непросохшими буквами лозунгов. Дежурные по встрече гостей с алыми повязками на рукавах нетерпеливо поглядывали на дорогу. Толстогубый парнишка в тщательно разглаженных брюках, заправленных в голенища хромовых сапог, захлебываясь, говорил:

— Сталин, Ворошилов, Горький, Менжинский, Ягода!.. Все приедут, сам слышал.

Из леса донесся звук автомобильной sireны.

— Едут!



Площадь сразу притихла.

Кто-то сказал: «Горький». И это имя стало повторяться по всей площади. Засуетились дежурные, сдерживая толпу.

— Легонько, легонько, не напирайте, ребята, от этого Горький раньше не приедет!

Из-за поворота вылетел мощный автомобиль. Кто-то из знатоков сразу определил: бьюик. Толпа подалась, уступая дорогу первому гостю.

Но бьюик был наполнен незнакомыми пассажирами в затейливых костюмах. Они оказались кинооператорами. Они вытаскивали свои аппараты, похожие чем-то на фантастических марсиан.

Вслед за киноработниками приехали иностранные журналисты — любопытные, юркие. Как только остановился автомобиль, защелкали их «Лейки» и «Кодаки».

Гости прибывали. Поворот дороги выносил автомобили один за другим, и хотя у трибуны, где должен быть митинг, давно гремел оркестр, на площади около управления толпа не редела. Наконец из контрольной будки выбежал человек. Он извещал:

— Спокойно, Горький приедет только к трем часам.

Открыл митинг председатель профбюро обувной фабрики Павел Панцырный. Один за другим выходили знатные люди коммуны, ее ударники-энтузиасты.

— Какие же это воры? Это рабочие! Обыкновенные советские рабочие, — говорил с нескрываемым разочарованием корреспондент французской газеты Сергею Петровичу Богословскому.

В коммуне привыкли к иностранцам, к их недоверию и удивлению, к их странному, иногда дружелюбно наивному, иногда циничным и злобным вопросам. Их много перебывало тут — делегаций рабочих, экскурсий «Интуриста». И в одиночку и группами разных национальностей, разных классов.

Члены рабочих делегаций, представители революционной интеллигенции старались вникнуть в подробности жизни коммуны, восхищались ею, радовались успеху социального опыта, небывалого в истории. Между такими гостями и коммунарами устанавливались добрые взаимоотношения, близость, дружеская любовь.

— Как вы думаете, возможно существование такой организации, как ваша, в условиях западноевропейских стран? — задавали иностранцы почти неизбежный вопрос.

И терпеливо разъясняли гостям коммунары и воспитатели основы коммуны, ее внутреннюю организацию, возможную только при диктатуре пролетариата, только при руководстве коммунистической партии, только в советской социалистической стране.



**Открытие новой обувной фабрики было крупной победой большевцев  
В день открытия состоялся многолюдный митинг**



Книга записей впечатлений отражала на своих страницах многообразие классовых устремлений, разницу в культурном и политическом уровне посещавших коммуны иностранных гостей.

«Я пела вместе с девушками... Нет песен там, где есть гнет и принуждение», записала женщина-немка, проведя в коммуне день. А вначале она вот так же, как и этот французский корреспондент, не верила, что находится среди правонарушителей, и убедилась в этом, только заметив на руках и груди некоторых большевцев обильную татуировку.

Команда иностранных футболистов, проиграв большевцам несколько встреч, долго допытывалась потом, как часто выпускают играющих в футбол коммунаров из камер для тренировки. Стоило большого труда убедить этих людей, что никаких камер ни для кого в коммуне нет.

Какой-то немец-турист, владелец ювелирного магазина, настойчиво требовал показать ему комнату, где порют воспитанников, и недоумевающе морщился, когда ответом ему были возмущение и смех коммунаров.

Поэтому Сергея Петровича не удивили слова французского корреспондента.

Если он друг, он поймет, что высшая, лучшая похвала была высказана им: да, все в этом — бывшие воры становятся честными советскими рабочими. Если он враг, то тем ярче и убедительнее будут факты, тем сильнее будет злоба тупого, ограниченного мещанина, едва прикрытая лоском любезных слов.

Рядом с трибуной стоял Генералов. Год назад он положил первый кирпич этой большой великолепной фабрики. Теперь в его руках блестели ножницы.

— Сейчас ветеран обувной, член коммуны, лучший ударник товарищ Генералов перережет ленту у входа в новую обувную, и начнется осмотр фабрики, — крикнул председатель.

Генералов шагнул вперед. Поперек главного входа на фабрику алела тонкая лента. Блеснули ножницы. Концы ленты упали к ногам Генералова.

Фабрика предстала глазам — сверкающая, просторная, с высокими стеклянными потолками, с мощными вентиляторами, с изящными станками новейшей конструкции. Она молчала, великолепная эта фабрика, готовая в любую секунду зарокотать, зашуметь, затрепетать каждым отполированным металлическим суставом.

И когда по сигнальному звонку включили моторы, гул, как шторм, ворвался в просторные солнечные цехи. Застучали штампы, вырезая каблучки и подошвы, защелкали затяжные машины, завизжали «Анкелопы». У каждой машины на белом квадрате картона были написаны фамилии прикрепленных рабочих, норма выработки и род операций.

Милый Алеха Гуляев! Твои первые огромные, тяжелые сапоги — твоя гордость и гордость всей коммуны — показались бы теперь нелепейшим анекдотом. Скоро тебе предстоит руководить этой удивительной фабрикой.

В липовом парке около клуба молодежь вполголоса напевала песни. Волейбольный мяч звенел от ударов крепких рук и шумел в ветвях деревьев, весело тилинькала шестиструнная балалайка в руках краснощекой смуглой дивчины. Если не удалось всем втиснуться в клуб, так грустить от этого или хмуриться? Не из того теста сбита молодежь коммуны, чтобы киснуть от такой неудачи.

В зрительном зале летнего клуба над бюстом Дзержинского склонились знамена. Оркестр играет марш. Кажется, что этот марш написан специально для сегодняшнего дня и играть его можно только сегодня, только здесь.

Дирижер поднял руки и потряс ими над головой. Наступила тишина, и стал вдруг слышен говор, восклицания за окнами зала. И тогда раздался в зале чей-то вопрос:

— Почему нет Горького?

Дирижер оглянулся, точно спрашивали его.

— Когда будет Горький? — подхватили в другом конце зала.

Дирижер скрылся за пультом.

— Пускай съездят за Горьким!

К затянутому кумачом столу подошел торопливо Кузнецов. Гул от передних рядов медленно отступил вглубь зала.

— Немного терпения, товарищи! Горький приедет обязательно и не позже трех часов... Торжественное заседание считая открытым. В почетный президиум предлагается избрать товарищей Сталина, Молотова, Горького...

— В этом году производственная программа по всей коммуне увеличена против прошлого года на 130 процентов, — говорил Кузнецов. — За первое полугодие она выполнена досрочно. На 15 июня три предприятия выполнили свою полугодовую программу с превышением, а на 23 июня они покрыли недовыполнение четвертого предприятия. Все эти достижения становятся более яркими, если вспомнить, что число членов коммуны за год возросло с 750 до 1 600 человек. Строительство в этом году в несколько раз больше, чем в прошлом году, и ведется оно интенсивнее. 2 июня прошлого года мы только закладывали обувную фабрику, а сегодня мы имеем широкий разворот строительства — заканчиваем кирпичную кладку фабрики-кухни, бани, новой деревообделочной и еще одного четырехэтажного дома.

Кузнецов говорил о субботниках, на которые выходила вся коммуна, о моральном росте коммунаров, о городке, вырастающем в лесу.



Вслед за Кузнецовым рапортовали директора фабрик. Одни говорили скупно и сухо, другие — волнуясь. Иностранцы целкали «Лейками», шелестели добротной бумагой вместительных блокнотов. И вдруг из парка сквозь стены клуба донесся шум. Он шел порывами, нарастая, словно налетевший внезапно ветер, испытывающий крепость высоких вековых лип. Говоривший со сцены директор спортмеханического завода прислушался и замолчал. Стуча скамейками и стульями, болшевики поднялись со своих мест.

Горький вошел. Высокий, с приподнятыми легкой сутулостью плечами, в светлом по-домашнему широком пиджаке. Усы его топорщились, улыбка под ними была смущенной. Он точно говорил: «К чему этот шум, ребята?»

Оркестранты, повернув трубы к публике, играли туш, едва слышный в буре аплодисментов. Человек в просторном пиджаке медленно пробирался сквозь тесные возбужденные ряды и, махнув рукой, скромно присел на скамью. Со сцены крикнули:

— Алексей Максимович, вас выбрали в почетный президиум. Займите место!

Кто лучше этого человека мог понять радость коммунаров, их великую гордость бывших воров, сумевших стать честными пролетариями? Скромность — вещь безусловно прекрасная. Но сегодня ведь совсем особый день.

Человек в просторном пиджаке сел за длинный затянутый кумачом стол, задымил папирсой.

Сотни людей жадно смотрели на сцену. Вот, высоко подняв голову, щурится лохматый красноголовый Борис Глазман, знаменитый тем, что он привел с собой в Ростовскую трудкоммуна целый отряд — триста восемнадцать воров. Его ладони лежат на коленях, ворот рубахи расстегнут. Он не спускает глаз с Горького. Высоколобый Мологин поглаживает свою аккуратно подстриженную узкую рыжую бороду, и холодные глаза его оттаяли и стали прозрачнее и теплее. Гуляев, когда-то оставшийся в коммуне из-за давно теперь забытой страсти к голубям, склонив слегка набок голову, неслышно шевелит губами. О чем думает он?

Долгие неумолкающие аплодисменты вновь сотрясают зал. Приехали товарищи Менжинский, Ягода, Погребинский. Они проходят в президиум. Богословский берет в руки маленькую красную книжечку. По рядам проходит гул. Горький дотрагивается до своих усов. В его плечах больше подвижности. Сергей Петрович протягивает книжечку подошедшему коммунару. Менжинский, Горький, Ягода, слегка привстав, аплодируют.

Гремит оркестр. Смотрите, как помолодели плечи Алексея Максимовича! Он смеется и хлопает в ладоши каждому подходящему за книжкой коммунару.

Семидесяти восьми коммунарам выдаются профбилеты. С семнадцати человек сегодня снимается судимость.

«Когда придет такой же день для меня?» думает Мологин, сидя в президиуме.

Аплодисменты смолкли. Встает председательствующий.

— За энергичную работу в коммуне стойким организаторам ее от коллегии ОГПУ выдаются почетные грамоты и серебряные часы, — отчетливо говорит он.

Потом называет фамилии.

В открытые двери клуба слышны голоса ребят в парке, резкие крики иволги. «Как шумят, надо пойти сказать», озабоченно думает Мологин.

— Руководителю клуба, стойкому организатору трудкоммуны Алексею Александровичу Мологину — часы с надписью, — произносит председатель.

Кровь приливает к лицу Мологина. Оно красно и кажется яростным. «Возможно ли?» думает он смятенно. И одновременно знает, уверен: именно так, он не ослышался.

Председатель протягивает руку, в ней грамота. Потный, улыбающийся встает Мологин. Руки его дрожат. Он должен сказать, крикнуть что-то во всю грудь, на весь мир. Но он только зачем-то кланяется, садится, держит в потных непослушных пальцах упругий свертывающийся картон.

Глаза всего зала устремились на Горького. Наступил его черед. Каждый ждал, что скажет Алексей Максимович.

Горький поднялся. Оркестранты положили на колени свои теплые от дыхания трубы. Горький долго смотрел в переполненный людьми зал, потом заговорил:

— Я завидую вам, вы молоды... Я уверен, вы построите еще и не такую коммуны...

Глаза Горького лучатся. Волнение мешает говорить. Зал, стоя, бурно аплодирует. Горький беспомощно смотрит вокруг. Ему несут давно приготовленный подарок — фуфайку работы коммуны.

Он берет фуфайку в руки, видно, как они дрогнули.

— Одели, — глухо, невнятно говорит он. Его большой цвета спелой пшеницы ус топорщится вверх, лицо меняется, глаза застилает влага.

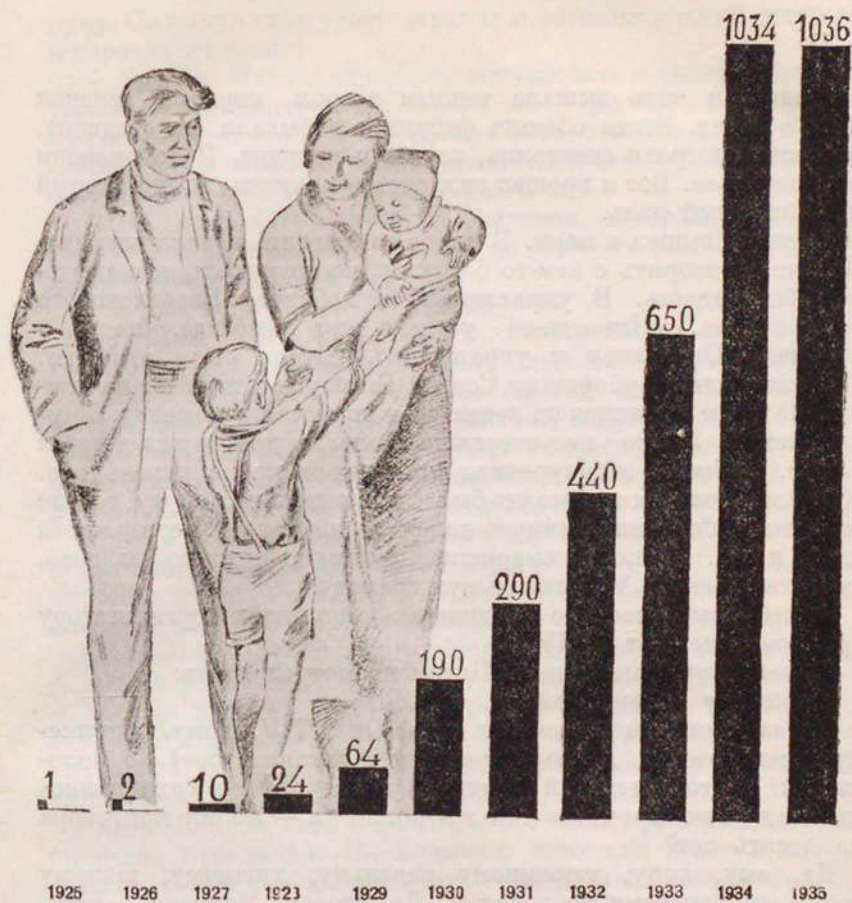
— Одевают... А давно ли, наоборот, раздевали... — отрывисто говорит он и машет рукой.

Зал хохочет, кричит, аплодирует ему, своему Горькому.

Мологин, сутулясь, читает резолюцию: «Общее собрание ходатайствует перед правительством о награждении орденом Ленина товарищей Ягоду, Шанина, Погребинского...»

Дочитать ему не удается. Бешеный взрыв восторженных рукоплесканий топит, заглушает его слова.





РОСТ ЧИСЛА СЕМЕЙНЫХ ЧЛЕНОВ КОММУНЫ

Июньская ночь дышала теплым ветром, мерцала зеленой пылью звезд. Гости обошли фабрики, побывали на стадионе, обедали, смотрели спектакль, слушали концерт. Потом начали разъезжаться. Вот и прошел этот подарок жизни, единственный неповторимый день.

Мологин вышел в парк. В клубе танцевали, играла музыка. Хотелось говорить с кем-то близким, понимающим, кто разделит бы радость. В управлении, в кабинете Богословского горел огонь. «Никогда-то у него нет отдыха», подумал Мологин. Он пошел к управлению. Двери были открыты. Должно быть, и уборщицу Сергей Петрович отпустил на танцы. Мологин поднялся по лестнице и постучал в комнату Богословского. Никто не ответил. Мологин приоткрыл дверь и вошел. Забытая недокуренная папироса стыла на пепельнице. Казалось, человек только что был здесь, вышел на минуту, сейчас вернется. Мологин привычно положил шапку на несгораемый шкаф и сел. Щуплый комаришка, протяжно и тонко зазвенев, пролетел к окну. Мологин вынул грамоту.

«Серебряные часы с надписью: «стойкому организатору трудкоммуны — от ОГПУ».

Мологин прикрыл глаза. Потом посмотрел опять:

«Стойкому организатору... от ОГПУ».

Ах, черт побери совсем! От кого? От ОГПУ. Кому? «Стойкому организатору». А кто этот «стойкий организатор»? Не Мологин ли? Не тот ли самый Мологин, у которого еще сохранилась где-то другая «грамота» той же коллегии — копия приговора на десять лет?

Да, ему, вору, тюремному сидельцу, хищному, шалому волку, рыскавшему по городам. Да, это он, Мологин — стойкий организатор коммуны, руководитель клуба, начальник цеха фабрики, в будущем директор ее. И все-таки не тот, все-таки другой.

Недавно в Москве Мологина остановил работник МУУРа. Это был старый опытный агент, в прошлом не раз задерживавший Мологина. Он подошел откуда-то сбоку, крепко взял за руку:

— Обожди, рыжий. Не торопись. Опять ты объявился? Я думал, тебя уже нету... Ну, пойдем!

Как живуч и цепок звериный, годами выращенный страх! Мологин рванулся. Мгновенно измерил пространство между собой и недалеким переулком... Увидел трамвай, могущий помешать преследованию, ворота во двор, где, кажется, когда-то существовал второй выход. И спокойно, с улыбкой высвободил



руку. Он вынул свое удостоверение и увольнительный документ и передал их агенту.

— Рад бы, Иван Андреевич, потолковать с тобой, друзья-то старые, — непринужденно сказал он. — Да вот спешу теперь. Это ведь не то, что прежде! Может быть, заедешь к нам?

Иван Андреевич смущенно разглядывает бумаги. Нелегко было освоиться с тем, что он читал в них.

— Не слыхал, — сказал он, наконец, возвращая документы. — Нет, не слыхал!.. Ну, когда так — то рад! Прошу прощенья, что остановил.

Они расстались, как добрые друзья.

Да, Иван Андреевич! Совсем, совсем не то, что прежде. Прежде — всю жизнь, с самого детства — Рукавишников, Таганка, Бутырки, Коровники, окрики надзирателей. «Все увидят, как была изуродована жизнь», сказали когда-то Мологину в тюрьме. Он не понял тогда, он испугался. Но теперь он научился видеть. Жизнь была изуродована, она была страшна. Просто невероятно, что люди так долго ее терпели.

Мог ли вор прежде надеяться на что-нибудь? Мог ли он когда-нибудь выбиться к иной дороге? В тот день и час, когда человека выбрасывали на улицу, в тот самый день и час он навсегда вычеркивался из жизни.

А вот сегодня десяткам этих людей открылась дорога в жизнь. А вот вчера пришел в коммуны медвежатник Загржевский. А Бабкин прислал Сергею Петровичу письмо — просится назад, кается в ошибке. Десятки, сотни молодых людей, вчерашних воров, сегодня стали квалифицированными рабочими, музыкантами, вузовцами, художниками, поэтами.

Когда Мологин ехал первый раз в Таганку за новым набором, он очень нервничал. Он понимал: комиссия везет в камеры счастье. Но он попадал до этого в камеру лишь для того, чтобы отбыть свой срок. Он вспомнил блатной закон, ненависть к «изменникам». Помнил, как говорили о коммуне в камерах в былые времена. Конечно, с тех пор утекло немало воды. А все-таки, кто мог сказать наверное, как их встретят и отнесутся к ним. Он был поражен тем, что увидел. Большинство заключенных, с которыми разговаривала комиссия, уже подали заявления. Другие соглашались с первых слов. Они разговаривали о законах и требованиях коммуны, разбирали их с таким знанием, какое впору иметь коммунару-«старика». Они сравнивали их с порядками в Таганской, спрашивали о коммуномском техникуме, хвастались своим клубом и газетой. В опрятной, «вольной» одежде, с независимыми спокойными движениями, как они мало походили на несчастных, затюканных сявок, с которыми сживал Мологин в дни молодости. Некоторые узнали Мологина, напомнили ему, где и когда встречались

с ним. Словно ничто не могло быть для них естественнее той новой роли, в какой увидели его теперь. И с силой почти физического ощущения почувствовал тогда Мологин: мир стал иным.

Он шел в коммуны, потому что не видел для себя другого выхода. Но он подозревал, что это — новый Рукавишников дом. А в домзаке, который покидал он, судили товарищеским судом жигана Ваську за паханские замашки, выпускали газеты, переквалифицировали домушников на обувщиков и слесарей, но он тогда не понимал этого. Не понимал, что эта будничная и малозаметная, как будто незначительная работа готовит день, когда на месте тюрем будут разбиты парки, построены дворцы. Он думал, коммуна — это Рукавишников. А оказалось — жизнь, радость творчества, расцвет всех сил. Он хлопотал о доверии. А оно было с самого начала. И разве не доверие — щедрое и широкое — эта грамота, эти часы?.. Доверие рабочего класса! Мало и плохо работал до сих пор Мологин. Надо больше, лучше! Все силы, способности, все оставшиеся годы жизни отдать тому, чтобы оправдать это доверие. Еще немало потребуется напряжений и усилий. Еще нужно добить преступность. И какая же честь и счастье быть рядовым в такой борьбе.

— Да, хорошо, все хорошо, — громко сказал Мологин.

Он свернул грамоту, бережно опустил ее в карман, прошел по комнате.

«Где же запропал Сергей Петрович? Или он и не заходил сюда?»

Мологин потянулся за шапкой. Его взгляд упал на нескораемый шкаф. Приземистый, массивный, он стоял, как маленькая крепость. А сколько таких и еще более трудных шкафов вспо-рол за свою жизнь Мологин! Он коснулся шкафа рукой, почувствовал холод металла и с усмешкой сказал:

— Не бойся, не трону!





Любимый гость. Максим Горький у большевцев

# СЛУЧАЙ ДВИЖЕНИЯ

Леху Гуляева уважали в коммуне, ему завидовали. И никто не знал, что по вечерам, зажигая лампу и усаживаясь к столу за книгу, он становится самым несчастным человеком в мире. Задернута занавеска, чтобы свет не падал в лицо спящей Тане. Полка прогнулась под тяжестью различных руководств и справочников по обувному делу.

За низеньким столиком начинались ночные мучения Лехи. В тех книгах, которые он понимал, не было нового, а страницы, где начиналось новое, были ему непонятны. Запутанные ряды цифр и знаков, различные таблицы и формулы заполняли сплошь всю книгу, от корки до корки; казалось, что если бы удалось все это понять — цель была бы, наконец, достигнута и наступило бы желанное успокоение.

«Производительность станка легко вычислить по формуле...» читал Леха и запинался, яростно крикнув. Он пропускал формулу, но все дальнейшее было без нее непонятным; он снова возвращался к ней и часто сидел всю ночь, бессильный открыть ее смысл.

Сомнения грызли его. Может быть, он уже знает многие формулы, только пришел к ним с другой стороны — от опыта, от действительного, конкретного, а не воображаемого, как в книге... Он наверняка знает многие формулы, но не может даже сказать — какие. Подобно тому как в очень знакомой книге, но переведенной на чужой язык, он не смог бы найти нужной страницы, хотя знал бы наверняка, что страница эта в книге есть.

Когда-то он догадался увеличить диаметр ведущего шкива, обив его кожей, и достиг этим убыстрения хода машины. В одной из книг нашел он формулу, излагающую этот закон; в формуле буквы были пояснены надписями. Напрягая всю мощь своего гибкого, но невежественного мозга, Леха понял суть этого закона и на следующий же день проверил его практически. Все совпало — значит, число оборотов любой машины можно угадывать наперед? Значит, есть такой закон и для кар-



данного вала. И для шестеренок? Он, Леха, знает только то, что испробовал; всякий новый кусок знания дается ему опытом и памятью; всех машин он не успеет опробовать, хотя прожил бы двести лет; каждый новый станок будет сопротивляться так же упорно, как в свое время «Допель».

А в этих книгах, закрытых для Лехи, есть общие законы, и если их узнать — любая машина будет сразу понятной. Но как узнать, что таит в себе такая, например, строчка:

$$H_2 = \frac{\frac{m}{n} \sqrt{D_1 - d_1}}{2}$$

Сергей Петрович, которому Леха пожаловался на бесплодность своих усилий, посоветовал не торопиться и начать с азов, с арифметики.

— А потом алгебра... Тут, брат, нужно упорство. С налета не возьмешь.

— А после алгебры что? — спросил Леха.

— Высшая математика, физика, химия.

— А после?

— Найдется и после. Если захочешь — так на всю жизнь хватит.

Леха вознегодовал. Должна же быть где-нибудь точка покоя? Такая точка, когда исчезнут все тревоги и все неутоленные желания.

— Нет, — твердо ответил Сергей Петрович. — Для настоящего человека — для тебя и для меня в том числе — такой точки нет. Цель своей жизни, милый друг, надо все время менять и переносить вперед. И двигаться самому — вперед и только вперед.

Как всегда, беседа их затянулась до ночи. Потом Леха продолжал беседу с самим собой. И все, что казалось ему раньше таким неустроенным в бесплодном стремлении к покою, сразу прояснилось в движении вперед.

Он купил в магазине кипу учебников и завалил ими весь подоконник.

Вечером он прочел в первых главах «Рабочей книги» по физике:

«Состояние покоя есть частный случай движения...»

Перелистывая учебник дальше, он наткнулся на портрет Джемса Уатта. Он внимательно прочел скромную биографию гения: «Неудачи не смущали Уатта, он настойчиво стремился к своей цели...»

Для Лехи Гуляева книжное слово не было развлечением — скорее работой. Он прочитывал страницы тяжело и медленно и плотно укладывал их в свою голову. Он прочел в учебнике

все биографии. Размышлений о судьбе Уатта, техника Попова и гениального инженера Дизеля хватило ему надолго.

«Владельцы заводов паровых машин, обогатившиеся на изобретении Уатта, объединились против Дизеля, так как его изобретение наносило ущерб их денежным интересам. Удрученный нищетой и неудачами, Дизель бросился в море, а через несколько лет его двигатель завоевал весь мир и был признан лучшим из всех существующих двигателей».

Так заканчивалась трагическая история великого инженера, сказочно обогатившего мир.

Примеры чужой замечательной жизни многому научили Гуляева. Он подумал о том, что без Дизеля на земле не было бы ни тракторов, ни автомобилей, ни тепловозов, ни самолетов. Он подумал о том, что у нас инженеру Дизелю построили бы какие угодно лаборатории, каждый пионер почтительно здоровался бы с ним на улицах. Леха понял, что заключительные строчки его биографии правильнее было бы прочесть так: «Удрученный нищетой и неудачами Дизеля бросили в море». О себе Леха мог сказать обратное: его вытащили, когда он уже совсем пошел ко дну, вытащили безграмотного воришку, развращенного водкой и кокаином, растили, лечили, воспитывали, еще не зная, будет из него толк или нет.

Во всем огромном мире не нашлось ни одной дружеской руки, на которую мог бы опереться гениальный инженер Дизель. Безграмотного воришку Леху Гуляева всю жизнь поддерживали, всегда помогали.

Это была, конечно, наивная и не очень правильная параллель, но она разбудила в Лехе потребность осмотреться и не спеша, как следует подумать о старой и новой жизни и о себе. Благодаря биографиям Уатта и Дизеля он перешел из затянувшейся юности в серьезную молодость, полную тревожных и плодотворных размышлений, поисков. Новая жизнь была известна Лехе по опыту, о старой могли рассказать ему книги. В библиотеке он прямо так и спросил — книгу о старой жизни. «Только чтобы писали в ней правду», добавил он. Библиотекарь подумал и выдал ему Горького «Детство» и «В людях».

Он прочел первые главы и онемел от какого-то странного чувства растерянности. Читать рассказы приходилось ему и раньше, но он никогда не думал, что слова могут иметь цвет и запах. Хлынули воспоминания и затопили его, и вот через много лет он снова ложится под розги, жмурясь и стискивая челюсти, ждет первого удара, во рту — сладкая, противная слюна, и нельзя плюнуть, а кожа на спине колотче стягивается. Потом встал перед Лехой бойкий и веселый Цыганок, рыночный вор; встречался где-то с ним Леха и не один раз, только



не мог вспомнить — где... Цыганок воровал для хозяев, и они похваливали его; если бы Цыганок украл для себя, хозяева посадили бы его в тюрьму. И вдруг бумага стала красной, душно запахло кровью: Цыганок умер, раздавленный непосильной тяжестью креста. Похоронили его незаметно, непатно...

Бумага исчезла — остался голос. Спокойно и мудро один человек поучал другого примером своей тяжелой и страшной жизни. Вместе с ним плавал Леха на пароходах, ловил птиц и встречал на опушке леса осенний рассвет, вместе с ним изо дня в день пробивал уездную звериную толщу. И было удивительно, как не погиб человек, пройдя через все это один, без помощи; Леха ни за что не поверил бы в победу этого человека, если бы не видел его собственными глазами. Высокий и худой, с приподнятыми острыми плечами, он ходил по коммуне, ежеминутно покашливая и раздувая седые усы, вспыхивая неожиданной милой, молодой улыбкой, беседовал гулким нижегородским баском, упирая на «о», с коммунарами. Потом, передавая друг другу его слова, все говорили таким же баском с упором на «о». Он, познавший до самого дна старую, страшную жизнь, рассказывал теперь о ней Лехе Гуляеву, чтобы Леха мог сравнить и понять, что живет в молодое, счастливое время, когда люди осознали, наконец, свою главную обязанность на земле — жить, помогая друг другу.

Книгу за книгой Леха брал в библиотеке сочинения Горького. Читал он не все — только те рассказы, где было «я». К остальным относился подозрительно — как может писатель знать, что думает и чувствует какой-то Орлов? А уж о себе-то он знает все, и в этих страницах выдумки нет.

Иногда в библиотеке не оказывалось ни одной книги Горького. «Все на руках», пояснял библиотекарь. Леха сердился: «Не могли отложить? Они все, небось, так читают, от скуки, а у меня дело». И он был прав — читая, он действительно занимался большим и важным делом. Если учебники давали ему точные знания, необходимые в обувной профессии, то эти книги помогали ему найти и твердо определить свое место в жизни...

В газетах появлялись иногда статьи Горького. Леха читал их требовательно и с жадностью: статьи были для него завершением всего, что прочел он у Горького раньше, он искал в них окончательных и твердых выводов. Не все в статьях было понятно ему, и смысл некоторых мест приходилось доставать, как сокровище со дна моря. Щурясь от мозгового усилия, он снова и снова читал непонятное место, и случалось, что слова от частого повторения теряли смысл и становились совсем непонятными.

Леха шел за помощью к Сергею Петровичу. Тот пояснял, иногда добавляя:

— До конца ты здесь все равно не поймешь. Прочти сначала ну вот эту, что ли, книжицу.

Книжицы часто оказывались утомительными и скучными, но Леха добросовестно одолевал их, и, действительно, многие вещи прояснялись.

Так, постепенно от книги к другой книге, от разговора к разговору, Леха определил свое место в жизни как принадлежность к рабочему классу, единственному классу, утверждающему свое господство с целью освобождения всех людей от эксплуатации и гнета. Леха научился уважать себя. До сих пор в нем не было этого чувства глубокого и осознанного самоуважения; оно заменялось мелким самолюбием и тщеславием, да иначе и быть не могло, потому что для Лехи понятие коллектива не выходило за пределы коммуны. Чувство самоуважения появилось в нем, как производное от сознания величественности и правоты дела, за которое борется вся рабочая армия и он, ее рядовой, в том числе.

С нерадивыми новичками он теперь разговаривал строго и нетерпеливо:

— Ты сегодня десять заготовок запорол.

Новичок ухмылялся. Леха стискивал зубы, сдерживаясь:

— Смешно, дурацкая твоя голова! Десять заготовок — это деньги или нет, как по-твоему? Через тебя коммуна убыток принимает, понял или нет?!

— Понял, — равнодушно отвечал новичок и уходил, не проявляя никаких признаков раскаяния.

А Леха, оставшись один, долго сидел в тяжелом и злобном раздумье. Вот как ему объяснишь — такому! Он ничего не желает слушать, ему только бы набить свое брюхо!

Однажды такой разговор с новичком происходил в присутствии Накатникова, который был уже членом партии. Как всегда, новичок ухмылялся и скучающе рассматривал потолок. Леха его допрашивал:

— Есть ли какая-нибудь польза от тебя? Никакой. Один только вред. Значит, где тебе место? В лагере, на Соловках. Тебя здесь кормят, поят... бесстыжая твоя морда, а ты машину сломал.

Речь шла о любимом Лехой «Допеле», Леха поэтому особенно волновался.

— Можно итти? — осведомился новичок.

Леха с отчаянием посмотрел на Накатникова: что, дескать, с таким поделаешь?

— Иди, гадючьи твои глаза. Все равно я вопрос поставлю о тебе.



Новичок нагло свистнул и направился к дверям. Шел он нарочито расхлябанной походкой, вызывая заложив руки за спину.

— Сволочь какая, — сказал вслед ему Леха.

Новичок засвистел еще громче. Его остановил Накатников:

— Подожди. Сядь на минутку.

Новичок вернулся и сел. Накатников угостил его папиросой.

— Что это палец у тебя кривой?

— Пером полоснули.

— В шалмане подрались, небось?

— А то где же.

Слово за слово — и завязался новый разговор, очень далекий от фабрики и поломанного станка. Леха слушал недоумевая. Накатников подробно расспрашивал новичка о прошлой жизни; тот отвечал охотно и, похваляясь, врал, приписывая себе чуть ли не мокрые дела.

— Меня этим не удивишь, — усмехнулся Накатников. — Сам таким же был...

— А теперь? — спросил новичок с ехидцей.

— А теперь я коммунист.

Накатников показал партийный билет. Новичок долго вертел его в руках, всматриваясь в печати и подписи. Деловито осведомился:

— Не липа?

— Какая же липа! Чудак. Меня здесь все знают, как облупленного.

Возвращая билет, новичок хмыкнул:

— Чудно... Из воров — в коммунисты.

— Он тоже из воров, — указал Накатников на Леху. — Теперь цехом заворачивает.

Разговор незаметно коснулся производства, а потом — поломанного станка.

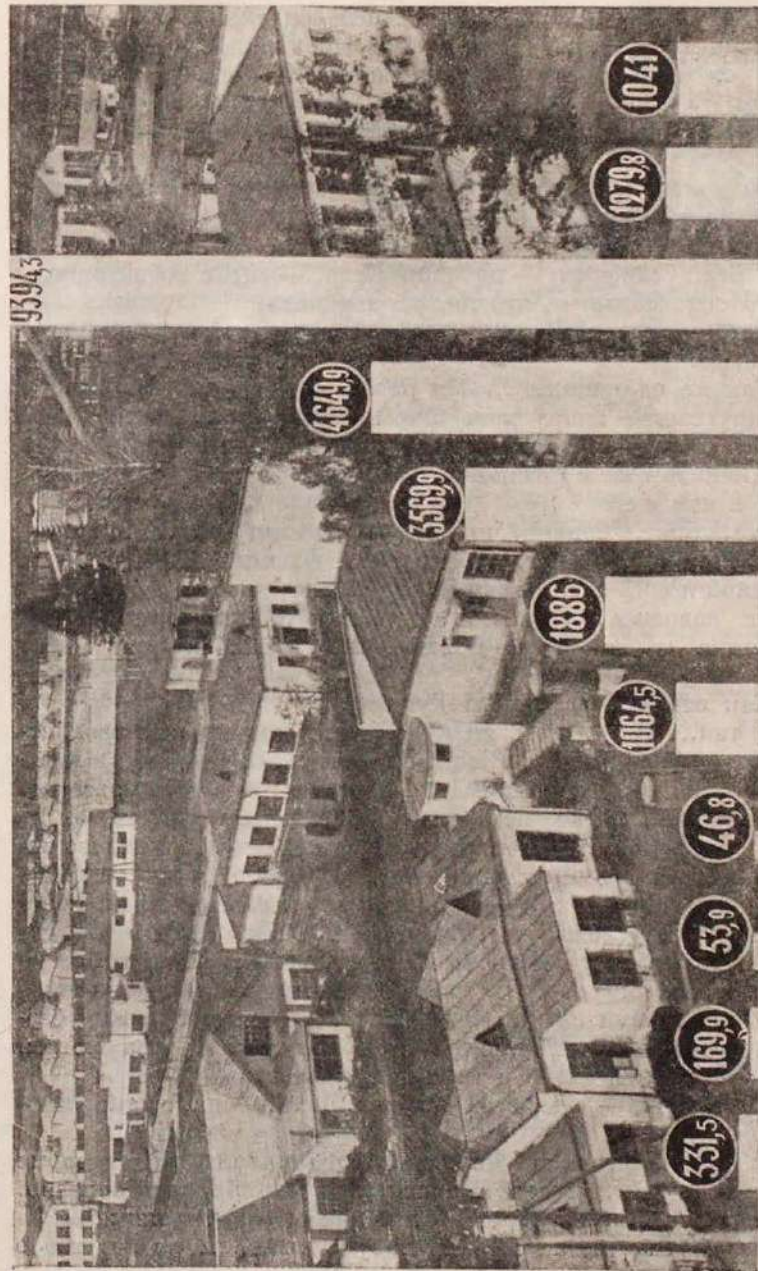
— Станок починим, — сказал Накатников. — А тебе, пожалуй, работать здесь не придется. Раз ты классовый враг, помощник буржуазии и нарочно станки ломаешь, — что ж с тобой разговаривать.

Новичок вдруг страшно обиделся. Уши его покраснели, он растегнул ворот рубахи. Заглухим голосом он сказал:

— За такие слова ответить можешь. А станок я сломал нечаянно.

— Нечаянно? А ты не врешь?

Новичок, почувя возможность оправдаться, сразу оживился. Клятвы, одна страшнее другой, сыпались с его языка. И выяснилось, что он действительно сломал станок нечаянно, двинул рычаг не в ту сторону, спутав объяснения Гуляева. Он оправды-



РОСТ КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЙ В ХОЗЯЙСТВО БОЛШЕВСКОЙ ТРУДКОММУНЫ  
 ПО ГОДАМ (в тыс. рублей)



вался, обещая быть внимательным, никогда больше не ошибаться, и Леха видел, что раскаяние его неподдельно.

Новичка простили. Он ушел сияющий. Горячо и крепко он пожал руку Накатникова. С Лехой простился холодно.

Когда за ним закрылись двери, Леха сказал Накатникову:

— Ты молодец... Здорово ты с ним поговорил. И вот всегда у тебя есть подход... А я как-то не могу...

Накатников молчал.

— А между прочим, — добавил Леха, — мы с тобой одинаковые. Неспособный я, что ли, уговаривать?

— Нет, — сказал Накатников. — Мы с тобой не совсем одинаковые.

— Как не одинаковые?.. Не разом выпускали? Оба, брат, стали другими — впору хоть имя и фамилию менять...

— Ни к чему, — решительно сказал Накатников. — Ни к чему менять имя и фамилию. Не в этом дело.

— А в чем же?

— Это, брат, больно просто, — говорил Накатников. — Сменил фамилию и чист, словно в бане вымылся... Смотрите, мол, какой я есть сознательный. Нет, брат, дело не в фамилии. Как ни назовись, а если плох, так и будешь плох. А не одинаковые мы с тобой потому, что в словах моих силы больше.

— Как это?.. — не понял Гуляев.

— А так... Подходишь ты к новичкам только как хозяйственник и больше ничего. Вишь, новость сказал ты ему: «Через тебя коммуна убыток принимает». Ему это и без тебя известно. Это ему можешь не повторять. Ты объясни ему, что он не только станок ломает, а и жизнь свою калечит. Политический убыток ему от поломки подсчитай. Немного я ему сказал: «Буржуазии помогаешь» — а гляди, как он взъерошился. Говорит: «За такие слова ответить можешь». Вора ты, Леха, не хуже моего знаешь. Он первые дни в коммуне нас с тобой не очень жалует: и работать мы его заставляем и дисциплине учим. А попробуй скажи ему: «Что ты, словно буржуй, бездельничаешь» — обидится ведь, и не в шутку. Одним словом, Леха, политики в твоей агитации нехватает.

— Учусь вот, — сумрачно ответил Леха, — да, видно, плохо учусь.

— У книг ты только учишься. Этого мало. А меня кроме книг партия учит. Конечно, партийный билет носить нелегко. Обязанностей он налагает много, но зато партийцу легче вести за собой других, легче строить новую жизнь. А ты вот все в одиночку.

Накатников ушел. Леха долго раздумывал над его словами. Прав Миша Накатников: с какой стороны ни подойди к его словам, выходит — прав он.

Гуляев подал заявление о приеме его в партию. Его приняли кандидатом в члены партии.

На этом собственно и кончается первая часть биографии бродяги и вора Гуляева, дальше следует уже биография советского хозяйственника, товарища Гуляева Алексея Петровича, директора крупной обувной фабрики, выпускающей четыре с половиной тысячи пар обуви в день. Он принял эту фабрику от первого ее директора коммунара Мологина, переведенного на должность помощника управляющего коммунной по хозяйственной части. Когда Лехе впервые сказали, что его прочт на место директора, он оробел и хотел отказываться. Но здесь и обнаружил партийный билет всю свою силу. Что подумает о нем ячейка? Струсил? «Какой же ты тогда член партии», скажут о нем. Нет, Гуляев не должен и не будет отказываться, он должен справиться с работой, как бы трудна она ни была. Стараясь подавить невольное волнение, пришел Леха в директорский кабинет. Блестел никель телефонного аппарата, голубело сквозь чистые стекла небо, солнечные квадраты и полосы лежали на полу и на столе. Мологин поднял голову, видно блеснула его борода.

— А я уж тут кое-что приготовил, денежные и материальные документы. Сегодня же и начнем сдачу-приемку.

Ровным голосом перечислял он запасы товара, имеющегося на складах, передавал Лехе какие-то фактуры, векселя, валютированные чеки и другие бумаги с такими же мудренными и страшными названиями.

— Эти бумаги — те же деньги, — поучал Мологин, — и ты их в столе не держи, а запирай в несгораемый шкаф... на всякий случай.

Через стены доносился глухой рокот фабрики, в кабинете пахло машинным маслом и кожей. Входили знакомые Лехе мастера, советовались по разным делам, тайком поглядывали на Леху — нового директора — и едва заметно улыбались, чувствуя, наверное, его смущение.

Леха не выдержал и признался Мологину:

— Провалюсь я, Алексей Александрович! Незнакомое мне это дело.

— Молчи! — закричал Мологин. — Ты что, в пустыне будешь работать? А я здесь зачем? А Сергей Петрович? А весь наш актив? Я вот целым промышленным комбинатом иду управлять, у меня десятиллионный оборот в руках будет, а я вузов финансовых не кончал... Тоже надумал — «провалюсь».



Он с размаху захлопнул дверцу шкафа, выпятил рыжую бородку, погладил залызанную лысину, подумал, прищурил холодные глаза:

— Держи ключи и помни, Леха: мы с тобой провалиться никак не можем. Пол под нами крепкий — коллектив. Расписывайся, Леха, в приемо-сдаточной ведомости.

Леха расписался. Мологин повел его на склад проверять наличие готовой продукции.

# ЗРЕЛОСТЬ

## I

**К**оньковый завод, обувная, трикотажная фабрики коммуны были не просто предприятиями, производящими коньки, обувь или трикотаж. Если бы дело шло только о том, чтобы иметь лишнюю фабрику, ее, вероятно, можно было строить и не в Болшеве: фабрики Болшева переплавляли вчерашних правонарушителей в общественников, в рабочих, в мастеров. Это были фабрики людей.

И чем замечательнее был успех коммуны в переплавке людей, тем острее становился вопрос о дальнейшем, о расширении перспектив. Все более назревала необходимость смелого массового выдвижения.

Кроме воспитанников в коммуне работало около двух тысяч человек, нанятых со стороны. Они были нужны, поскольку в коммуне не доставало своей рабочей силы, не было своих технических кадров. Взаимоотношения между ними и воспитанниками были сложны. Вольнонаемные должны были передавать воспитанникам свой опыт. Вольнонаемному нужно было иметь много такта и сознательности, работая в такой необыкновенной обстановке. Но не все из них оказывались на должной высоте. Кое-кто из наиболее отсталых относился к производственным успехам большевцев ревниво, побаивался этих успехов, неохотно делился своими знаниями.

На этой почве возникали ссоры и конфликты. Было время, когда ребята часто жаловались воспитателям:

— Вольный хуже меня работает. Почему меня не допускают к его работе? Стало быть, коммунара никогда не сравнивают с вольными?

Однако слишком торопливое выдвижение могло быть вредным. Среди воспитателей и даже ребят были люди, склонные обобщать отдельные случаи неудачных выдвижений. Так или иначе вопрос этот должен был встать, и он встал на одном из собраний актива. Поставил его товарищ Островский.

— В коммуне две тысячи вольнонаемных, — сказал он. — Но коммуна не для них, а для коммунаров. Люди подросли,



кое-чему научились. Давайте обсудим, как быть дальше. Полторы тысячи вольнонаемных мы могли бы перевести на другие предприятия совершенно безболезненно в кратчайший срок. Пятьсот особенно незаменимых работников временно остались бы у нас.

Раздались опасливые голоса:

— Не пострадало бы производство, промфинплан.

Тогда попросил слова Каминский.

— Тут нечего колебаться, — говорил он. — Люди идут в коммуну, хотят получить квалификацию, а им вместо этого нередко приходится быть сторожами, ворочать болванки, рыть ямы, чистить свинарники. Мечта новичков — попасть на коньковый, где есть возможность стать квалифицированным металлистом. Бояться выдвижения значит тормозить их рост.

После Каминского выступили директора производства. Они доказали с цифрами в руках, что выполнение программы вполне может быть обеспечено, что опасаться тут нечего, если, понятно, каждый болшевец будет сознавать свою возросшую ответственность. Конечно, производство ни в коем случае не должно страдать. Но оно не должно также заслонять главного. А главное в коммуне — это ведь люди.

Весь следующий день после собрания ушел на составление графика предстоящих перемещений. Покидающим производство вольнонаемным коммуну обеспечивала соответствующую их квалификации новую работу. Дело выдвижения воспитанников на квалифицированную работу получило огромный, невиданный размах.

## II

Коммуна расширялась. Строились и разрастались заводы. У Накатникова пропала нужда практиковаться на стороне: дела хватало и в коммуне. Ему поручили должность старшего механика механического завода.

— Наломает теперь Мишка дров. Крик будет, выговора посыплются!..

Ребята выражали явное недовольство этим назначением.

Только старые друзья из первых наборов — Гуляев, Беспалов, Умнов — не теряли веры в «Мишку-ветра», «Мишку-бурю», как звали они его.

— Он себя покажет. Захочет — сумеет владеть собой!

Накатников вскоре оправдал надежду друзей. В шлифовочном цехе механического завода закапризничали пылесосы. Обычно светлый и чистый цех тонул в пыльных сумерках. От наждачных кругов поднимался сухой беловатый туман.

Накатников вызвал к себе техника и отдал распоряжение:

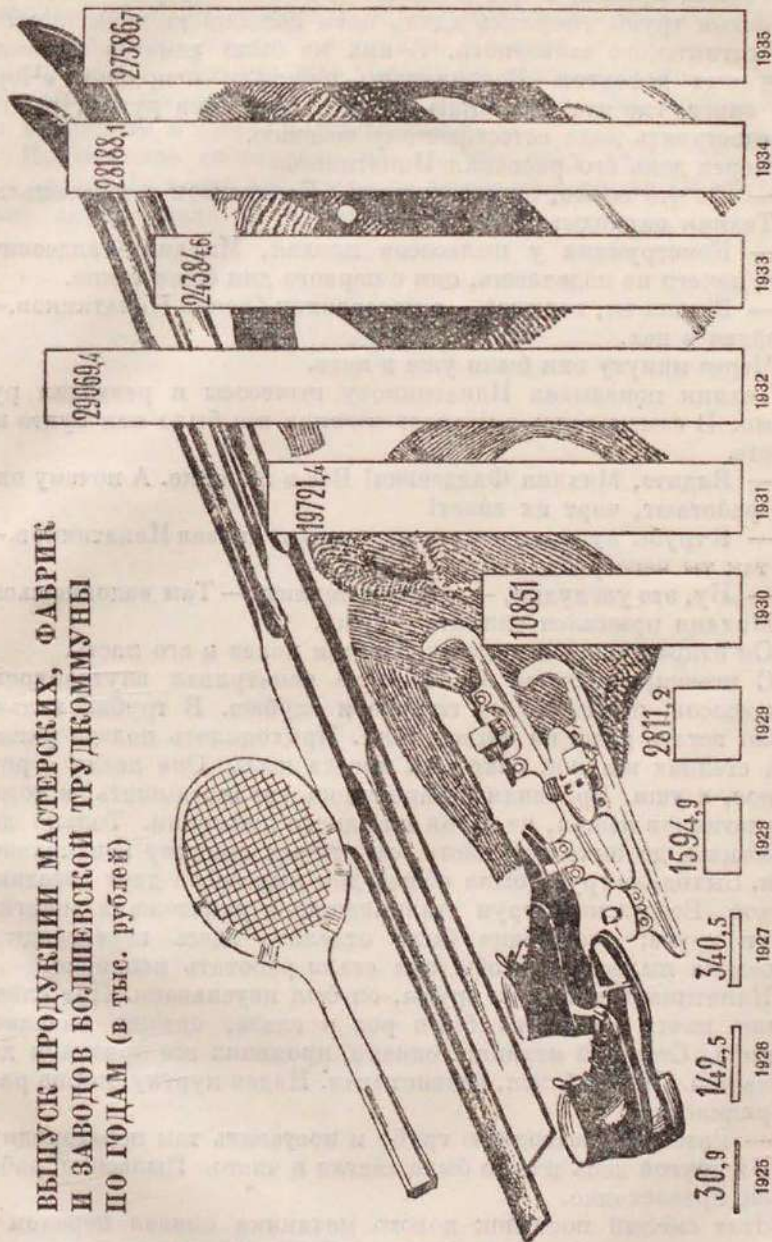
— Чтоб завтра пылесосы были в исправности!



Учебный комбинат



**ВЫПУСК ПРОДУКЦИИ МАСТЕРСКИХ, ФАБРИК  
И ЗАВОДОВ БОЛШЕВСКОЙ ТРУДКОМУНЫ  
ПО ГОДАМ (в тыс. рублей)**



Техник пришел в цех и меланхолически обозрел пылесосы. Толстые трубы тянулись вдоль цеха подобно кишкам какого-то гигантского животного. В них не было заметно никаких крупных дефектов. Вентиляторы работали исправно. «Чорт их знает, где тут поломка!» И техник, махнув рукой, решил предоставить дело естественному течению.

Через день его распекал Накатников:

— Ты что ж это, шутки шутишь? Баловством занимаешься?

Техник оправдывался:

— Конструкция у пылесосов плохая, Михаил Фаддеевич. Тут ничего не поделаешь, они с первого дня были такие.

— Шляпа ты, вот что! — с презрением бросил Накатников. — Пойдем в цех.

Через минуту они были уже в цехе.

Техник показывал Накатникову пылесосы и разводил руками. В самом деле: с первого взгляда все было как будто на месте.

— Видите, Михаил Фаддеевич! Все в порядке. А почему они не работают, чорт их знает!

— В трубы нужно лезть, — решительно сказал Накатников. — А так ты чего увидишь?

— Ну, это уж дудки, — отрезал техник. — Там задохнешься.

Михаил принялся снимать куртку.

Он открыл один из вентиляторов и полез в его пасть.

С помощью фонаря Накатников осматривал внутренность пылесосов, пролезая все глубже и глубже. В трубах нельзя было встать даже на четвереньки. Приходилось ползти ужом. На стенках жирной бахромой висела пыль. Она лезла в рот, в нос, в уши. Временами становилось трудно дышать, и тогда Накатников лежал, не делая ни одного движения. Только добравшись до выходной части, он открыл причину неисправности. Выходная труба была общей для пылесосов двух соседних цехов. Воздушные струи сталкивались и уничтожали энергию друг друга; достаточно было отделить здесь перегородкой соседние пылесосы, чтобы они стали работать исправно.

Накатников вылез из трубы, он был неузнаваем. Под слоем пыли почти не видны были рот и глаза, одежда казалась черной. Старший механик, однако, проявлял все признаки довольства. Он улыбался, насвистывал. Надев куртку, мирно распорядился:

— Разобрать выходную трубу и поставить там перегородку.

На другой день в цехе было светло и чисто. Пылесосы работали превосходно.

Этот смелый поступок нового механика вызвал перелом в отношении к нему со стороны работающих в механическом воспитанников и вольнонаемных.



Начинали уже поговаривать, что Накатников, хорошо знающий производство, заслуживает более ответственного назначения чем должность старшего механика. На производственном совещании кто-то обронил, что хорошо бы иметь директором механического завода своего парня, коммунара. Все согласились и поглядели в сторону Накатникова.

Выдвижение состоялось на третьем году учебы Михаила во втузе. На посту директора он также не осрамил себя, проявив знание дела и распорядительность.

# БОЛЬШОЕ ХОЗЯЙСТВО

## I

**С**тройка производственного сектора коммуны в основном была закончена еще в 1931 году возведением новой спортивной фабрики.

В 1932 году коммуна приступила к строительству новых культурных учреждений учебного комбината и занялась улучшением быта: строились поликлиника, биостанция, большие жилые корпуса, достраивались бани, шла борьба за сварку на коньковом заводе, где мастера цеплялись за кустарщину, доказывая преимущества паяльной лампы, борьба против уравниловки в быту и в производстве; борьба за высокую производительность труда... Да мало ли что еще пережила коммуна с тех пор, как старый коммунар Генералов положил первый кирпич новой обувной фабрики!

Теперь все это было прошлым. Теперь коммуна имела законченную производственную базу, стала богаче, могла приступить широко и смело к культурно-бытовому и жилищному строительству. Тяжелые времена бараков, тесноты, грязи на улицах отступили назад.

Учебный комбинат должен был разместить школу ФЗУ, школу взрослых, техникум, планово-экономические курсы, трехкурсовой комвуз. Больше всего вызывал споры вопрос о спортивном зале. Многие ребята высказывались против того, чтобы он был в учкомбинате. «Зал будет мешать учебе, ему место при клубе, а не здесь», говорили они. Но подавляющее большинство проголосовало за спортивный зал при комбинате. Аргументация была продуманна и серьезна:

— Коммуна производит спортивный инвентарь, спорт имеет прямое касательство к ее производству. Тренировка ума и мускулов должна быть тесно увязана, чтобы коммуна воспитывала гармонично развитого человека, члена нового общества.

Накатников и Каминский заговорили в этой связи даже о проблеме устранения разрыва между умственным и физическим трудом.



Не менее глубокие и осмысленные споры вызвал и вопрос об отделке и оборудовании учкомбината. Кто-то подал мысль о росписи стен.

Нарисовать путь людей науки. Показать, как шагает по зимней дороге Михайла Ломоносов.

Тотчас же нашлись другие предложения:

— Нужно изобразить главнейшие этапы революции.

— Пусть в фресках оживет история нашей коммуны!

Восторжествовало в конце концов предложение воспроизвести в образах все исторические эпохи от каменного века до социализма. А так как основа всей истории человечества — труд, то, стало быть, и следует изобразить, как изменялся труд на протяжении тысячелетий.

Эскизы фресок коммуна поручила сделать своим художникам — Маслову, Гольцу, Секуляру.

В вопросе о поликлинике споры шли о частностях. Коммунары единодушно высказались за предельную простоту конструкций, спокойные линии, обилие света и воздуха и максимум зелени вокруг.

Решили также ускорить постройку фабрики-кухни. Необходимо было покончить, наконец, с важнейшими вопросами о воде. Недостаток воды всегда был большим местом коммуны. Коммуну питал водой пруд. В столовой висела стеклянная трубка, соединенная с водонапорным баком. Если бак был полон — из трубки лилось. Когда пошли полным ходом все производства, наступил настоящий водяной голод. Если вода подавалась в столовую, значит, производство ее недополучало. Из спортляжной, из обувной, с конькового то-и-дело прибегали в столовую коммуны посмотреть на трубку. Особенно страдало производство лыж, где все время требовался пар. Простой цехов по два-три часа из-за отсутствия воды был не редкостью.

Дольше терпеть безводье было нельзя. Кузнецов съездил в Москву и вернулся с двумя мастерами бурения.

На площадке возле спортляжной запылали багровые костры, выросла вышка, подобная тем, какие бывают на нефтепромыслах. Началось бурение артезианской скважины. Под кострами, под раскаленными красными углями, оттаивала земля. Сверло со скрежетом буравило земные недра, добиралось до глубоких подземных вод.

День, когда забила из скважины чистая, холодная, как роса, вода, стал одним из праздничных дней коммуны. Не было в ней человека, который бы не пришел посмотреть скважину. Уходили одни, приходили другие. Всем надоели бесконечный водяной голод, простой производства и вечное ожидание, что вода вот-вот перестанет идти.

Поставили трубы двух дюймов в диаметре. Опыт первых же дней показал, что трубы малы. Нужны были по крайней мере четырехдюймовые. Да и сама артезианская скважина была только первым шагом. Нужно строить компрессорную и водонапорную башню на двести тысяч ведер — на меньшем не мпрились болшевцы. Нужно строить запасное подземное водохранилище. Нужно оборудовать водопровод. Культурно-бытовое строительство, как и производственное, снова потребовало многих средств, материалов и напряжения всех сил.

В крутые морозы, в пургу, иногда ночью приходили на станцию составы с бревнами, тесом, кирпичом, бутовым камнем. Каждая минута простоя оплачивалась — вагоны задерживать было нельзя.

И тогда выла сирена, из домов, из барачков поодиночке, по паре, по пятерке выходили коммунары, развязывали и спускали уши малахаев, надевали рукавицы, валенки и молча шли по направлению к станции.

Особенно напряженной была ночь, когда меняли старые двухдюймовые трубы водопровода на четырехдюймовые. Чтобы не останавливать производство из-за неподачи воды, замену труб решено было произвести в порядке аврала в одну ночь. Она выдалась темной, беспросветной, мохнатые ели сгущали мрак. В коммуне никто не спал. Разожгли костры и поддерживали их всю ночь.

Как пройдет замена? Будет вода или нет? Спокойным казался только Мологин. С потухшей папиросой в зубах он методически и упорно долбил заступом землю. Разогнулся на минуту, окинул взглядом сотни работающих в канавах людей, освещенных кострами, и заметил соседу своему Глазману:

— Вальсургиева ночь!

Тот промолчал, не услышав или не поняв книжного сравнения, сделанного Мологиным.

Небо побледнело, на грязноватом фоне его выступили контуры леса. По новым четырехдюймовым трубам потекла вода.

Мологин вздохнул:

— Пошла! Это здорово. А я, оказывается, все время чаю хотел. Да где его ночью возьмешь? Пойдем-ка, Глазман, ко мне, чайку попьем.

## II

Расширил работу и клуб. Доклады, лекции, постановки были вынесены в общежития, на производство.

Еще когда Мологин уходил из клуба заведывать обувной, он выбрал своим преемником по клубу Николая Михайлова.

— Это будет хороший клубник! — говорил он всем.



Мологин знал пристрастие Михайлова к искусствам. Михайлов в последние годы воровской жизни даже воровал главным образом в театрах. Николай охотно согласился на предложение Мологина сменить его на работе в клубе. Управляющий коммуной не возражал против его кандидатуры.

Мологин не ошибся. Клуб под руководством Михайлова продолжал работать не хуже, чем при нем.

Однажды утром Михайлова разбудил телефонный звонок.

— Приехали иностранцы, необходимо вечером в зимнем клубе организовать концерт. Возможно, будет Погребинский.

Николай торопливо сунул босые ноги в тапочки, накинул пиджак.

— Ну, я хлопотать побежал, — сказал он Марусе.

Он все время думал о возможной встрече с Погребинским. Несколько лет тому назад, когда Михайлов просился в коммуны, Погребинский сказал ему: «Ты привык жить душа на распашку, а в коммуне-то воровскую душу придется ущемить. Больно будет! Сбежишь».

«А я вот и не сбежал!» самодовольно думал Николай.

«Ты теперь здесь — Главискусство», скажет ему Погребинский. Он ведь любит пошутить.

Концерт открылся увертюрой из оперы «Кармен» в исполнении духового оркестра в составе девяноста человек. Кружковцы уже успели после работы помыться и принарядиться. Сегодня они играли перед небольшой аудиторией. Зрительный зал выглядел невзрачно. Стены покрыты пятнами свежей замазки, от сцены пахнет стружками, клеем и краской. Ремонт. Только по карнизу второго яруса успели протянуть красное полотнище с портретом Ильича. В первых рядах среди иностранцев сидел актив коммуны. Слегка сутулый, с острыми плечами, Накатников, добродушный, плотный Глазман, Гуляев, чинный Мологин. Здесь же были и Сергей Петрович, и Николаев, и Северов. И среди них в кубанке, в черной суконной рубашке, подпоясанной кавказским ремешком, — Погребинский. Ребятам хотелось сегодня играть особенно хорошо. Их настроение было понятно и дирижеру — высокому бритому старику Розенблюму. И когда все девяноста человек так слились в одно целое, что даже их дыхание стало казаться общим, он взмахнул палочкой, и музыка мгновенно, точно веселое пламя, вспыхнула на сцене.

Михайлов доволен дружным началом. Молодцы!

От музыки в клубе стало как бы просторнее и светлее. Но ему кажется, что звук слишком жесток! Он тревожно взглянул

на Погребинского. Тот смотрел в оркестр. Ему вспоминались те далекие дни, когда первая партия ребят впервые вошла к нему в кабинет на Лубянке. Те умели лишь воровать, пить, нюхать и смачно петь блатные песенки: «Ой, мама. Что, дочка? Я жулика люблю».

Те были развязны, чванились своим цинизмом и презрением ко всем «не своим». А теперь огромный дисциплинированный коллектив людей, вырванных коммуной из трясины блата, исполнял произведение композитора Бизе.

«Этим людям есть чем похвастать», думал Погребинский. Аплодисменты были дружными и теплыми. А когда на сцену вышел Николай Михайлов и, улыбаясь, сказал: «Сейчас оркестр исполнит вальс из балета «Раймонда» — музыка Глазунова, дирижирует коммунар Карелин», то все снова зааплодировали молодому мастеру. Даже сами музыканты, отложив инструменты, присоединились к общим приветствиям. Карелин не стал раскланиваться, как это делают артисты. Он, спрыгнув с эстрады, подошел к Погребинскому и крепко пожал ему руку. Потом вернулся к оркестру и подал знак начинать.

— Балалаечник-то наш — маэстро стал, — шепнул Погребинский Сергею Петровичу. Затем кивнул в сторону Михайлова и спросил:

— Хорошо клубное хозяйство ведет?

— Заботливый, — и, желая подчеркнуть значительность работы Михайлова, Сергей Петрович добавил: — У него клубный бюджет — миллион рублей.

После духового оркестра выступал Сережа Кузнецов, сыгравший на балалайке вторую рапсодию Листа. Затем выступали хор, эстрадники, и в заключение физкультурники показали свою точную и изящную работу. Программа имела успех, и Николай только сожалел, что нельзя в один вечер показать все художественные силы коммуны.

После концерта его позвал к себе Погребинский:

— На тебя теперь посмотреть приятно. Не скучаешь?

— Живу — душа радуется.

— Но душа-то уж не воровская? — спросил Погребинский и, обращаясь ко всем, кто был рядом, сказал: — Я не верил, что Михайлов останется жить в коммуне.

— Мы все не верили.

— На его брата я больше надеялся, — и Погребинский, смеясь, добавил: — Ну, знаешь, Николай, ты здорово одурачил нас.

Михайлову хотелось рассказать о своей работе, о своих планах, но Погребинскому надо было уезжать.

— Все знаю! Работай, не скупись! — сказал он и, распрощавшись, сел в машину.





Поликлиника восстанавливает здоровье, расшатанное  
в прощом преступной жизнью

Домой Михайлов шел довольный клубом, кружковцами, собой. Никогда и никуда из коммуны он не уйдет. И только дома Маруся чуть-чуть омрачила его ясное настроение.

— Неужели ты в таком виде и на концерте с иностранцами был? — спросила она.

— В каком «таком»?

— В тапочках на босу ногу и...

— А ведь в самом деле, неудобно, — сознался Николай, оглядывая свой костюм.

### III

В лесу вырос город. Как будто попрежнему темнеет суровый хвойный лес. Но над вечно зелеными угрюмыми елями высятся труба котельной. На месте былых пустырей и болот — здания производственных комбинатов: деревообделочного, механического, трикотажного, обувного. Сверкает зеркальными окнами поликлиника. Ее кабинеты, операционные залы изобилуют светом и воздухом. Просмоленная пеняковая дорожка ведет к водолечебнице. Там легкая камышевая мебель; вырезные листья пальм склоняются над хрупкими диванчиками.

А изумительное здание учебного комбината! Библиотека, химическая лаборатория с водой и газом у каждого рабочего места, богатый приборами физический кабинет, чертежные залы, механическая мастерская, просторная киноаудитория. Не всякая даже из московских школ могла бы соперничать с большевской. Огромный спортивный ее зал, в котором можно заниматься почти всеми видами спорта — от бега до турника, от трапеции до тенниса, — высоко под потолком украшен фресками: эллинистские фигуры спортсменов, готовых к труду и борьбе. Фрески художников-коммунаров, бывших правонарушителей — Шепелюка, Гольца, Секулера, Копейкина. Вот мимо окна управления коммуны прошла полуторатонка. В ней отходы, утильсырье. Машина из гаража коммуны. Кто так уверенно ведет ее? Коммунар Лежев. А когда-то он — коммунский водовоз — чмокал губами, махал кнутом, погонял жалкую замученную клячонку.

Мягким басом гудит сирена конькового. Скоро вспыхнут электрические огни, в красных уголках зашепелят газеты, заговорит радио.

По одной из аллеи-улиц коммуны идет старуха. Она одета в простенькое ситцевое платье и повязана черной косыночкой. Старуху удивляет этот город с растущими на улицах столетними елями, с асфальтовыми тротуарами, желтыми дорожками в



скверах. Здесь пахнет не гарью и пылью, а смолистым лесом, душистыми лугами.

«Хороший город Болшев, — думает она. — Раньше здесь, видно, одни господа жили».

Ей встретилась девочка.

— Дочка, где здесь ко-луна помещается?

— Здесь все коммуна, — беззаботно ответила та и, прыгая через веревочку, побежала дальше.

Тогда старушка остановила взрослого прохожего.

— Ты в коммуне, бабушка, — ответил тот ей.

«Господи, какой народ бестолковый», подумала она. Ей нужна коммуна, в которой содержатся жулики. А здесь кругом светлые, богатые дома.

— А тебе, бабушка, кого нужно-то?

— Михайлова Николая.

— У нас два Михайлова и оба Николая. Тебе какого— клубника или трикотажника?

— Каторжника, каторжника, — обрадовалась старушка: она была чуть глуховата.

— Каторжников у нас нет, старая. Я тебя спрашиваю: клубника или трикотажника?

— У моего-то брат Константин есть, тоже карманник, — пояснила старушка.

— Ну, значит, клубника! — радостно заключил парень. — Ты мать ему?

— Мать, сынок.

— Посиди здесь. Я тебе его сейчас пришлю.

Через несколько минут в клубе коммуны раздался телефонный звонок, и Николай узнал, что к нему приехала мать.

В его жизни мать не занимала большого места. Он вспоминал о ней и чувствовал ее любовь и заботы только тогда, когда сидел в тюрьму. Она приходила к нему на свидание и приносила то махорки, то несколько сухих селедок и брала в стирку его белье. В его памяти жило лицо, с глубокой скорбью и нежностью заглядывавшее за тюремную решетку. Их свидания обычно проходили в молчании. Лишь изредка мать, как бы очнувшись от каких-то сокровенных дум, неожиданно скажет:

— Видно, ты у меня никогда не образумишься, Коля.

Теперь Коля шел в белом костюме. Его лицо и шея покрыты загаром. Увидев сына, мать оробела:

— Коля, это ты?

— Я, мать.

Это свидание с сыном в сквере, обильном цветами, под огромным синим небом сделало ее счастливой. И она сняла с головы черную косыночку и закрыла ею глаза. На свиданиях в тюрьме она никогда не плакала.

Мать, поплавав, вдруг просияла вся, точно умылась.

— Ты теперь не воруеть? — спросила она.

— Нет.

— И тебя никто не стережет?

— Как видишь.

— Ну, а что же ты не уходишь отсюда?

— А разве здесь плохо?

Мать еще раз оглянулась и шопотом спросила:

— Здесь одни воры живут?

— Бывшие воры, их жены и дети.

— И много их здесь... воров-то?

— Да около трех тысяч...

Мать никогда не предполагала, что на белом свете так много жуликов. Ей всегда казалось, что только она одна несчастная мать. И она опять сняла свою косыночку и поплакала... Потом спросила:

— Коля, а почему тебя клубником зовут?

Она делалась все словоохотливее, и Николай, чувствуя ее радость, хотел сразу искупить все огорчения, которые он доставил ей.

— Я заведующий клубом, мама.

Он знал, что всех заведующих, чем бы они ни заведывали, мать уважала, считая их должность самой высокой. Но сейчас ей было непонятно, как вора можно допустить на такую должность. Она хотела спросить об этом сына, но подумала, что он, пожалуй, обидится за этот вопрос. А у нее к нему большая просьба. В коммуну ее послал Костя, бежавший из Соловков. Теперь он скрывался в Москве и хотел опять попасть в коммуну. «Поезжай, попроси Колю, — сказал он матери, — он похлопочет за меня». Мать жалела Костю так же, как в свое время и Колю. Но теперь, увидев, откуда он ушел, она рассердилась. «Стыдно и хлопотать за такого дурака», подумала она, с гордостью поглядывая на сына.

Николай рассказывал, как он вначале работал на заводе, потом учился на курсах.

— У меня здесь и жена живет, — говорил он, — пойдем, я тебя познакомлю с ней.

И он повел мать на трикотажную фабрику, по дороге показывая ей коммуну.

— Это наша поликлиника, — говорил он, — а вот фабрика-кухня, зайдём-ка, мать, я тебя покормлю.

И мать ходила за ним, умиленная, гордая.

— У вас и церковь есть? — спросила она, показывая на радиоузел.

Коля объяснил ей, что здесь когда-то была деревня Костино, но коммуна, разрастаясь, оттеснила ее, а церковь осталась в



наследство. И он повел мать на колокольню, где жарко тлели усилительные лампы, дрожали стрелки манометров.

И когда они вышли на волю, то мать долго стояла и слушала, как кричал громкоговоритель.

Они заглянули по пути в ясли для детей большевцев.

— Эти не будут знать беспризорности, — сказал Николай.

Маруся заведывала складом на трикотажной фабрике. Здесь на полках лежали голубые, синие и золотисто-зеленые джемпера и свитеры с рисунками в клеточку, в полосочку и с разводами. Шелк лоснился, краски горели, как полевые цветы. И мать, увидев такое богатство, только всплеснула руками. Но больше всего ее удивляло, что воры, делая такие красивые вещи, не кради их. Потом Николай отвел мать на квартиру во вновь отстроенном корпусе для семейных:

— Ты приляг, отдохни, а я сбегаю в клуб.

В комнате стоял диван. Кровать была покрыта голубым тканевым одеялом. Гардероб высокий, с зеркальной дверкой. В углу на маленьком столике в грудe книг и журналов стоял телефон.

— Живет, как заведующий! — сказала мать, а когда вдруг зазвонил телефон, то она испугалась и несколько минут простояла, не шевелясь, точно боясь, что кто-то заметит ее и рассердится, что она не взяла трубку.

«Пустая голова, — подумала она опять сердито про Костю, — от какой жизни ушел».

Вечером за чаем мать как бы невзначай сказала:

— Костя-то у нас очень мается!

Николай, зная, что брат сбежал из Соловков, сказал:

— Пусть горюшка хватит. Умнее будет.

— Определи его в коммуну, — попросила мать.

— У нас не проходной двор.

— Правда, правда, — согласилась мать. — От какой жизни, дурак, ушел. А ты все-таки похлопочи за него... Хочется хоть перед смертью порадоваться на вашу жизнь.

Николай пожалел мать.

— Передай Косте, — сказал он, — если он бросит воровку-жену и тещу Каиншу — тогда похлопочу!

Мать осталась ночевать. Перед сном Маруся показывала, какие они нажили вещи, рассказывала, как они хорошо живут.

— Мы вдвоем-то полтысячи зарабатываем, — говорила она матери, и та впервые за долгие годы уснула счастливой.

Проснувшись ночью, она увидела, что сын еще не спит. Он сидел, читал и писал.

«Коля, пожалей себя, от книжек — говорят люди — с ума сходят», хотела привычно сказать старуха, потом задумалась, посмотрела на телефон, на согнутую спокойную спину сына, вздохнула и не сказала ничего.

# ДЕСЯТИЛЕТИЕ

**Б**олшевская трудкоммуна праздновала 12 июня 1935 года свое десятилетие.

Это не первый праздник в Болшеве, когда сияют чистотой комнаты, цехи, улицы, когда плещутся алые стяги и яркие кумачевые полотнища, когда особенно подтянуты и веселы коммунары.

И все же этот праздник отличался от всех, какие были в коммуне прежде.

Этот день был знаменателен не только для небольшой сравнительно кучки коммунаров-выпускников и даже не только для руководителей и организаторов Болшевской коммуны. Десять лет — большой срок, вполне достаточный для того, чтобы на опыте твердо убедиться, что трудовое перевоспитание бывших правонарушителей — вполне проверенный и дающий отличные результаты социалистический способ перевоспитания людей, искалеченных буржуазным обществом. Праздник 12 июня был еще одним торжеством идеи Маркса—Ленина—Сталина, приложенной к делу трудового воспитания.

Утром 12 июня каждый болшевец, разворачивая свою газету — она в этот день вышла на 20 страницах, — читал приветствия всесоюзного старосты М. И. Калинина, руководителя Коминтерна Г. Димитрова, Н. К. Крупской, М. Горького, С. М. Буденного. Коммуну приветствовали в этот день ВЦСПС, МК комсомола, Центральный совет Осоавиахима, «Известия».

Коммуна имеет друзей во всем мире. Ее книга для записи впечатлений заполнена восторженными отзывами представителей рабочих и интеллигенции почти всех стран.

Старый друг коммуны Анри Барбюс поздравил ее в этот день письмом.

Гости начали прибывать в коммуну с утра.

Ученые, писатели, артисты, художники, журналисты, рабочие-ударники, приглашенные на небывалое торжество, удивляются на каждом шагу. В сопровождении дежурных с красными повязками на рукавах они гуляют по широким улицам коммуны.



Они внимательно осматривают прекрасно оборудованные цехи, заходят в комнаты семейных коммунаров, заглядывают в общежития, в учебный комбинат.

Хорошо встречала гостей коммуна. Празднично украшен городок. Интересно организована выставка.

Выставка — лучшее вступление к отчету за десять лет. А торжество несомненно носило отчетный характер.

Многоэтажные здания, выставка картин в учебном комбинате, наконец, сами коммунары — внимательные и бодрые — были главами отчета этой «фабрики людей», как метко назвал коммуна товарищ Погребинский.

А гости все прибывают и прибывают. Приехал самый любимый гость коммуны — товарищ Ягода. Он обещал приехать в коммуна в половине третьего, и ровно в 2 часа 30 минут нарком входил в здание управления коммуны — пример точности для большевцев.

В клубе начинается торжественное собрание.

В президиуме — товарищи Ягода, Погребинский, Богословский, Островский, старые большевики товарищи Ярославский и Сольц и рядом с ними юбиляры — воспитанники коммуны — и делегаты из других коммун.

Председательствует старейший коммунар, инженер-механик Михаил Накатников.

Открывая собрание, он вспоминает о том, как привезли в бывшее имение Крафта из Бутырского изолятора восемнадцать воров, рассказывает о первых табуретках, сделанных в коммуне, — они весили двадцать фунтов и обошлись чуть ли не дороже буфетов. Он приводит цифры, говорит о том, что за десять лет существования коммуны 972 воспитанника получили право гражданства и приняты в члены профсоюза, со 187 человек президиум ВЦИК снял судимости, 29 человек оказались достойными носить высокое звание члена ВКП(б), 19 человек приняты в сочувствующие, 139 — в комсомол, 10 человек несут службу в рядах РККА. 3 бывших коммунара получили высшее образование и стали инженерами, дипломы инженеров скоро получат еще несколько человек.

Цифры эти доказывают, говорит он, что Болшевская трудкоммуна к своему десятилетию пришла с большими достижениями.

Накатников, вытирая лоб, занимает свое председательское место.

— Слово принадлежит товарищу Островскому, — объявляет он.

Встает Островский и, переждав аплодисменты, говорит:

«Десять лет назад товарищ Ягода положил начало невиданной в мире организации — трудовой коммуны из беспризорников и правонарушителей.

Десять лет назад, когда была организована коммуна, она была встречена недоверием общественности и враждой уголовного мира. Сейчас коммуны получили мировое признание.

Особенно большое значение первой Болшевской коммуны заключается в том, что она явилась опытным полем для всего дела трудового перевоспитания. На базе ее опыта вырос целый ряд других коммун. Она многим помогла и такому делу массовой перековки, каким явился Беломорстрой.

Всем этим мы обязаны партии Ленина — Сталина и тому, кто проводил линию партии в деле трудового перевоспитания, — нашему руководителю большевику-сталинцу, лучшему чекисту — Генриху Григорьевичу Ягоде».

В зале поднялась буря аплодисментов.

«Сколько часов из своих доотказа загруженных дней отдал он коммуне. С какой любовью и внимательностью следил он за развитием коммуны, руководил ею. Каждый новый этап в жизни коммуны, каждое крупное мероприятие в ней связано с именем товарища Ягоды, осуществлялось по его заданиям.

Принципы, положенные в основу работы коммун, дали замечательные результаты. Они создали из бывших правонарушителей десятки и сотни новых людей — коммунистов, комсомольцев, директоров и инженеров, мастеров и квалифицированных рабочих. Они обеспечили те успехи, с которыми пришла Болшевская коммуна к своему празднику.

Дальнейшие задачи, стоящие перед болшевскими коммунарами, совершенно четки и определены. Их дал товарищ Ягода при последних встречах с коммунарами. О них говорится и в приказе наркома о борьбе с детской беспризорностью.

Старые болшевские коммунары должны стать кадрами в той ударной борьбе с беспризорностью, которая разворачивается сейчас по решению партии и правительства. Болшевская коммуна должна быть образцом для всех остальных коммун и трудколони и по воспитательной работе и по производству.

Формы и методы воспитательной, общественной и бытовой работы необходимо обновлять и улучшать.

На производстве нужно бороться за высокое качество спортпродукции и развивать ударничество и вышшую его форму — отличничество.

Самая же главная задача болшевцев — выполнение лозунга товарища Ягоды, который всегда останется новым и актуальным: «Перевоспитавшись сам, помоги перевоспитаться другому».

В напряженной тишине болшевы слушают приказ НКВД о десятилетии Болшевской коммуны.

Снимается судимость еще с 29 воспитанников. 89 болшевцев выпускаются из коммуны. Товарищи Погребинский и



Богословский награждаются орденами Красной звезды. 57 коммунаров награждаются часами и 223 человека — грамотами от Наркомвнудела и денежными подарками.

ЦИК СССР награждает почетной грамотой 14 работников коммуны; в их числе Мологин, Накатников, Гуляев, Николай Михайлов, Каминский, Фиолетов, Румянцев, Беспалов.

Бура восторга поднялась в зале.

Выступает Емельян Ярославский.

В своей речи он вспоминает замечательного человека, железного чекиста Феликса Дзержинского. Ему в первую очередь обязаны десятки тысяч людей своим вторым рождением.

«ВЧК — ОГПУ — НКВД, — говорит товарищ Ярославский, — разящий меч революции. Товарищ Сталин указал Дзержинскому на необходимость начать работу по перевоспитанию людей. Феликс Эдмундович — этот пламенный рыцарь пролетарской борьбы, беспощадный и суровый к врагу, — с радостью взялся за работу. Он всегда был полон любви к человеку. Лучший соратник железного Феликса — товарищ Ягода — осуществил практически это задание.

Вы стали тем, кем вы являетесь сейчас, — подчеркивает товарищ Ярославский, — только благодаря нашему великому Сталину, только благодаря нашей партии, воспитавшей таких верных сынов, каким был товарищ Дзержинский, каким является товарищ Ягода».

И Ярославский предлагает присвоить Болшевской трудкоммуне имя товарища Ягоды.

Коммунары встали. Зал гудел от криков и хлопанья крепких ладоней.

Дальше выступают товарищ Сольц, писатель Киришон, делегаты от других коммун бывших правонарушителей, выступают представители районных организаций... Все они говорят об успехах коммуны, поздравляют ее и преподносят ей подарки.

Впереди — парад 900 большевских физкультурников, вечер самодеятельности большого коллектива артистов коммуны, танцы, фейерверк.

Такого радостного и значительного праздника не было еще в Болшевской трудкоммуне НКВД, в коммуне имени товарища Ягоды. Об этом говорит в конце торжественного собрания Матвей Самойлович Погребинский.

И заканчивает он свою речь так:

«В десятилетие Болшевской коммуны еще и еще раз необходимо подчеркнуть величайшую силу партии Ленина — Сталина, создавшую страну, победоносно строящую социализм, переделывающую отбросы общества в настоящих людей.

Помните, ребята, что «фабрику людей» мог создать товарищ Ягода потому, что он сын великой нашей родины, что он боль-



Эти не будут знать беспризорности



шевик, что он верен своей партии, он — достойный ученик Сталина, проводивший указания партии Ленина—Сталина. Именно это обеспечило победу.

Подводя итоги десяти лет, надо помнить, что в вашей среде есть еще много нехорошего, мещанского, уркаганского, непролетарского.

Лучшей порукой дальнейшего роста будет беспощадное разоблачение всего нездорового, гнилого, беспощадная борьба со всеми, кто мешает вашему делу, и тогда ваша жизнь будет светлой, радостной жизнью — жизнью свободных граждан великой нашей родины.

Помните, что нет большей радости, чем радость роста социализма в нашей стране. Помните, что нет большей радости, чем право трудиться в нашей великой стране, ибо у нас «труд — дело чести, дело славы, дело доблести и геройства».

# СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ	М. Горький . . . . .	9
-------------	----------------------	---

## ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ПОРУЧЕНИЕ.	К. Горбунов . . . . .	13
ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР.	К. Горбунов . . . . .	17
«ДЕФЕКТИВНЫЕ».	К. Горбунов . . . . .	22
У КОТЛА.	К. Горбунов . . . . .	28
ПУТИ И ПОМОЩНИКИ.	А. Берзинь, К. Горбунов . . . . .	31
ДОБРАЯ ВОЛЯ.	С. Колдунов, Н. Клязминский . . . . .	36
НОВОСЕЛЬЕ.	В. Панов, Ф. Фирсенков . . . . .	48
ВИДАЛИ МЫ ПРИЮТЫ.	С. Колдунов . . . . .	58
ОТПРАВКА.	А. Берзинь . . . . .	64
ПЕРВЫЙ ДЕНЬ.	А. Осокин, Л. Соловьев . . . . .	70
«БОЛЬШИЕ» И «МАЛЕНЬ- КИЕ».	А. Берзинь, В. Панов, Л. Соловьев . . . . .	77
ГОЛУБИ И ФИНКИ.	Л. Соловьев, С. Тадэ . . . . .	85
МАСТЕРСКИЕ.	К. Горбунов, Я. Тищенко . . . . .	97
КЛЮЧИ ТЕТИ СИМЫ.	К. Алтайский, С. Колдунов . . . . .	108
ОТПУСК.	А. Берзинь . . . . .	116
ВЕЧЕРИНКА.	Н. Клязминский . . . . .	124
АКТИВ.	К. Алтайский . . . . .	137
ЧЕТЫРЕ ПОДКОВЫ.	С. Колдунов, В. Панов . . . . .	150
БЛАТНОЙ ЗАКОН.	С. Колдунов, В. Панов, Я. Тищенко . . . . .	158
БРОДЯЖИЙ БОГ—БАЛДОХА.	К. Алтайский, А. Осокин, В. Яснев . . . . .	163
ЗАКАЗ.	К. Алтайский, С. Тадэ, В. Яснев . . . . .	176
«БРЕЛОК».	А. Романовский, Л. Соловьев . . . . .	188
СВАТ.	К. Горбунов, Л. Соловьев, Ф. Фир- сенков . . . . .	198
ШТАНЫ КОММУНАРА		
ГАГИ.	А. Берзинь, С. Тадэ, А. Романовский . . . . .	207
ЧУДЕСНЫЙ МУСОР.	С. Колдунов, Я. Тищенко . . . . .	216
«ПОЛИТИКИ».	К. Горбунов, В. Уваров . . . . .	229
КОММУНА ИЛИ ШАЛМАН?	К. Горбунов, В. Уваров . . . . .	240



ПОДАРОК.	В. Виткович . . . . .	256
ДЕЛЕГАТКА.	А. Осокин, В. Яснев . . . . .	265
ДЕВУШКИ.	А. Осокин, В. Яснев . . . . .	276
ДРУЗЬЯ И ТРУДНОСТИ.	А. Осокин, Ф. Фирсенков, В. Яснев	286
ПЕРВЫЙ МАСТЕР.	А. Берзинь, С. Морозов . . . . .	297
КОММУНА ВЕРНУЛА НАС К ЖИЗНИ.	Н. Клязминский, Л. Соловьев . . . . .	307

## ЧАСТЬ ВТОРАЯ

«БЛУДНЫЕ СЫНЫ».	Л. Соловьев . . . . .	319
РОСТ.	С. Колдунов . . . . .	335
СЕМЬЯ.	В. Яснев, А. Осокин . . . . .	349
МЕДВЕЖАТНИК.	М. Лузгин . . . . .	364
ОШИБКА.	М. Лузгин . . . . .	391
СЕКРЕТ ПОБЕДЫ.	К. Алтайский, В. Яснев, М. Лузгин	404
БОЛЬШАЯ СТРОЙКА.	К. Алтайский, В. Яснев, М. Лузгин	411
СУББОТНИК.	М. Лузгин . . . . .	421
ЗА КАЧЕСТВО!	Е. Анучина, К. Алтайский, В. Яснев	432
УГОЛОК.	А. Берзинь . . . . .	443
МИХАЙЛОВ.	Н. Клязминский . . . . .	458
НОВИЧКИ.	С. Колдунов, В. Виткович . . . . .	468
ДВА СОБРАНИЯ.	М. Лузгин, К. Алтайский, В. Яснев	482
СОРЕВНОВАНИЕ.	Н. Клязминский, А. Осокин . . . . .	492
«НАТУРАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ.»	А. Бобринский . . . . .	498
ГОСТЬ.	М. Лузгин . . . . .	506
ПРАЗДНИК.	М. Лузгин, К. Алтайский, В. Яснев	511
СЛУЧАЙ ДВИЖЕНИЯ.	Л. Соловьев . . . . .	521
ЗРЕЛОСТЬ.	С. Колдунов, К. Горбунов . . . . .	531
БОЛЬШОЕ ХОЗЯЙСТВО.	Н. Клязминский, В. Яснев, К. Ал- тайский . . . . .	536
ДЕСЯТИЛЕТНИЕ	. . . . .	545

Редакторы  
Н. ШУШКАНОВ, В. АМИТРОВ

Переплет и супер-обложка  
А. КОКОРЕКИН

Внутреннее оформление  
и техническая редакция  
А. УСЫВИН

Ответственный по выпуску  
С. ЛАЗАРЕВ

Корректурa под руководством  
Е. БЕЛЕНОВОЙ

Книга сдана в набор 29/XI 1935  
Подписана к печати 9/IV 1936  
В книге 34<sup>1</sup>/<sub>2</sub> печ. листов, 12 накладок, 17 вкладок,  
авторских листов 34<sup>1</sup>/<sub>2</sub>,  
В одном печ. листе 40 480 знаков  
Бумага 62×94 см.  
Тираж 50 000  
Заказ № 34  
Уполномоченный Главлита № Б-21512

Книга отпечатана в 1-й Образцовой  
типографии Огиза РСФСР треста «Полиграфкнига»  
Москва, Валовая, 28  
Цена книги 8 р. 50 к. Переплет 1 р. 50 к.